Цена свободная

23-1-14

ИНДЕКС 73274

ЖУРНАЛ "НАШ СОВРЕМЕННИК"
до конца 1992 года и в 1993 году
предполагает опубликовать следующие произведения:

Виктор АСТАФЬЕВ.
Рассказы.

Василий БЕЛОВ.
Год великого перелома.
Третья, заключительная часть романа-хроники.

Леонид БОРОДИН.
Божеполье. Повесть.

Михаил ВОРФОЛОМЕЕВ.
Куст шиповника. Повесть.

Олег ВОЛКОВ.
Воспоминания.

Александр ЗИНОВЬЕВ.
Смута. Роман.

Владимир КРУПИН.
Как только, так сразу. Повесть.

Станислав КУНЯЕВ.
Сергей Есенин.
Из серии "Жизнь замечательных людей".

Владимир ЛИЧУТИН.
Новый исторический роман.

Юрий ЛОЩИЦ.
"UNION". Роман.

Борис МОЖАЕВ.
Изгой. Роман.

Николай ПОПКОВ.
Чужая песня.
Повесть (предисловие Валентина Распутина).

Святослав РЫБАС, Лариса ТАРАКАНОВА.
Похищение генерала Кутепова. Роман.

Александр СЕГЕНЬ.
Гибель маркера Кутузова.
Интересная, но печальная повесть.

Борис СПОРОВ.
Письмена тюремных стен. Повесть.

Николай ФОМЧЕНКО.
Когда придут наши. Повесть.

Рассказы Бориса ЕКИМОВА, Ивана ЕВСЕЕНКО, Николая КОНЯЕВА, Гария НЕМЧЕНКО, Вилена РАЗИНА, других авторов.

Наш современник 1992, № 8, 1–192

НАШ СОВРЕМЕННИК №8 1992

ISSN 0027-8238

НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России



№8 1992

Малое предприятие «РУСЛО»
и малое предприятие «НЕВА – ЛАДОГА – ОНЕГА»,
действующие при журнале "Наш современник",
предлагают оптовым и индивидуальным покупателям:

1. Исторический роман известного русского писателя Дмитрия Балашова **"Похвала Сергию"**, посвященный 600-летию памяти Сергия Радонежского, по цене 15 руб. за экземпляр.

2. Новую книгу всемирно известных педагогов Никитиных, книги которых 12 раз выходили в Германии, 8 – в Японии, а также в Голландии, Испании, Болгарии и других странах, – **"Первые уроки естественного воспитания, или Детство без болезней"**, по цене 13 руб. за экземпляр.

3. Книгу о казачестве, организовавшем Белое движение, – **"Белая Россия"**, по цене 20 руб. за экземпляр.

При оптовой закупке мы готовы предоставить торговую скидку.

Предлагаем Вам также подписаться на **"Историю русского масонства"** Бориса Башилова, которая будет издана в текущем году по цене 15 руб. за выпуск.

Для оформления подписки на "Историю русского масонства" необходимо перевести 20 рублей на счет МП "Русло" почтовым переводом на адрес банка: 123007, Москва, 5-я Магистральная, дом 10. Расчетный счет № 2609704 в коммерческом банке "Пресня Банк" МФО 201144. "Подписка". Квитанцию о переводе со своим адресом надо выслать по адресу: 103750, Москва, Цветной бульвар, 30. МП "Русло". В августе – сентябре с.г. подписчики получат 1-й и 2-й выпуски "Истории русского масонства".

Контактный телефон в Москве: 928-32-16.

НАШ СОВРЕМЕННИК



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Союз писателей Российской Федерации
и трудовой коллектив редакции

№8 1992

ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПИСАТЕЛЕЙ
МОСКВА

Содержание

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Зав. секретариатом **З. С. Гуляевская**
Технический редактор **Л. Л. Ежова.** Корректоры **С. А. Артамонова, М. В. Масленникова.**

Адрес редакции: 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-24-24 (главная редакция); 200-23-88 (отдел прозы); 200-23-07 (отдел поэзии); 200-24-28 (отдел очерка и публицистики); 200-24-70 (отдел критики); 921-43-59 (секретариат); 200-23-05 (факс).

Сдано в набор 13.05.92 г. Подписано к печати 27.07.92 г.
Формат 70×108 1/16. Бумага типографская № 2. Высокая печать.
Уч. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 20,43. Тираж 164 438 экз. Зак. 1180.

ИПО писателей, 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография «Красная звезда»
123826, ГСП, Москва, Д-317, Хорошевское шоссе, 38.

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ

ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ДНЕВНИК

Сейчас там гремит артиллерия, подтягиваются танки. Возможно, уже началось генеральное наступление румыно-молдовской армии, и, может быть, пока готовятся к печати эти записки, с Приднестровьем будет покончено. И все-таки, верю, говорить о Приднестровье надобно будет вновь и вновь, ибо в судьбе этого клочка земли заключена судьба всей нашей, ныне расхищаемой и разоряемой державы, а спасение или гибель Приднестровской республики будут прообразом спасения или гибели всей страны.

I

О ЧЕМ ИДЕТ РЕЧЬ!

Меня всегда ставят в тупик избирательные принципы нашей юной демократии. Одним народам, «избранным», позволено заявлять о своих правах, отделяться от России и даже воевать с ней. Другим строго запрещена даже мысль о какой-либо независимости. Одни референдумы признаются, другие — отвергаются.

За всем этим виден, — скажем об этом грубо и прямо, — сговор международных сил по расчленению и ликвидации нашей страны и нечистоплотная игра нынешних, запроданных оптом и в розницу политических лидеров.

План уничтожения России прост и страшен. Задуманный в самом начале века, начал выполняться он с 1922 года, и заключался в том, чтобы натравить народы, населяющие страну, друг на друга, а всех вместе — на русских. (Прообразом того, что вот-вот произойдет у нас, служит сейчас Югославия, где роль «русских» досталась сербам.) При этом планомерно проводится террор против тех малых народов, которые хотят непременно быть в едином союзе с русскими, дабы и их оторвать от России.

Заметим, что, взявши на плечи исторический груз объединения страны, мы, русские, уже не вольны в своих действиях. Ежели страна не защищает, скажем, осетин в Южной Осетии, то кто из прочих бесчисленных малых народов Великой России поверит в нашу защиту? А значит, великий организм станет распадаться сам собой. Ну и, конечно, ежели мы и своих, русичей, будем бросать на поток и разграбление, то распад страны станет лишь делом времени, причем самого недалекого. Таков расчет, и такова практика нашего правительства — сперва коммунистического (вспомним произвольные «национальные» границы, проведенные еще при Ленине, вспомним сталинский террор против целых народов и проч.), потом «перестроечного» (вся деятельность Горбачева), наконец — демократического: Ельцина, Кравчука и иже с ними. Просматривается единая линия политического разделения и гибели государства.

И вот тут, в Приднестровье, неожиданно произошел сбой. Эта земля вдруг не захотела становиться Румынией. Не захотела, и все тут!

Узенькая полоска побережья вдоль Днестра, полоса обороны, которую невозможно защитить в случае массированного наступления (в Приднестровье 750 тысяч жителей, в Молдове — 4 миллиона, в Румынии — и все двадцать), крохотная добровольческая армия, против которой уже сейчас стоят силы, превосходящие ее в десять—пятнадцать раз, силы, которым по приказу Шапошникова передана вся техника советской армии, дислоцированной на территории Молдовы, и непрерывно подходят военные транспорты из Румынии. Причем в Молдове введены жестокие законы против уклоняющихся от призыва, румынские офицеры дрессируют армию, подходят колонны танков, подтягивается тяжелая артиллерия. А у Приднестровья оружия почти нет, военные склады 14-й армии на этой стороне заминированы, а когда начиналось сопротивление, вообще из всего «оружия» были лишь палки и трактора... Но зато здесь есть решимость стоять насмерть. Реши-

мость людей, которых никто не принуждает, никто не гонит на фронт, но которые поднялись на защиту своей родины.

Хотя им нет помощи ниоткуда.

Хотя вконец разложившиеся, точнее, разложенные нашим правительством многие офицеры четырнадцатой армии фактически участвуют в войне на той, на молдавско-румынской стороне, то есть выполняют ту роль национальных предателей, за которую в минувшей войне пошли бы немедленно под расстрел.

Проясним ситуацию. **В 1940 году сталинской администрацией была образована Молдавская ССР в нарушение ст. 49 Конституции СССР 1936 г. и ст. 70, 72 Конституции УССР*.**

Парламент Молдовы 23 июня 1990 года признал решения 1940 года незаконными, чем автоматически восстанавливалась Приднестровская республика, существовавшая до 1940 года. Постановлением от 23 октября 1991 года парламент Молдовы запретил подписание актов внешних отношений без предварительного их рассмотрения в парламенте. А это значит, что **подписание премьер-министром В. Муравским и президентом М. Снегуром соответственно экономического договора и договора о вхождении Молдовы в Содружество независимых государств является фактически незаконным и не имеющим юридической силы.** Незаконное вхождение Молдовы в СНГ продолжается до сих пор, так как парламент Молдовы не ратифицировал договор.

На человеческом языке: так торопились, что наплевали на все законы, полагаясь единственно на силу кулака и помощь предательства. Но продолжаю по документам:

«Важно также отметить еще один политический момент. В 1918 году Бессарабия, при воссоединении с Румынией, утратила свою государственность. При образовании МССР Бессарабия не принимала Закон о вхождении в СССР и не подписывала договор с СССР, как это сделали республики в 1922 году. Юридически Молдова (Бессарабия) не состояла в Союзе ССР ни в 1922 году, ни в 1940 году, ни в последующие годы. Тогда, в 1940 году, Верховный Совет СССР наделил административно-территориальными границами не состоящее в союзе с СССР государство (территорию) — Бессарабию, присоединяя к этому незаконному государству часть территории Украины без согласия народа и Верховного Совета УССР. Налицо явный политический и юридический парадокс».

Итак, незаконную Молдову тянут на равный уровень со всеми странами СНГ, а с другой стороны, упорно не признается законно созданная Приднестровская Молдавская республика. Самое пикантное тут в том еще состоит, что юридически Молдова до сих пор является румынской провинцией со всеми вытекающими из сего положения последствиями. То есть, давайте о «соблюдении границ» не трепаться там, где идет речь о передаче Румынии исторической русской провинции Бессарабии, когда-то отвоеванной у турок, с «привеском» в целое Приднестровье.

Ну, а если вспомнить о демократии, равенстве, о Хельсинкских соглашениях, то и гагаузы, и население Приднестровья имеют, с точки зрения демократических законов, точно такое же право на самостоятельность, как и Молдова, и даже большее, по указанным выше причинам.

Ну, а границы... волюнтаристски проведенные на всей территории России по живому телу наций еще в 1918—1922 годах, границы эти, часто не просто несправедливые, а даже и провокационные, как это выяснилось в Карабахе, Прибалтике, Осетии, преступно поделенной пополам, стимулирующие непременное развитие национальных конфликтов, — границы эти давно надобно было бы пересмотреть, исходя из фактической картины проживания народов и воли этих народов, выраженной в референдумах.

Так что «приписанное» к Бессарабии русско-украинско-молдавское и гагаузско-болгарское население в левобережье Днестра, Бендерах и Кумрате имеет полное право не превращаться в румын. Характерно, что все так называемые молдавские националисты — это этнические румыны или потомки румын, переселившихся в Молдавию в пору ее оккупации Румынией в 1918—1940 годах.

И не надо сочинять историю, которой не было! Предки славян населяли Приднестровье еще на заре Киевской державы, еще и до нашей эры, задолго до появления румынской нации на земле!

Но не в том дело, конечно, что славяне жили здесь искони. Главное, что живут и сейчас. Живут в союзе с другими нациями и не мыслят себя вне Великой России. И вот тут-то и начинается главный вопрос: можно ли позволить от великой страны отхватить хоть кусок приграничья? И тот же вопрос—можно ли, например, вырезать кусок плоти из живого организма?! Ежели можно, то этого организма уже нет. Он кончился. Он — труп, над которым начинают кружить стервятники. И потому судьба Приднестровья сейчас — генеральная репетиция судьбы всей страны.

II

ПРЕДАТЕЛИ

Подрыв оборонной мощи страны, как и ее финансовой, как и ее хозяйственной мощи, отдача или распродажа территорий, ежели исходят от правительственного лица, в том числе и от главы государства, называются и квалифицируются как предательство интересов родины и должны караться в уголовном порядке.

Заметим, что поступающий так политический деятель рассчитывает, надо думать, на завоевание страны или другие чрезвычайные обстоятельства, которые позволят ему уйти от ответственности.

* Речь идет о неприкосновенности территории страны.

Не углубляясь в историю последних семидесяти пяти лет, напомним все же, что большевики выступили на арену истории с лозунгом поражения собственного правительства в мировой войне. То есть боролись за победу кайзеровской Германии над Россией. Напомним также, что Ленина финансировал не только американский миллионер Я. Шифф, но и правительство Германии, выделившее на то пятьдесят миллионов золотом. Деньги эти были возвращены после победы революции со сказочной лихвой, и с того момента, по сути, и началось быстрое превращение России в сырьевой придаток развитых стран.

Напомним также о более чем странном начале второй мировой войны, о намеренном (это почти доказано) предательстве и развале нашей армии. Отсюда и столь дорогая цена победы.

Конец Отечественной войны и возвращение России утраченных ею в 1917—1918 гг. территорий знаменует временную победу национальных патриотических сил и государственных интересов России.

Увы! Вскоре деструктивные силы опять берут верх, и сказочно богатая страна под руководством Хрущева и Брежнева окончательно приобретает вид полуколонии, начинает покупать продовольствие, увязает в долгах и проч. Есть все основания считать Брежнева марионеткой в руках международных финансовых сил.

Перестройка, обновление нашей экономики, укрепление финансов, наконец, развитие частной (трудовой) предприимчивости и проч. — все то, что характеризует жизнь здорового государственного организма, — были нам действительно необходимы. Но реформы в этом направлении отнюдь не должны были сопровождаться падением уровня жизни и без того нищенского, крушением финансовой системы, инфляцией и воровской распродажей сырья и товаров народного потребления. Тем паче — падением производства, что уже ни о какой перестройке не говорит.

Сейчас, когда прокурор Виктор Илюхин выдвинул обоснованное обвинение против М. Горбачева в измене родине*, останавливаться подробно на этом вопросе нет необходимости. Напомню лишь, что М. Горбачев развалил Варшавский блок, вывел армию с Запада так, как этого не стало бы делать ни одно государство, раздул национальную резню в стране. Именно ему принадлежит «честь» начала войны в Карабахе, именно он и Пуго отдали приказ впустить грузинских уголовников-боевиков в Цхинвал для устройства там резни, именно он назвал приднестровцев сепаратистами и спровоцировал там первые кровавые столкновения. Развал финансов, похищение золотого запаса, поддержка антирусских движений в Прибалтике с последующим отторжением ее от России достойно венчают деятельность этого атлантиста и наместника международного финансового капитала в Москве.

С Горбачева следовало бы спросить: почему его правительство признало за отделяющимися от Союза народами право уйти с русскими, населенными русскими и исторически принадлежащими России территориями? А русским, — будь то Прибалтика, Карелия, казацкое Семиречье, включенное в Казахстан, Крым или Приднестровье, — русским повсюду запрещено воссоединяться со своею родиной? Да и не только русским, но и всем, кто не мыслит своего существования вне Великой России?

Итак, роль Горбачева совершенно ясна.

Однако вот удивительный парадокс! Горбачев назвал приднестровцев «сепаратистами», с коими надо «разобраться» (после чего и пролилась кровь). Но наши «демократы» (хочется сказать: «валютные демократы», по известной аналогии) после шумной оперетки у «Белого дома» посылают в Приднестровье кликушескую комиссию, которая объявляет несчастных женщин, умоляющих четырнадцатую армию о помощи, «сторонницами ГКЧП». Поясним: демократические преобразования тут, в Тирасполе, начались раньше, чем в центре. Раньше появился рабочий контроль, раньше были отстранены от власти партийные функционеры, да и вообще партаппаратчиков в правительстве Приднестровья почти нет, меж тем как раз правительство Молдовы, правительство Снегура, начиная с него самого, — это все перекрасившиеся партийные функционеры, в мгновение ока ставшие националистами из интернационалистов и демократами из номенклатурной партийной элиты.

Вся непростая программа преобразований проходит в Приднестровье ровнее, чем где-либо. Земля обработана, спад производстве не выше 5 процентов (в правобережной Молдове — 25 процентов, а в России уже все 30 процентов!). За счет местных средств и семейных, очень крепких тут, связей в значительной мере гасятся трудности, обрушившиеся на пенсионеров и инвалидов. Все это тоже не забудем в оценке событий, в оценке неистового стремления правительства Снегура и Румынии растоптать, оккупировать, ограбить эту землю, уничтожить ее работящий и полный достоинства народ.

Единственно верный шаг Ельцина был бы — сделать РСФСР территориальной правоприемницей СССР, а еще лучше — царской России. Собственно, именно этого все и ждали от него.

Но вот последовало предательство русских интересов в Прибалтике, но вот бесконечные переговоры, в которых зримо и страшно разваливается Союз; но вот закрывающиеся предприятия, гибнущая финансовая система, и очень неясно уже: будет ли нынче весною вспахана земля и посеян хлеб? И самое главное, что развал

* Отсылаю читателя к его брошюре «Обвиняется Президент. Прокурорское расследование». М., 1992 (Подзаголовок: Как страну развалили, или Почему [illegible] в отношении М. Горбачева уголовное дело по статье 64 УК РСФСР — измена Родине).

страны, начатый Горбачевым, Ельцин продолжил с какою-то умопомрачительной, геометрической правильностью.

Я не хочу сказать, что Ельцину «давали на лапу». Более того, убежден, что не давали (чего нельзя сказать про ельцинское окружение, про весь этот разнузданный демократический грабеж страны с откладыванием валюты на свои личные счета в западные банки). Скорее всего Ельцин —жертвенный бык, которого ведут на веревочке, причем ведут на заклание. И все-таки обвинение, выдвинутое против Горбачева, необходимо выдвинуть и против него. Развал и преступная распродажа страны, уничтожение ее военной мощи, настойчивое стремление сделать Россию колонией Запада и свалкой химических и радиоактивных отходов — диагноз и тут тот же самый: предательство.

Фигура Кравчука в чем-то идентична вышеназванным. Опытный партийный функционер, он в мгновение ока становится украинским националистом, поддерживает «Рух» — украинскую националистическую организацию, в руководстве которой три четверти составляют евреи, по чему одному она производит достаточно-таки странное впечатление. Впрочем, недавно Кравчуку вручен почетный паспорт государства Израиль, так что с этой стороны все более или менее ясно.

Кравчук в этом прелестном трио играет роль присяжного дестабилизатора обстановки. Он срывает соглашения, не выполняет обещаний, нарушает хозяйственные связи. Его главная задача — оторвать от России весь юг, завоеванный благодаря четырехвековым усилиям плеяды наших блестящих полководцев и адмиралов, разбивших и вытеснивших отсюда Турцию, оторвать Крым и уничтожить наш Черноморский флот. Ребенку ясно, что флот Украине, отделившейся от России, не в подъем, что черноморские порты, рассчитанные на грузооборот всей страны, захиреют, и что Крым в конце концов, возможно, будет опять захвачен Турцией.

Сейчас по распоряжению Кравчука по всем дорогам, ведущим в Приднестровскую республику, стоят мордатые охранники, высятся бронетранспортеры, дула которых направлены в спину Приднестровью. Постовые не пропускают в Тирасполь никакого оружия, отлавливают добровольцев, бдительно помогая Румынии справиться с непокорной республикой, ибо с голыми руками, даже при великом энтузиазме, против танков все-таки не пойдешь.

Опять же я не присутствовал при переговорах товарища Кравчука с его заокеанскими товарищами, виноват, господами, и утверждать ничего не берусь. Но «бэтээры» и постовых на дороге в Приднестровье — видел. Ну, а по делам допустимо судить и о намерениях. Кстати, террористические группы из Молдовы весьма активно и, главное, беспрепятственно действуют на территории Украины.

Ну, и маршала Шапошникова не забудем! Передающего оружие вражеской стороне, развалившего до конца, сделавшего небоеспособной нашу армию, — ему что, попросту приказано? Ну, ежели так — продешевил товарищ маршал! Россия стоит много дороже того, за что вы все ныне продаете ее!

Лично Шапошникова хочу предупредить еще об одном. В минувшую войну Штаты не позволяли русским офицерам из эмигрантов дослуживаться до должности выше полковничьей. (Евреи, те получали и генеральские погоны.) И дело было отнюдь не в качестве русских офицеров, воевали они хорошо. Так что и свой чин сохранить на заграничной службе вам, господин Шапошников, удастся навряд!

III

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ

Тирасполь основан Суворовым двести лет назад. Это нарядный и чистый до неправдоподобия город, летом, видимо, утопающий в зелени. Город с массою гуляющей молодежи, с парочками, с торгующими семечками бабами, с чугунным лобастым Ильичем у Дома правительства. (Бюст этот не дает покоя нашим демократам, озабоченным, как кажется, сменою вывесок и свержением памятников более чем-либо иным.)

И только ополченцы в серо-зеленой маскировочной форме с автоматами в руках разрушают впечатление покоя и мира. Они не суетливы, не агрессивны, но и лени той, обычной лени штатных охранников (солдат спит, служба идет!), нету в них. Настороженные лица. Оружие держат так, как держат именно оружие, которым вот-вот придется начать пользоваться. Нас молча рассматривают. Слишком много из Москвы приезжает разного народу, чтобы потом написать о приднестровцах эдак сверху вниз, «блюдя объективность», при которой и убийца, и жертва оказываются равно правы или же равно виноваты в глазах газетного обывателя. Здесь устали от обещаний. Приезжал Руцкой, с трибуны обещал защиту. Многие плакали, его чуть ли не понесли на руках. Уехав, поговорил на съезде, но обо всех своих обещаниях защитить республику — позабыл. А Старовойтова на том же съезде, в классическом талмудистском духе (гои — не люди!), объявила, что приднестровцы не могут считаться русскими, ибо у них нет удостоверяющих это бумажек, не выдано им! (Клейма на скотину не поставили!) И это заявляет человек, осуществляющий межнациональную политику в России! Борис Николаевич Ельцин, опомнитесь, пока еще не поздно!

Льется кровь. Идет почти война. А демократическим болтунам на Верховном Совете, озабоченным борьбою за кресла да тем, кто сколько украл и сколько еще может украсть в бесхозно расхищаемой России, и дела нет до того, что судьба страны решается именно тут, в Приднестровье, и решится в ту или иную сторону в зависимости от двух — только двух! — факторов: выстоит ли Приднестровье, — и это будет значить, что Великая Россия еще жива, — и помогут ли ей другие грады и веси? Ибо, повторим, ежели страна не помогает своей части, попавшей в беду, значит, страны этой нет. Представьте себе вражеский десант в каком-нибудь Глазго: жители сопротивляются, а парламент во главе с Тэтчер запрещает подвозить в Глазго оружие, и армия «хранит нейтралитет», безучастно стоя в казармах... Такого не может быть? Да, в Англии, в Германии, в Штатах, в любой уважающей себя стране такого быть не может. Вспомним, как настойчиво Буш выцарапывал всех американцев, застрявших в Ираке (не четырнадцать ли, кажется, человек?), прежде чем начать войну с Хусейном. И как спокойно правительство Ельцина бросило на произвол судьбы двадцать пять миллионов русских в отделившихся окраинах, не заботясь ни о них, ни о тех, кто, как те же гагаузы или осетины, отчаянно умоляет парламент России о помощи! Сколь пределен, сколь ужасающ цинизм этого правительства! На какие темные глубины подсознания опирается он, к каким преступно эгоистическим чувствам он апеллирует!

Но эгоизм всегда близорук. Отдать друзей, отдать своих граждан на поток и разорение — это значит, завтра погибнуть самому. Погибнуть гнусно, бесславно, сопровождаемому проклятьями преданных тобою людей и народов.

И прах наш с строгостью судьи
и гражданина
Потомок оскорбит презрительным стихом...

* * *

...В номер гостиницы заходит казачий атаман. Знакомимся. Речь все о том же: нет оружия, нет артиллерии, нет бронетехники... Тирасполь открыт для военного вторжения с любой стороны. Поезда из Кишинева в Москву останавливаются в Тирасполе. Достаточно посадить два полка в товарный состав и захватить центр города. За время короткого перемирия не создана система обороны по Днестру, не собрано ополчение, не вооружены добровольцы. В Тирасполе до двадцати пяти террористических групп, которые, однако, никто не спешит арестовать и обезвредить. Сейчас подписан протокол о сдаче оружия в Бендерах, по сути, это протокол о капитуляции города, расположенного сразу за Тирасполем, на той стороне Днестра. Руководство республики все чего-то ждет, по принципу «худой мир лучше доброй ссоры», не понимая, что капитуляция приведет к гораздо большим жертвам, чем сопротивление... Каждую ночь, невзирая на перемирие, идет обстрел наших позиций, идет война, настоящая война, а тут — «разговоры». Казаки не понимают поведения правительства, армии... (Президента Приднестровья очень многие бранят за нерешительность.)

Встреча с президентом республики назначена на завтра. Томимся, ждем. Наконец нас приглашают.

У Смирнова (он хозяйственник, вышел из директоров предприятий) хорошо вылепленное, в крепких морщинах, лицо, умные глаза, небольшая бородка. В этом лице есть и воля, и ум, — и осторожность? Да, и осторожность тоже! Он кратко, немногословно излагает программу республики: «Мы имели свою государственность. Молдова — не имела. При развале Союза мы свою государственность потеряли. Молдова, не имевшая ее, — получила. Необходимо прежде всего признание нашей республики правительством России.

Мы предложили Молдове федеративное устройство, она его отвергла. Там создается точно такой же тоталитарный режим, какой был в СССР. И нам нужна гарантия, что мы, проснувшись утром, не окажемся в Румынии.

У нас большие экономические связи и с Россией и с Украиной. Мы бы очень продвинулись в области рыночной экономики, если бы не военный конфликт. От России мы ждем и военной помощи, прежде всего от четырнадцатой армии, которая могла бы стать разделительной силой в этом конфликте. Нам нужны хозяйственные связи с Россией, у нас мощная промышленность. Молдова же хочет решить дело силой.

Переговоры с участием Румынии, но без Приднестровья ни к чему хорошему не приведут. Здесь будет попросту новый Карабах. Не надо забывать, что здесь живут славяне.

Молдова отвергает федерацию потому, что ей тогда не уйти в Румынию. А уйдя в Румынию без нас, она теряет свой самый богатый район. Мы пока только сопротивляемся, и все людские потери происходят здесь, на нашей стороне.

Где Хельсинкские соглашения, защита личности, где она? Пусть нас, наконец, признают в России! У нас общий рубль, общие банки, общее экономическое пространство! Если бы Россия высказалась более настойчиво, кровопролития не было бы!»

Мы говорим все по очереди. Академик Игорь Ростиславович Шафаревич — о стыде за наше государство. Члены редакции «Дня» — о распаде страны, об армии, о Шапошникове... Как можно было передавать оружие Молдове!

— А вы можете сами забрать склады четырнадцатой армии, если уж она не хочет воевать? И потом, оборона на столь растянутом фронте — это почти верный проигрыш!

Президент смотрит на меня внимательно, тяжело и спокойно. Отвечает вопросом не вопрос: «Что же нам, идти на Бухарест?

А что касается складов, если начнется генеральное наступление, мы вынуждены будем это сделать! Но сейчас, с передачей армии под юрисдикцию Ельцина, положение очень и очень усложнилось. Мы не можем допустить конфликта с Россией ни в коем случае!

И затем, у нас до сих пор общий бюджет с Молдовой, банковские расчеты идут через Кишинев, и там постоянно задерживают для нас выделение кредитов... Я вообще сторонник парламентской формы правления. У нас слишком много президентов, и они уже развалили страну.

Заметьте, у нас в республике нет ни одного случая увольнения по национальному признаку. Мы сумели сохранить прежний уровень производства, мы не меняем кадры...»

— Вам нужна военная помощь?
— Нам нужно оружие! — возражает он. — У нас хватает добровольцев, их нечем вооружать. Но мы могли бы взять на свой бюджет всю четырнадцатую армию!

Быть может, я и напутал что, бегло записывая этот разговор, особенно в области терминологии. Но главное, как кажется, понял: у Смирнова нет растерянности. Нет и капитулянтства. Но у него крепко связаны руки. Он зависим от хозяйственных отношений с Россией, зависим от банков, от налаженного оборота средств и сбыта промышленной продукции, выпуск которой ухитряется поддерживать на должном уровне даже в этом состоянии необъявленной, но ведущейся войны.

На прощанье говорим о средствах массовой информации, о телевидении, радио (радио Молдовы на днях объединилось с румынским). Республике требуется, чтобы о том, что происходит здесь, сообщали правду, а не ложь, густым потоком текущую по всем каналам связи с того берега и повторяемую в Москве...

IV
ЖЕНЩИНЫ ПРИДНЕСТРОВЬЯ

О Галине Степановне Андреевой рассказывают легенды. Она, по сути, второй президент республики. Ее голова оценена Молдовой в несколько миллионов (или уж, не помню, десятков миллионов) лей. Штаб Андреевой помещается этажом ниже, в том же правительственном здании, и здесь наконец я впервые почувствовал дыхание фронта.

Андреева сидела на телефоне. Это высокая черноволосая женщина, полноватая, уверенная в себе, по-видимому, храбрая без натуги, как бывают храбры именно женщины (не забудем наших санитарок времен Отечественной!), лицом и статью очень напоминающая какую-нибудь обкомовскую даму, только без того холодного безразличия в очах, которое отличает этот тип женщин. Улыбается она легко и красиво. Как-то, можно сказать, «повелительно» улыбается. И мимоходом брошенная ею фраза: «Тогда мне придется взять командование армией!» — звучит совсем не смешно. Придется, и возьмет!

Итак, Андреева на телефоне. Вокруг негустая группа женщин, в основном пожилых, некоторые совсем крестьянского простого вида, с лицами, навечно пропеченными местным солнцем, с руками, огрубелыми от работы на виноградниках. Иные, пожилые, помнят румынскую оккупацию. Одна из таких женщин предлагает рассказать о тогдашних зверствах румын, память о которых и поныне жива в Приднестровье.

Галина Андреева руководит «осадой» казарм пятьдесят девятой мотострелковой дивизии, организует женскую помощь фронту, руководит забастовками.

— Да! — кричит она в телефон. — Да, да! Готовим запрос правительству! Пятьдесят девятая дивизия у нас в осаде! Женщины там стоят уже три дня! Мы считаем, что армия должна защищать отечество!

Приказа из Москвы нет, а в Приднестровье льется кровь! Сколько гробов надо четырнадцатой армии? У нас уже шестьдесят трупов!

— Матери написали? — обращается она к «девчатам». (Недавно был убит парень, приехавший на защиту республики из Северодвинска. Сейчас женщины собирают деньги, организуют депутацию: съездить к матери убитого, передать ей собранные средства, наконец, попросту поплакать вместе с ней.)

— В церкви спрашивали?

— Можно, можно и в пятницу! — отвечает одна из женщин. — Надо отсчитать девять дней, и все! — (Девятины по убитому парню из Северодвинска они будут справлять все вместе, кажется, послезавтра.) Они же устраивали почетные похороны этому северянину, что не выдержал, почуял, что защита Приднестровья — это его долг, и пал в битве, как и полагается защитнику отечества.

— Мы стали разменной монетой у России и Украины! — гневно говорит Андреева в телефон. — Нас предают все! ...Пусть передадут по факсу! Мы у правительства возьмем факс! Да, у нас может быть нынче интересная ночь! По протоколу разоружение, а они стягивают войска! Да, да! Мы прошлой ночью выгнали несколько бронетранспортеров из части, но вынуждены были отдать!

Она оборачивается ко мне пояснить, как было дело, но снова звонит телефон.

— Вертолет они собьют! — вновь кричит она в телефон. — Не будем рисковать! И так уже все знаем! Отдай в четырнадцатую армию! Наших нет на переговорах в Бендерах! Там идет разоружение! Что, в Кишинев снова звонили? Нам нужны гранаты и патроны!

Положив трубку, она тут же вновь звонит, теперь в Бендеры:

— Как разоружение? Не проходит? Я приехать не могу, потому что мы в пятьдесят девятой дивизии застряли! (Девчонки, кто может печатать? Скорее, сводку!) — Где вы соберетесь? По обстановке! Если что, я подскочу! — Положив трубку, она оборачивается ко мне, говорит, уже успокоенно: — Они против разоружения. Никакого разоружения в Бендерах не происходит!

(Молдавские представители в Бендерах пытаются попросту разоружить гвардию, после чего захватить город. Об этом и идет речь.)

— Для чего мы столько мучались! — Взрывается одна из женщин. — С восьмидесят девятого года! Да мы сами, с оружием, пойдем на передовую!

— Галина Степановна, — спрашиваю я. — Ну а если румыны начнут наступление (здесь молдавскую сторону зовут румынами, своих — приднестровцами), вы сумеете достать оружие со складов четырнадцатой армии?

И Андреева улыбается в ответ. Улыбается, не разглаживая прямой вертикальной складки лба:

— Мы обязаны будем это сделать!

Отвечая, подчеркивает слово «обязаны» и лицом, и голосом. Добавляет, построжев:

— До седьмого марта мы верили нашей четырнадцатой армии. Но седьмого офицеры сказали нам прямо, что они сейчас — российская армия и будут подчиняться приказам из Москвы. Сегодня ночью объявили, что никто никуда не выступит... А на каком основании военное имущество во Флорештах, в Бендерах, в Кагуле и в Шалдонештах передано Молдове?! В Кошнице и в Кочиерах, на плотине, уже русское оружие стреляет в нас! У солдат четырнадцатой армии нет объективной информации! Нашу гвардию называют отребьем и босяками! А это отребье вывозило офицерских жен из Кочиер! И за рулем машины сидел раненый казак!

Я не видел молдавских женщин, что лежали на рельсах, требуя освободить своего президента, арестованного молдовским руководством. Но я видел женщин, возвратившихся в Григориополь от казарм пятьдесят девятой дивизии, где они три дня стояли на коленях, требуя прислать «бэтээры» для защиты местного населения.

Радостные, возбужденные, высыпали они из автобуса. Смех, рукоплескания, слезы:

— «Бэтээры» идут! Шесть машин! Вышел к нам полковник, я уж не знаю, какой, только увидела, что красивый! Нам обещал! А уж как мы ехали, и они обогнали нас, и тут мы в ладоши хлопали, и кричали, и плакали даже!

Женщины в большинстве пожилые, коренастые, некрасивые наверно, ежели их увидеть на рынке или в очереди, но как полнятся светом, как становятся прекрасны эти лица, эти люди, когда они защищают родину!

Женщины не ели, не спали уже очень давно. И все-таки все это — не главное для них сейчас. Жадно расхватывают газету «День». Фотография старого казака на позициях у Кошницкого разъезда пленяет решительно всех. Казаков любят. Казаки делом доказали, что они и воины, и защитники.

— Приезжайте осенью! — кричат на прощанье. — Когда поспеет виноград! Пить будем, гулять будем!

Нас просят: «Вы поедете, спросите там, на разъезде, пришли «бэтээры» или еще нет?» Мы спрашиваем. «Бэтээры» пришли, патрулировали ночью по окружной дороге, но назавтра их отозвали назад, в часть. Армия упорно не хочет защищать эту землю, готовую их и содержать и кормить, да и квартиры многих офицеров находятся здесь, в Тирасполе, Бендерах, Дубоссарах... Где все-таки кончается приказ и начинается простая шкурная трусость? Неужели господа демократы сумели так разложить русскую армию? Или она постепенно сдыхала сама и теперь «кипит червями», по образному выражению наших предков?

В Григориополе мы обедаем в столовой, где еда выставлена на столах: домашнее лечо, домашнее сало, яйца... Все это натащили сами жители, вернее, жительницы Григориополя. Здесь кормят своих защитников, кормят широко, от души Добровольные бригады женщин, сменяясь, круглосуточно обслуживают столовую. Нас, в частности, кормила бригада учительниц, которые после подходили к писателям, кое-кто просил автограф на память, хотя автографы впору брать у них самих. На глазах творится то великое и священное, что позволяет произносить с гордостью слово: народ.

Кто вы? — В Григориопольском районе 68 процентов населения молдаване, а вообще в республике живут молдаване, украинцы и русские. С юга почти примыкает к ним земля гагаузов. Много болгар. И они все — одно, все — приднестровцы, а те, на том берегу, — румыны (не молдаване, нет!).

— Мы не хотели и не хотим войны! — Вновь и вновь повторяют женщины на прощание. — Но нас разделила кровь! Теперь мы не хотим с ними! И будем драться за каждый дом! Они сюда не придут!

Дай им, Господи, доблестных защитников! И дай России немного ума, дабы понять, что священный огонь межнационального братства, вновь загоревшийся тут, нельзя позволить погасить! В нем — единственное спасение Великой России!

V
КАЗАКИ

Казаки картинны, красивы, у каждого из них грудь в значках — тут и двуглавый орел, и кресты, и какие-то не то ордена, не то медали. Быть может, купленные на рынке, быть может, доставшиеся от прадедов. Вот, мол: за Шипку, за Плевну, за Бородино, за поход к Карсу, за Персию, за тысячи великих и малых сражений, где покрывали себя славою казацкие полки. От всего этого, как и от папах, галунов, башлыков, веет на современника оттенком несерьезности, ибо все национально-русское давно уже воспринимается нами на уровне матрешек и «ансамблей народной самодеятельности» (а уже какая она там «народная», лучше не ворошить!). Но... Воинственная Молдова со всеми своими румынскими и советскими танками, пушками и авиацией истерически кричит: «Уберите казаков! Уберите казаков! Отзовите!» И казаков-то всего сотни две, но об эти две сотни разбилось, захлебнувшись, все наступление армии Молдовы на Кошницком плацдарме, где сосредоточены—с той стороны—две, не то три тысячи солдат и десятки единиц бронетехники.

Бывалые особисты, военные, политики — все разводят руками, все удивленно говорят одно и то же: «Да-а-а... Они воюют! Они храбро воюют! Их любит все население!»

Что же касается всего остального, то и всегда национальное возрождение начинается с возрождения обрядов, ритуала, песен, с возрождения традиционной культуры прошлого, угасших было бытовых норм и обычаев. Потому что, отстаивая свою родину, люди воюют отнюдь не за «лучше» или «хуже» — иначе так бы и

бегали из страны в страну, где колбаса подешевле, — воюют за свой, привычный и отличный от иных способ существования на земле. Усиленно проповедуемая у нас американская массовая культура как раз и рассчитана на то, чтобы выбить из людей это представление о каком-то своём, особенном, глубинном своеобразии, о своей «непохожести» на других. Потерявшим это чувство уже становится не за что воевать, им нечего отстаивать в жизни, как, в общем, и получилось у нас! Наши «роковые» мальчики отнюдь не стремятся уже защищать Россию: какая Россия, когда им Америку подавай?! Солдаты минувшей войны пришли из деревень. Хотя паровой каток коллективизации прокатился по ним, он не порушил, не сломал в них корневого, древнего, воспитанного работою на своей земле чувства родины. И потому они знали, что защищать и за что драться, когда прояснело, что речь идет уже не о советском строе, но о России — о национальной неповторимости, всосанной с материнским молоком.

...С ним мы столкнулись на улице, у гостиницы, в Тирасполе. Невысокий, плотно сбитый, в ладно пригнанной форме, все с теми же значками и орденами на груди. Представился: «Походный атаман Войска Донского!» Приехал сюда, ибо его сотню отзывают приказом из Москвы.

— Почему?

— Я не обсуждаю приказы, а выполняю их! Только не знаю, где меня будут брать — в Тирасполе, Раздельной или в Одессе? Понятно, почему выводят! Моя сотня — самая боеспособная, в ней элита донского казачества! (За ним — три года афганской войны, Джелалабад. Он — офицер-вертолетчик, инструктор.)

— Отзывают, чтобы судить! — Говорит атаман с невольною горечью. — Ну, что ж! Моя жизнь больше чем наполовину прожита, ребят жалко!

Рассказываем ему, что местные жители затеяли сбор серебра, чтобы отливать ордена для защитников. Он зло отмахивается:

— Да что серебро! Я, ежели надо, сам, со своего малого предприятия, сколько надо достану... Мы полтора миллиона дали на три «бэтээра»! Так Москва их не пропустила сюда!

— Выходить будете с оружием? — спрашиваю я.

— Я оружие получал, чтобы защищать Приднестровье, и обязан сдать его местной власти! У нас были двое, что хотели уйти с оружием, мы сами сдали их властям! У меня в сотне — сухой закон! Дисциплина!

...Картина мирной жизни за Тирасполем начинает отступать. Напряжение сгущается по минутам. Шоссе пустынно. На разъездах — бетонные плиты. Гвардейцы проверяют удостоверения. Недавно в этом районе шли напряженные бои.

Вот Кошницкий разъезд. Первый казачий пост. Ровное поле, уходящее за горизонт, куда-то вниз. Там — петля, образованная извилистым Днестром. В петле — молдавская армия, которой, чтобы перерезать шоссе, только и надобно пройти через это поле с редкими насыпными кучками земли. Кое-где, на скрещениях дорог, совсем несерьезные окопчики. Бульдозер старательно утюжит и выпихивает землю, готовя укрытие для «бэтээра». Две боевых единицы отбиты у врага.

Казаки разномастно одеты, кто в чем. Первое впечатление — живописные оборванцы, не то бородатые, не то небритые, в маскировочном тряпье, у кого-то видно голое пузо.

Командир трофейного «бэтээра», молодой казак, сказывает, усмехаясь (все это очень напоминает картину Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»):

— Я на этом «бэтээре» подбил шесть ихних машин! Румыны за мой экипаж назначили цену двадцать пять миллионов лей! Много это или мало?.. Как подбивал? А, сам не знаю! Палишь, палишь и палишь!

(Потом нас поправляют в Тирасполе: не шесть, а три «бэтээра» подбил! Все равно, не мало! Во всяком случае, молдавская сторона «оценила» экипаж по достоинству!)

Казаки разбирают газеты, любуются портретами старого казака, комментируют уважительно:

— То-то добрый воин!

Пресса, переговоры премьеров — все тут известно хорошо, и на традиционный вопрос, за что они бьются, отвечают дружно:

— За независимость, за жителей местных, да, проще сказать, бьемся тут за всю Великую Россию!

И уже подхватывая то, что у всех вертится на языке (терпеть продажное руководство страны в самом деле невыносимо!), досказывает кто-то из них с ворчливою гордостью:

— Казак не подымется, Россия не встанет!

В самом деле! Здесь, под пулями, выковываются кадры будущей казачьей армии, как знать, возможно, будущих спасителей великой страны! Когда-то казаки последними продолжали защищать от большевиков законную государственную власть. Нынче не они ли станут во главе возрождения свободной России? Казаки здесь сменяются, приезжают в отпуск, «повоевать», заменяя друг друга. Кого-то уже выгнали с работы, потому что он три месяца подряд не уходил с передовой. Представляю суетливого, схожего с крысой администратора. На почетную доску повесь портрет этого казака, говнюк! Он защищает родину, а тебя и тебе подобных будут судить, когда придет час!

Спрашиваем, кто откуда.

— Я с Дона, мы — черноморцы, я из Иркутска, да я и не казак! — (А с виду он как раз больше всего похож на казаков, какими их привыкли представлять себе все мы по картинам и фильмам.) Рассказывают, как ехали, как пробирались сквозь украинские кордоны. И я думаю вновь, что даже в Смутное, очень тяжелое время подобного сраму не видала страна! Сюда приходили бы ополчения городов, приезжали конные сотни с оружием... Да, было и тогда всякое, но нынешнего животного отупения не было! И я теперь должен был бы не сам с блокнотом явиться сюда, а привести вооруженную сотню новгородцев и разом выбить румын из Кочиер.

VI
ГВАРДИЯ ДНЕСТРА

Если казаки — природные воины, то гвардейцы Приднестровья — это труженики, вставшие на защиту страны. У них и в обмундировании вид рабочих, а не солдат. Коренастые, невысокие люди, совсем разных возрастов, как никогда не бывает в армии, куда люди идут по набору. Рядом с грузным мужчиною лет пятидесяти по крайней мере — безусый шестнадцатилетний юнец. Это мужья, братья, сыновья тех женщин, что пикетируют краматорскую дивизию, что лежали на рельсах в Дубоссарах, не пропуская поезда, что сейчас, по последним сообщениям, без оружия пошли на передовую, в окопы и, если надо, пойдут на пулеметы и «бэтээры» молдавской армии.

Гвардейцы молчаливы и немногословны. Для них это особенно трудная война. Фронт подчас разделяет семьи, и один брат через мегафон проклинает другого, с его точки зрения, предателя, на противоположной стороне Днестра. В окопах под Дубоссарами я, удивляясь причудливой линии фронта, спросил: «Не проще ли натянуть колючую проволоку по склону?»

— Зачем... Тут одна земля... — пробормотал гвардеец.

Одна земля, и кто-то, пригибаясь под пулями, ходит на работу с той стороны на эту...

В Григориополе жаркое дыхание фронта уже почуялось вплоть. Те же беленые домики, те же затейливо разукрашенные ворота, убранные сады. Ряды виноградников, провожавшие нас всю дорогу, еще голы и мертвы, а сады, зацветая, начинают там и тут одеваться белым кружевом. Но в боковых, ведущих к Днестру улицах — надолбы, вдали повис днями взорванный мост, помещение полиции, которое брали штурмом, все в трещинах и следах от пуль.

Останавливаемся у райисполкома. Встречает председатель, рассказывает спокойно, внимательно разглядывая нас:

— Вот тут, за зданием, недавно шел бой. Прорвались из-за Днестра, двоих удалось захватить. Мост вы наш видали? В ноябре были трактора и прутья. Сейчас отбит один БТР, есть автоматы. Наши ребята говорят: «Мы отсюда не уйдем, и оружие у нас никто не отберет». Но ежели начнется наступление с той стороны, с бронетехникой, продержаться сумеем час, не более. На том берегу подвозят тяжелые орудия, без помощи они нас попросту раздавят. Мы просим, пусть станет тут любая сила!

— Из восьми погибших с нашей стороны семеро молдаван. В районе молдаване составляют 68 процентов населения. Казаки? Выпивали, иногда было, но ни насилий, ни самоуправств казаки не творят, да и пили не более чем наши, местные! А нарушителей они сами отправляют назад. Наши жители за казаков горой! — с улыбкою добавляет он.

Дорога далее идет почти по самому берегу. Шоферу дан приказ: ежели начнется стрельба, гнать во всю мочь.

В Дубоссарах встречает, уже издали, глухой рокот выстрелов. На ЖБИ идет бой, сообщают нам.

Прохожие, завидев приезжих, кучками собираются на улице. Разговоры, речи все те же: мы не хотим войны, но нас разделила кровь. Поглядите, что они творят! Родственники погибших достают, показывают жуткие фотографии разрезанных, расчлененных трупов. (Трупами здесь обмениваются. При нас местный комиссар звонил по телефону на ту сторону, сговариваясь об обмене убитыми.) Захваченных в плен мирных жителей и раненых гвардейцев распиливают пилой, вырывают пальцы, выкалывают глаза, жгут паяльной лампой. В доблестном воинстве Молдовы полно выпущенных уголовников (они почему-то преимущественно в рядах полиции Молдовы — трогательное единство душ!). Убийцы и насильники, получившие амнистию и право творить что угодно, не ведают удержу.

Здесь не надобно никого собирать, здесь горе выплеснуто прямо на улицы, спокойное, сосредоточенное горе. Вот на этого старика с молодою женщиной, невесткой, нам указали прохожие — расспросите их!

Невысокая женщина, красивая. У нее удивительные линии рта, бровей. Но в глазах... В глазах — я не понимаю сразу, что ее выделяет изо всех окружающих. Понимаю только потом. В глазах молодых женщин всегда прячется улыбка, здесь улыбки нет. Совсем. И еще страшнее становится оттого, что рассказывает она просто, спокойно, не повышая голоса. Старик, тот горячится, сбивчиво, многословно повествует, как молодые, невестка и сын, поехали за семенным картофелем, как трижды попадали в лапы полиции, наконец были остановлены в Кочиерах, где начальник почему-то решил назвать их шпионами.

— Теперь я расскажу! — мягко перебивает его невестка.

На ее глазах Сережу (мужа), избитого, выволакивали из полиции, заталкивая в машину. Ей положили гранату между грудей и изнасиловали. Двое. Велели молчать. Недавно, когда она ходила на кладбище, две пули прошли у нее над головою, одна прошила волосы.

— Хотят убрать свидетеля! А я все равно рассказываю! Сережи нет, и мне все равно!

Она не плачет, не бьется в истерике, она просто перестала улыбаться. Дай Бог, не на всю жизнь! А я смотрю на нее неотрывно, и меня заливает горячий стыд: это наше, мужицкое дело — защищать баб, а не прятаться за их спины!

Труп, изувеченный так, что фотографию страшно рассматривать, выцарапали много спустя через венгерское посольство (старик по национальности — венгр). Прежде того убитый был отвезен и зарыт в Кишиневе, а быть может, и добит там.

— Детки! — срываясь, кричит старик —

Выберите вы там кого-нибудь другого, кто у вас честный! Ну, этого хотя бы, Тулеева, что ли! Детки, нельзя же так!

К слову: смешанных семей тут масса. Украинец женился на молдаванке, детей отдал в молдавскую школу. Когда полицейские с той стороны подожгли чей-то дом, бросился тушить... Жена украинца показывает фотографию: у трупа сокрушен череп, вдавлен в плечи, все тело выжжено паяльной лампой...

Господин Кравчук, вам не стыдно? Или совесть — слишком дорогое удовольствие для бывшего партаппаратчика, нынешнего националиста, почетного гражданина Израиля, американского прислужника...

Стрельба раздается уже близко. Скоро выясняется, что гвардейский дозор — шесть человек — неосмотрительно, вместо того чтобы отступить, двинулся вперед, на выстрелы, и попал в засаду. Отстреливались, пока подоспела помощь, три часа. Двое легко ранены, один тяжело — в голову, и умирает, едва довезенный до больницы. В кабинет председателя, где идет разговор об этом, входит, скорее, врывается, молодой боец, бросает на стол удостоверение убитого и золотое кольцо. Говорит лихорадочно, почти неразборчиво:

— Наши жены — подруги, у него — на седьмом месяце... Что я ей скажу! — Хватает кольцо. — Это я сам ей отдам! — И на вопрос, как же все произошло, срываясь уже в крик: — Не могу сейчас! Потом! — выскакивает из кабинета, сжимая в руках автомат, не защитивший друга в бою...

В Дубоссарах плотина, которую молдавская полиция давно хочет взорвать, и удерживает ее, как кажется, лишь то, что без воды останется и Кишинев тоже.

Плотина в наших руках, кроме коротенького въезда с того берега, и защищает ее недавно получивший чин капитана молодой офицер Андрей Кицак, сын генерал-майора Кицака, командующего гвардией. За все время противостояния он потерял всего двух человек (как раз второго — сегодня), отбивал многочисленные атаки противника и находится под огнем фактически каждый день. Штаб его части, ежели это можно назвать штабом, стоит чуть в глубине улицы, в нескольких шагах от шоссе, ведущем в никуда.

На крыльце штаба сидят бойцы, вдумчиво чистят оружие, щелкают затворами. У крыльца миноукладчик, обшитый броней, превращенный таким образом в бронетранспортер, однако лишенный пулемета. За домом (нас ведут показывать) — «крейсер Аврора», как его называют. Неуклюжее сооружение: «КрАЗ», обшитый листами толстого железа с квадратною башенкой из таких же листов наверху. Это нелепое сооружение — первая бронеединица республики. и потому — чуть насмешливо — им гордятся.

Перебегаем через шоссе. (С той стороны вдоль шоссе может открыться огонь.) Скатываемся под защиту насыпи: «Осторожнее, тут по сторонам мины!» Подымаемся на бетонное, кажущееся особенно циклопичным и большим тело плотины. Глухо ревет внизу, ярясь и пенясь, наполняя воздух влажною моросью, вода. Удивительность этой войны заключается в том еще, что плотина, простреливаемая с того берега, продолжает работать и продолжает подавать электроэнергию правобережью!

Гуськом идем над пропастью. Но вот и завершение. Железная будка с круглыми отверстиями от пуль. Кирпичи, мешки с песком. Во время обстрела тяжелые пулеметы разбивают кирпичи в пыль. И впереди — ничейная полоса, кусок дороги, ведущей с плотины на берег. Рогатка из шпал, и там вон, в кустах, в груде камней, где что-то поблескивает,— вражеский дот.

По-над деревьями правого берега, то появляясь, то пропадая, движется крыша автобуса, везущего очередную смену молдавского ОПОНа на позиции.

Тишина. Только ревет вода в створах плотины. Можно выйти, пройти до той вон рогатки. И тогда, наверно, раздастся выстрел или автоматная очередь. И — все.

У Андрея Кицака, бессменного защитника плотины, очень простое лицо. Он молод, в каске, без бороды и усов. Без каски, наверно, смотрится вообще как молодой парень, какой-нибудь футболист, и нечегошеньки героического в лице!

У своего штаба — сторожки — он вышел к нам немного деревянною походкою (вчера мы видели его мельком, после бессонной боевой ночи, с глазами красными, как у кролика. Он буквально засыпал на ходу). Вышел и монотонным, ровным голосом стал объяснять:

— Ребята нарушили приказ! Им следовало отойти. Надо понимать, что на той стороне люди не глупее и не трусливее нас, и только дисциплина помогает нам удерживать позиции!

Непонятно, для одних ли нас он говорил это или (и скорее) для окружающих нас гвардейцев. Но по этой деревянной походке, по нарочитой твердости негромкого голоса видно, понятно становится, как ему тяжело.

VII

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ АРМИЯ

Офицеры и солдаты, дружно украсившие свои рукава трехцветными нашивками, шьют их, по всеобщему мнению, для того, чтобы их не перестреляли опоновцы, спутав с гвардейцами Приднестровья.

Четырнадцатая армия, о которой постоянно заходит речь, строго говоря, уже на две трети не существует. По распоряжению маршала Шапошникова и генерал-полковника Б. Пьянкова и по соглашению с министром обороны Молдовы И. Косташом, 90 процентов военного имущества четырнадцатой армии передается Молдове.

На левом берегу остались лишь штаб, 59-я Краматорская мотострелковая дивизия, ракетная бригада и отдельные части обеспечения (саперы). На той стороне остались и переходят в ведение Молдовы две дивизии, армейская артиллерия и зенитно-ракетная бригада. Сверх того, распоряжением маршала Шапошникова Молдове (читай: Румынии) передана стратегическая авиационная часть, принадлежащая Черноморскому флоту.

События развивались следующим образом. По распоряжению из Москвы был снят со своего поста командующий четырнадцатой армией генерал-лейтенант Г. Яковлев за его симпатии к «сепаратистам», то есть к Приднестровью.

Его место занял генерал-майор Ю. Неткачев, приехавший из Беларуси. Генерал тотчас велел поставить бронированную дверь в своем номере гостиницы. Уже одно это характеризует его достаточно ярко. Затем, по приказанию Неткачева, была выведена из строя боевая техника. К саперам он приехал со своею ротой спецназа, солдат и офицеров загнали в казармы, а спецназ заминировал все военные склады.

В начале марта в Кочиерах молдавский ОПОН захватил казармы на левом берегу и осадил помещение отдельного батальона связи, приказав разоружиться. Батальон, согласно уставу, принял бой. От Неткачева тогда поступил приказ: «Сдаться в плен. Кто не сдастся, будет отдан под трибунал». Батальон сдаваться отказался, требовал помощи от 59-й дивизии. Полковник И. Мукабеков сбил колонну идти на помощь. Но из штаба последовал приказ — стоять на месте и не вмешиваться.

Связистов и офицерские семьи в Кочиерах (квартиры офицеров были разграблены) выручали из беды приднестровские гвардейцы, казаки и местные жители.

Уже вышеперечисленного хватило бы, чтобы обвинить генерала Неткачева в предательстве родины.

Кстати, многие солдаты пятьдесят девятой дивизии, не выдержав, перешли в гвардию и батальон «Днестр». Выбирая между приказами изменника-командующего и зовом родины, они выбрали родину. Сейчас четырнадцатой армией переданы Молдове десятки тяжелых систем, тридцать установок «Ураган», бронетехника, зенитные установки, десятки тысяч единиц стрелкового оружия. И оружие это уже стреляет против нас и в районе села Бычок (19 км от Тирасполя), и в Кошнице, и в Кочиерах, и в самих Дубоссарах.

Мы сидим в саперной части. Говорим высокие слова о Родине, о России, о воинском долге. Человек пятнадцать — двадцать офицеров слушают нас. Многие — понурив головы. Им стыдно.

Для ответа подымается командир части. Он невысок, кряжист, с пшеничными украинскими усами, слегка хитроват.

— Здесь идет «пьяная война», нет единого командования! В декабре месяце, когда четырнадцатая армия высказалась за переход под юрисдикцию Приднестровья, Маракуца, или там кто, положили решение под сукно. А тем часом Шапошников передает оружие правому берегу... Был у нас командующий, пользующийся авторитетом, Яковлев. Нет, завезли нам человека, не заинтересованного в деле. Все эти причины и привели к тому, что теперь! Мы к тому же не боевая часть, а служба обеспечения тыла. Боевая единица армии — пятьдесят девятая мотострелковая дивизия! Но в случае массового наступления мы, конечно, выступим. Общее собрание офицеров требовало этого, а командующий, Неткачев, приказал заклинить башни люков, вывести из строя орудия, заминировал военные склады...

Полковник с нами немного хитрит. Были и еще слова: о квартирах, о семьях, о пенсиях. Слов о Родине мы так и не дождались.

Ельцин берет их под свое покровительство? Да, берет! Одновременно сокращая армию вчетверо. От армии хотят избавиться столь племенно, что даже кое-кому, недослужившим, собираются оставить полные пенсии...

Господа офицеры четырнадцатой армии! Не спасете вы ни себя, ни пенсий своих, ни квартир в Тирасполе, которые будут разгромлены и разграблены точно так же, как и ваши квартиры в Кочиерах! А выведут вас отсюда — уже подготовлен приказ — во Владикавказ, в другую горячую точку, чтобы уж совсем лишить Приднестровье даже вашей эфемерной защиты! Война стоит дорого. Последний месяц обошелся Приднестровью в 34 миллиона. Невзирая на это, республика готова взять четырнадцатую армию на свое полное обеспечение. Там, в России Ельцина и на Украине Кравчука, вас никто и ничто не ждет, а здесь вы можете послужить и себе и Родине, всей Великой России! Будьте же мужчинами наконец!

Я понимаю, что очень большой и очень непростой вопрос для армии — приказ высшего командования. Но нет у нас Георгия Жукова, который мог бы вновь поднять Кантемировскую дивизию и послать на Москву. Поймите, нет! Никто не хочет войны и никто не хочет крушения демократических принципов, но то, что происходит сейчас, — хуже безвластия!

Боязнь правительства дать повод упрекнуть Приднестровье в агрессивности лишает здешнюю армию инициативы. Не стало бы поздно — вот в чем главный вопрос!

Очередной наш собеседник мрачно шутит:

— Здесь говорят, что оптимисты учат русский язык, пессимисты — румынский, а реалисты изучают автомат Калашникова.

И все-таки! Здесь есть то, чего нет ни у румын, ни у нас, в России, — высокий и жертвенный дух народа-войска. И наш очередной собеседник, выплеснувший из себя всю накипевшую боль, встает и на прощанье повторяет старые, еще той войны, переиначенные строчки стихов:

Не затем мы оставили где-то
Кто жену, кто родимую мать,
Чтоб, проехав сюда пол-России,
Не полшага хотя отступать!

Май 1992 г.



ПРОЗА

ИРИНА ГОЛОВКИНА (РИМСКАЯ-КОРСАКОВА)

ПОБЕЖДЕННЫЕ

РОМАН

Глава девятая

— Надо их пропустить без очереди; они маленькие и измучаются, — сказала Ася.

Несколько человек согласились с ней и двух черноглазых мальчиков пропустили вперед. Очередь безнадежным кольцом извивалась в тесном и душном помещении. Ася прислонилась к стене и, озираясь, пыталась вычислить, которая она по счету. Славчик в этот раз остался дома совсем один! Она оставила ему молоко с булкой и игрушки; спички и все острые предметы тщательно запрятала, и тем не менее тревога за малыша сосала материнское сердце. Стоскуется и заплачет! Молоко, наверно, разлил и булку будет жевать всухомятку; штанишки, конечно, мокрые; не потянул бы за хвост сеттера, не ушибся бы как-нибудь! Дело все не решается, страшно подумать, что будет... а тут еще от мадам писем не было... Она опять стала считать: «Кажется, я теперь пятидесятая... еще часа на полтора. И что это мне сегодняГовэн все время припоминается?»

Призрак литературного героя — любимого героя ее юности, над судьбой которого она плакала в четырнадцать лет, первый пленивший ее мысли мужской образ — с утра в этот день навязчиво сопутствовал ей: траурный марш, шеренги войск, барабаны, затянутые в черное, эшафот; и он — молодой, красивый, героический, этот аристократ, отдавший жизнь своему народу, — приближается к гильотине, гениальному созданию революции, порожденному необходимостью быстрее и ловчее рубить головы всем тем, кто ci-devant, как они... Теперь гильотины нет, теперь иначе, но от этого не легче!

— Да, я вот за этой дамой. Да, очень долго! Ну, конечно, пятьдесят восьмая! У вас тоже? Смотрите, этот старик еле стоит — его бы надо усадить или пропустить без очереди.

То перекидывались словами, то понуро смолкали и передвигались все ближе и ближе к окошку, и по мере приближения сосущее беспокойство делалось все острей и мучительней и концентрировалось только на том, что скажут из этого окна и примут ли передачу.

Продолжение. Начало в №№ 1—7 за 1992 год.

Когда впереди осталось только три человека, волнение Аси достигло предела — она чувствовала, что вся дрожит и что руки ее холодеют, а в ногах появилась странная слабость...

«Сейчас могут объявить мне приговор... Страшно! Боже мой, как страшно! Что если... если двадцать пять лет лагеря без права переписки — ведь это почти как смерть! Олега замучают, а мы со Славчиком будем совсем одни в целом мире. Страшно, а я так мало молилась эти дни... »

Она взглянула еще раз на очередь и малодушно шепнула даме, стоявшей позади нее:

— Подходите сначала вы, — а сама закрыла ладонями лицо: «Господи! Иисус Христос! Милосердный, светлый, милый! Пощади меня и Олега! Ну, пусть ссылка или хоть пять лет лагеря — сделай так! Тогда еще можно надеяться на встречу, я буду его ждать. Иисус Христос, если непременно нужно одному из нашей семьи погибнуть — возьми меня, лучше меня! Я — бестолковая, не сумею ни заработать, ни воспитать сына, ничего не сумею! Мальчику отец нужнее. Мой Олег любит земную жизнь, он хочет борьбы, деятельности... Господи, я мало молюсь, но зато у меня сейчас вся душа в молитве! Пощади Олега! Только бы не... пощади нас!»

Испуганно, как заяц, взглянула она на окошечко, через которое разговаривала пропущенная ею дама, и растерянно оглянулась назад.

— Подходите, — шепнула она пожилому мужчине, стоявшему за ней.

Но тот пристально и печально взглянул на нее, указал ей головой на окошко и слегка подтолкнул вперед под локти. Дыханье у Аси захватило.

— Дашков Олег Андреевич, — дрожащим голосом, запинаясь, выговорила она и, поставив свою корзину на доску перед окном, припала к ней головой.

«Ты будешь милосердным, будешь!» — твердила она про себя.

— Нет такого, — отчеканил через минуту трескучий голос.

Она дрогнула и выпрямилась:

— Как нет?! Он был здесь, был, я знаю!

— Нет такого, говорю вам, гражданка! В списках тех, на кого принимаем передачу, не числится. Следующий подходи.

Ася уцепилась за окошко:

— Скажите, пожалуйста, скажите, что же это может быть — отчего его нет? К кому мне идти?

— Гражданка, не задерживайте! Я вам уже ответил, а бюрократию разводить с вами у меня времени нет. Может, переведен, а может, в лазарете или приговорен. Не числится. Следующий!

Но Ася не отходила, цепляясь рукой за окно. Мужчина, стоявший за ней, твердо и решительно сказал:

— Эта гражданка выстояла в очереди пять часов. Мы все, здесь стоящие, готовы подождать, пока вы справитесь по спискам. У вас должны быть перечислены и заключенные, и приговоренные. Вы обязаны справиться и ответить — вы работник советского учреждения.

Окошечко вдруг закрылось. Все стояли в полном молчании; странно было — в этом оцепенении чувствовалось предвестие чего-то грозного. Мужчина поддерживал Асю под локти. Одна из дам — последняя в хвосте — вдруг подошла и, беря Асю за руку, сказала:

— Мужайтесь, дитя мое.

Опять открылось окошечко.

— Дашков Олег Андреевич приговорен к высшей мере социальной защиты; приговор приведен в исполнение. Следующий.

Секунда гробовой тишины.

— Приговорен? Приговорен! Высшая мера... Это что же такое — высшая мера?! — голос Аси оборвался.

Мужчина слегка отодвинул ее от окна:

— Поймите сами, что может называться «высшей мерой наказания», — тихо, внушительно и серьезно сказал он.

Глаза Аси открывались все шире и шире, немой ужас отразился в ее лице.

— Высшая, самая высшая... так это... это... — повторяла она побледневшими губами, — гильотина?! — и закрыла руками лицо.

— Следующий! — повторил голос из окна, и мужчина оставил Асю, чтобы в свою очередь навести справку.

— Теперь не гильотинируют и не вешают, — поправил какой-то юнец из очереди. — Высшая мера в нашем Союзе означает расстрел. — Он, по-видимому, полагал, что такие слова могут служить утешением.

— Да молчите уж лучше! — замахала на него дама, обнимавшая Асю.

Ася вдруг затрепетала и, как будто желая освободиться от чужих рук и сделав несколько неверных шагов в сторону, прислонилась к стене.

— Несчастная девочка! — тихо сказал кто-то в очереди.

— О ком она справлялась — о муже, об отце или о брате? — спросила одна из дам, вытирая глаза.

— О муже, кажется. Да она не в положении ли, посмотрите-ка, — сказала другая.

— Вам не дурно ли, молодая женщина? Не вызвать ли медицинскую сестру? — спросил один из мужчин, приближаясь к Асе.

— Нет, нет... спасибо, не надо... оставьте! — забормотала Ася и бросилась к выходу, как будто спасаясь от погони.

Сначала она стояла около каких-то ящиков, потом ее толкнули те, которые их грузили, — сказали, чтоб не мешала; потом — около серой глухой стены; потом попала, сама не зная как, к мосту канала и стояла, опираясь на чугунные перила.

Ушел совсем из ее жизни! Ушли все, кому она была дорога! Она и ее Славчик всеми покинуты, случайно забыты на этой земле, всем чужие! Ушел из жизни, а дома ждет маленькое, совсем маленькое существо, а внутри ее шевелится крошечными конечностями другое, которое он никогда, никогда не увидит! Да разве можно лишать жизни молодых — тех, у кого есть дети?! Ушел совсем, а ее любовь еще только-только в расцвете! У него были красивые густые волосы — она любила их трепать и ерошить... никогда уже больше не тронут ее пальцы этих волос! И голова никогда больше не прижмется к его плечу! Какой отрадой было, прижимаясь к нему, сознавать, что между ней и действительностью стоит этот сильный и умный, бесконечно преданный ей человек! Он, правда, часто говорил: «Не надежен твой муж», но она, рядом с ним, ничего не страшилась: в ссылку, в лагерь — всюду пошла бы за ним, уверенная в его защите и поддержке. Какие угодно испытания, лишь бы быть под его крылом! И вот теперь она одна лицом к лицу со всеми невзгодами! Бедный, милый, любимый, у него было так много горя, он так недолго был счастлив! Ему еще так хотелось деятельности — кипучей, полезной, захватывающей! Хотелось славной смерти за Родину на поле битвы, а смерть от рук палачей все-таки подошла, все-таки настигла! И поглотила, как бездна!

Ему было свойственно постоянное желание зацеловать и затрепать ее, завладеть ею, а ее страсть оставалась еще не пробужденной; желание его вызывало в ней только сострадание: в самом деле, как не жалеть человека, который, обладая таким умом и волей, так часто попадает во власть инстинкта! Она отдавалась только жертвенно и не сумела этого скрыть! Это могло быть больно ему! Он вправе был ожидать страстных объятий — он был хорош собой, изящен, высок, строен... Но ее тело обладало устойчивым целомудрием, легким холодком Снегурочки, и та влюбленность, с которой она выходила замуж и отдалась, не растопила этого холодка, тонко сочетавшегося с теплотой ее души, теплотой интонации, теплотой взгляда... Надо было притворяться, чтобы доставить ему эту радость, она не догадалась, а теперь уже ничего нельзя ни изменить, ни поправить! Он говорил ей иногда: «Другой когда-нибудь разбудит твою страсть!» Глупый! Этого не будет — она никогда не полюбит другого! Он — отец ее младенцев, от него она получила таинственное посвящение, превратившее ее из ребенка в женщину и мать; его одного можно было так глубоко уважать и жалеть одновременно! Неправда, что в жалости есть оттенок презрения — она всегда так восхищалась и гордилась его благородством и храбростью, его умом и осанкой, и вместе с тем так жалела его за лагерь, за раны, за скорбь над Родиной, за то, что он побежден! Она часто клала голову к нему на грудь... Может быть, как раз это место пробила одна из пуль? Бедный, любимый, милый! Убит, упал, залит кровью, а ей даже не подойти, чтобы обнять и проститься, прочесть последнюю мысль в лице и обтереть кровь, благословить в неведомый путь! Она даже не будет знать, где его могила... А впрочем, она забыла: у него не будет могилы! Что он думал, что чувствовал, когда шел умирать и знал, что она останется одна с двумя младенцами? Ее не было рядом, чтобы припасть к его груди и сказать: «Я любила тебя! Я знаю: я часто бывала слишком сдержанна, но это, видишь ли, только потому, что из тысячи шелковых ниток моего кокона распутались еще не все! Я любила тебя, так глубоко, так преданно любила!» Но путь с самого начала был безнадежным — вот он и кончился! Безнадежным станет теперь ее путь: с ним ушли из ее жизни вся романтика, все личное, дорогое, заветное. «Нет твоего сказочного принца, нет отца у твоего ребенка, нет на земле рыцаря без страха и упрека!»

Нежный звук, привычный ее уху, — жалобный плач ребенка, — вывел ее из забытья: около нее споткнулся и упал двухгодовалый малыш; она подняла мальчика, к которому уже спешила мать, и только тут вспомнила, что Славчик с утра один, и с ужасом увидела, что уже сумерки, а она в отдаленной части города. Она бросилась к трамвайной остановке и вскочила в первый же вагон, не отдавая себе отчета в том, что делает. Очевидно, в ее внешнем виде было что-то, что привлекло всеобщее внимание — ей тотчас освободили место и принудили ее сесть. От этого, однако, вышло хуже: обреченная на пассивность, она снова погрузилась в свои думы и встрепенулась, только когда слух ее задело название трамвайной остановки — трамвай завез ее совсем не в ту сторону. Она метнулась в выходу и, увидев, как далеко попала, жалобно, по-детски заплакала, стоя посреди улицы. Прошло еще полчаса, прежде чем она, задыхаясь, вбежала в свой подъезд и тотчас услышала плач ребенка: на площадке третьего этажа в одной рубашечке, босиком, стоял маленький мальчик и громко плакал, захлебываясь и растирая кулачками глаза.

— Славчик, что с тобой? О чем ты, мой ребенок? Мальчик мой! Мама забыла, бросила! Ты озяб? Ты кушать хочешь? Отчего ты в одной рубашечке, отчего на лестнице? Ведь мама запретила тебе выходить! Пойдем, мама тебе молочко согреет, единственный мой, любимый мой! — шептала она, порывисто прижимая к себе ребенка.

Ее всегда красивую аккуратную комнату теперь трудно было узнать: беспорядочно составленная мебель, вынесенная из диванной, загромоздила углы, разбросанные за день игрушки некому было подобрать, по полу везде расползались крошечные щенки Лады, оставляя за собой маленькие лужицы. Опечаленными казались даже немые вещи; старинный, красного дерева туалет с изящными предметами гараховского стекла выглядел всех грустнее, может быть, потому, что отражал теперь лишь испуганное, побледневшее лицо.

Согреть молоко и сварить кашу оказалось не так просто в том состоянии, в котором находилась Ася: поставив кастрюльку на плиту, она вернулась к себе и бросилась на диван, и тут ее поразило соображение: а вдруг попали ему в лицо? И, застонав от боли, она замотала головой и уткнулась лицом в диванную подушку. Славчик тянул ее за платье, потом опять начал плакать, — она не подымала головы.

Из полубеспамятства ее вывели крикливые голоса соседок:

— Идите, поглядите, чего в кухне наделали: горят у вас кастрюли-то, чаду полно! Безобразие одно от вас! Тоже уж — интеллигенция!

Ася бросилась к месту катастрофы и схватилась за тряпки, со страхом взглядывая на трех мегер, собравшихся там же. Новая — вселённая по ордеру в комнату Натальи Павловны — казалась ей самой опасной.

Мадам умела парировать удары и во время подобных столкновений даже решалась наступать, подбоченясь; Наталья Павловна своим молчаливым и властным достоинством прекращала всякие выходки; Олега побаивались и затрагивать его решались только мужчины и то в редких случаях; но Ася была совершенно беззащитной перед грубыми выходками этих баб. Покончив с уборкой и накормив ребенка, она усталым машинальным движением стала стелить мальчику кровать. Славчик вертелся около.

— Хочу г'ибы и четы'ёх котяточек.

— Славчик, мама не может рассказывать сегодня сказки. Мама так устала! Засни сам, а мама посидит рядом. Не капризничай, милый. Не мучай свою маму.— Она привлекла его к себе на колени и прижалась осунувшейся щекой к розовой щечке ребенка.— Милый, родной — ложись! Ну, так и быть: про гриб-боровик расскажу, а потом — спать. Ну, что ты, Маркиз? Нет твоего хозяина, понял? Ну, и уйди, оставь меня. А ты что хочешь, Лада? Вы словно сговорились меня мучать,— и она слегка отстранила собак, которые совали к ней морды, как будто обеспокоенные ее состоянием.

Через приоткрытую дверь донеслись звуки радио; мужской голос пел: «Где же вы, дни любви?..» Судорога сжала ей горло, а голова опять упала на подушку рядом с головкой сына.

— Мама! Ну мама же! — и нота отчаяния прозвучала в голосе ребенка.

— Сейчас, милый, сейчас. Не плачь только! Давай подоткнем одеяльце. Ручки сюда — наверх. Ну, слушай: гриб-боровик, под кусточком сидючи, на все стороны глядючи... Боже мой, как тяжело!

Рассвет застал ее на маленьком диване: сжавшись комочком, она забылась на несколько минут, охваченная смертельной усталостью после пытки предыдущего дня и бессонной ночи. Возвращаясь снова во власть своего горя в синеватом прозрачном полусвете, установившемся в спальне, она вдруг отчетливо прочитала в своем сознании, точно внутренним умом услышала шепот: «Помяни за раннею обедней мила друга, светлая жена!» Он говорил это ей тогда, в Луге, а сейчас как раз начинается ранняя — надо бежать! И поспешно вскочила, цепляясь за мысль, что еще можно для него что-то сделать, быть ему полезной.

Надо сначала выйти в ванную и кухню, и это ее смущало: она слышала там шаги и голоса и боялась попасть в когти соседок.

— Пожаловала фефела наша! Вчера убирала, а лист в плите весь залитым водой оставила — не видали глазыньки, — сказала одна.

— Белье-то бы хоть поснимала с веревок-то! Другим тоже нужно: не у тебя одной ребенок. Спеси пора бы поубавить. Подумаешь — княгиня выискалась! — сказала другая.

— Воображает, что больно хороша, а сама — тоща тощой! У нас на такую бы и не посмотрел никто,— сказала опять первая.

Ася снимала белье, тревожно озираясь на эти косые взгляды.

— Я, кажется, вам ничего не сделала! За что у вас такая злоба? — отважилась она выговорить и вышла, не дожидаясь ответа. Есть она не могла, хотя не ела уже сутки. Спешно одевая малыша, которого вынуждена была тащить с собой, она бормотала ему какие-то увещевания, ребенок не хотел подыматься и, засыпая, валился на бок; потом повлекла за ручку, боясь опоздать. Холодок раннего утра, пустота улиц, голубовато-розовое небо, а больше всего припомнившийся стих втягивали ее в струю задушевных представлений, связанных с «Куликовым полем», и ее охватила надежда, что в храме ей станет легче. Но этому не суждено было сбыться: ни лики святых, ни кадильный дым, ни любимое пение, ни таинственные возгласы не доходили в этот раз до ее души, может быть, потому, что Славчик не хотел стоять на месте — все время вертелся и дергал мать, не давая ей ни на минуту сосредоточиться, а усталость ее оказалась настолько велика, что она не простояла и часу: ей начало сжимать виски и застилать глаза и очнулась она уже на скамейке у церковного ящика. Незнакомые женщины, стоявшие около нее, объяснили ей, что она упала, и, подавая воду, советовали вернуться скорей домой.

— Я хотела отслужить заупокойную обедню или панихиду,— сказала Ася.

— Заупокойную обедню заказывают накануне,— наставительно сказала одна из женщин,— ну, а панихиду можно и сегодня, только сначала батюшка обедню кончит, а потом крестины у нас заказные.. Не долго ли будет ждать с ребенком?

А другая спросила:

— Вы с певчими, что ли, панихиду заказывать будете?

Ася только тут спохватилась, что ушла из дому без копейки денег. Женщины жалели ее и приглашали прийти на другой день, обещая, что сами договорятся со священником и хором; она согласилась из деликатности, но все эти деловые переговоры, а еще больше изводящий рев Славчика спугнули ее порыв; чувствуя, что тоска переполняет ее через край, она заторопилась выйти, волоча за руку всхлипывающего ребенка. Уходя, она бросила безнадежный взгляд под купол — она любила кадильный дым, который легкими облачками подымается вверх, а льющиеся ему навстречу солнечные лучи золотят его... Но в этот раз в куполе было безрадостно — он давил... опять серое облако!

Глава десятая

Елочка все последнее время была очень занята на работе — желая поддержать материально Асю, она набрала себе сверхштатных ночных дежурств и из-за этого не могла проводить у Аси много времени и выручать ее в бесконечных очередях в прокуратуре; помощь ее для окружающих была незаметной.

— Так и всегда со мной: красота эшафотов и жертв идет мимо! Я не героиня и не мученица — я только труженица! — с горечью говорила она себе.

В это утро, вернувшись после одного из ночных внеочередных дежурств, она не стала ложиться, а выпила для бодрости крепкого чаю и побежала узнать последние новости. Приговор ожидался со дня на день. От квартиры Бологовских у нее был теперь ключ, принадлежавший ранее Наталье Павловне. Еще в передней она увидела, что дверь Асиной комнаты стоит распахнутая настежь; однако на ее оклик вышли одни собаки; в глаза сразу бросился небывалый беспорядок: незастеленные кровати, немытая посуда, разбросанные на полу игрушки, незатертые лужицы... Елочка подивилась беспечности, с которой Ася оставила двери незапертыми, чего никогда не разрешали делать ни Наталья Павловна, ни Олег. Елочка прошла в кухню, но Аси не было и там; Хрычиха, занятая мытьем кастрюль, объяснения дала самые сбивчивые:

— Вечор весь день пробегала. К ночи только вернулась. Видать, больно усталая... две свои кастрюли спалила. Наши на ее разоралися, а я уж молчу: жалость меня взяла на ее глядючи...

Новая жилица, входя, услышала последнюю фразу и злобно бросила:

— Непутевая уж больно ваша княгиня новоявленная! Вечор ушла, а князенка своего без присмотра бросила: орал тут на общей площади; я и то урезонивала. А гордости небось не занимать стать! Таких, как она, у нас в Союзе уже пятнадцать лет выводят, да всё не перевелись — живучи больно!

Елочке не трудно было угадать, что кухня стала ареной травли. Не имея привычки терять время зря, она занялась приборкой Асиной комнаты. Вытирая верх шкафа, она стояла на табурете, когда услышала шаги и голосок Славчика, и обернулась на вошедших. Ноги у нее стали подкашиваться, и Елочка едва не упала с табурета, увидев Асю — бледную, с синими кругами вокруг глаз и, главное, в черной косыночке вместо обычного берета. Косыночка эта не оставляла сомнений.

— Что? Что? — воскликнула Елочка, соскакивая с табурета. — Узнала что-нибудь?

Ася не сразу ответила.

— Конечно, — сказала она, наконец, не изменяя положения.

— Что кончено? Следствие? Так значит — приговор?

— Да... приговор...

— Какой же?

— Сказали: высшая мера... сказали... — голос Аси пресекся.

Елочка опустилась в кресло.

— Может быть, еще заменят... иногда заменяют лагерем...

— Как же заменят, если... если приговор уже приведен в исполнение, — сказала Ася с усилием.

— Как? Уже в исполнение? Уже? — И вновь, второй раз в жизни Елочки все умерло: умер ее Пожарский, умерла, так и не начавшись, грядущая битва — воодушевление, знамена, колокольный звон. Умерло новое Куликово поле. Конец всему.

Она взглянула на Асю: та все так же стояла, только две слезы ползли теперь по прозрачным щекам...

«Никто не любил его так, как я, — подумала Елочка, — но ведь она была с ним счастлива, а теперь это счастье ушло навсегда! Мне ее жаль, глубоко жаль!»

И она поднялась с кресла:

— Сядь, Ася, ты совсем измучена. Когда ты узнала?

— Вчера. Теперь уже никогда... теперь — всё! — И Ася проглотила слезы.

— Сядь, дорогая! Сними пальто и глотни воды. Славчик, да отойди же, не лезь! — И Елочка с жестом досады оторвала мальчика от платья Аси.

— Он все время сегодня капризничает и не слушается. Измучил меня, гадкий мальчик! — сказала Ася и, подойдя к кровати, бросилась на нее лицом вниз.

— Славчик, поди сюда, — строго сказала Елочка. — Отчего ты такой нехороший? Ты видишь, маме не до тебя.

И одновременно в ее сознании проносилось: «Я, кажется, не то говорю, что надо. Не умею я обходиться с детьми!» Она подняла ребенка и посадила на стул.

— Ну чего ты опять плачешь? Некогда тут с тобой возиться! Скажи, что ты хочешь?

— С папой кубики, — ответил ребенок.

Ася приподнялась на локте:

— Вот! Слышишь, слышишь! Олег любил играть с ним... теперь этого уже не будет... ничего не будет! Они все меня теперь мучают:

и Славчик, и собаки... Этот сеттер... я глаз его видеть не могу... А Славчика я разлюбила, совсем, совсем разлюбила! — И снова опустилась лицом вниз, но через минуту, приподняв голову, сказала: — Ах, да! Он голоден! Я ведь его сегодня не покормила.

Елочка растерянно обернулась на ребенка: трикотажный, шерстяной с расчесом костюмчик плотно охватывал детскую фигурку; на розовой щечке остановилась слеза, губки обиженно надулись, а карие глаза смотрели серьезно, грустно и укоризненно из-под загнутых ресниц.

Какой же в самом деле прелестный ребенок и до чего похож на Олега! Как она не замечала до сих пор! Маленький князь Дашков — все, что осталось от любимого ею человека... И в сердце Елочки что-то точно повернулось под натиском внезапной тоскливой и болезненной нежности к этому маленькому существу.

— Ну, поди сюда, Славчик, сядь ко мне на колени. Сейчас тетя Елочка тебя накормит. Да ты его совсем загоняла, Ася, оттого он и плачет.

Ребенок потерся головкой о ее плечо; никогда раньше он не делал этого... Или он что-то понял? Да ведь не мог же он понять, что в этом гордом сердце вновь, «смертию смерть поправ», зарождалась новая надежда, новая любовь, и что это сильное сердце впервые выпустило нежные и тонкие побеги материнства!

Раздался звонок, и обе собаки залились лаем, который почему-то больно ударял по нервам. Елочка выбежала открыть, проникаясь уже заранее чувствами цербера, и увидела перед собою Мику Огарева, которого встречала уже раза два у Бологовских. С юношей было что-то неладно: он стоял, прикусив губы, и был очень бледен, а веки его покраснели.

— Могу я видеть Ксению Всеволодовну? — спросил он, тормоша фуражку.

Елочка тотчас поняла, что ему уже известно что-то.

— Не знаю, захочет ли она выйти к вам... Она сейчас в очень тяжелом состоянии... — начала она со своей несколько надменной манерой и с чувством собственности на Асю.

— Ей уже объявили? Что объявили ей? — поспешно спросил Мика.

— Приговор к расстрелу, и приговор этот уже приведен в исполнение.

Мика вдруг круто повернулся и побежал вниз по лестнице.

Узнав, что звонил Мика, Ася всполошилась:

— Как могла я забыть! Леля... Нина Александровна... Что если и их? Леля! Леля! О, это слишком, слишком!

Елочка молча стояла над ней.

— Ася, объясни мне вот что, — сказала она, наконец, — я до сих пор понять не могу, какое отношение имеет Леля к этому процессу? Вы как будто ожидали ее ареста... почему? Разве она не посторонняя Олегу?

Ася все еще сжимала руками голову.

— Как? Ты разве не знаешь? На Лелю был страшный нажим в гепеу. Ее систематически вызывали туда, в большой дом, и требовали показаний по поводу личности Олега, а она его покрывала, утверждала, что пролетарий! Ну, вот и ответила за это. Как я могла не вспомнить о ней и вчера и сегодня! Вся моя жизнь прошла с ней: знаешь, маленькими мы всегда играли вместе, ведь между нами только полгода разницы. Только я была резвая — всегда смеялась, пела, а Леля почему-то очень серьезная; я помню, что ее мама и папа беспокоились, почему она такая; наверно, уже тогда она предчувствовала свою судьбу! — и Ася снова опустилась на кровать лицом вниз.

Елочка угрюмо задумалась. Эта хорошенькая капризная девушка, постоянно занимавшая ее мысли, даже отсутствуя, как будто смеялась над ней и дразнила ее; она как будто говорила, высовывая язык, как

маленькая школьница: обошла, перехитрила! Ведь жертвенность должна была достаться Елочке, коль уж на ее долю не выпало ни красоты, ни женского счастья, ни всеобщего обожания, ни талантов. И вдруг последнее, что у нее оставалось, — мученический венец, — и тот уходит от нее, поделен между Асей и Лелей, которым и так досталось все, все, все!

Она сидела, опустив голову, убитая этими мыслями. Детский голосок пролепетал:

— Мама, булки дай, — это его ребенок говорит и дергает мать, которая безучастна ко всему!

Елочка спохватилась, что так и не накормила Славчика.

— Лежи, лежи, Ася. Я сварю ему кашку. Сейчас, Славчик, тетя Елочка даст тебе кушать. А тебе, Ася, я приготовлю чай: тебе надо поддержать силы. — А про себя опять подумала: «Не мученица и не героиня, а только трудовая пчела».

Ася, однако, есть не стала, несмотря на все уговоры: она уверяла, что в горле у нее комок, который мешает глотать.

К двум часам Елочке пришлось уйти на работу.

— Что с вами сегодня, Елизавета Георгиевна? — спросил ее хирург, когда на операции она подала вместо трубочки Левре петлесжиматель Грефе. Выйдя уже вечером из здания больницы и чувствуя страшную усталость, она побежала тем не менее опять к Асе, одолеваемая беспокойством за происходящее там. По дороге получила хлеб и булку.

Асю она нашла спящей; Славчик лежал рядом с ней на кровати Олега; ребенок сбился на самый край; по тому, как он лежал — не раздетый и готовый упасть, — Елочке стало ясно, что душевное равновесие еще не вернулось к Асе. Она не стала ее будить, надеясь, что сон хоть немного восстановит ее силы, и, загородив Славчика стулом и прикрыв заботливо пледом, выпила в полном одиночестве чай. Ася не оставила ей ни подушки, ни одеяла; накрывшись пальто, Елочка пристроилась кое-как на диване; но нервы были слишком напряжены и сон не приходил. Что-то стучало ей в уши, она точно слышала заунывно-похоронный звон, а мысли все время возвращались к минуте казни. Пробило двенадцать, потом час... около двух, едва лишь она забылась, заглушенное рыдание ее разбудило. Она поспешно встала и при свете маленькой заслоненной лампы подошла к Асе; без слов, молча, она обняла ее и прижала к груди ее голову.

— Ты здесь? — тихо спросила Ася.

— Да, дорогая! Здесь, с тобой.

— Елочка, я сейчас подумала: какая я была дурная жена! Знаешь, я никогда не заботилась о его белье; раз он сказал: «Я готов сколько угодно ходить в штопаных носках, но носить дырявые не желаю». Мадам это слышала и стала ему штопать сама, а я просиживала за роялем и умилялась на Славчика! А раз... знаешь, раз он сказал: «Отчего ты никогда не приготовишь к столу ре... редьку?» Он ведь так редко высказывал желания, а это желание такое маленькое и скромное, а я не исполнила, я забыла!

— Ася, не мучай себя упреками, ты отдала ему жизнь, ты не побоялась ничего — даже фальшивой фамилии! Ты родила ему чу́дного мальчика! Он был тебе безмерно благодарен за все, он обожал тебя! Вашему счастью мешали только угрозы гепеу, но не в твоей власти было устранить их. Не упрекай себя!

На это Ася сказала:

— Ты только несколько дней видела человека, которого любила, и все-таки всю жизнь не могла забыть его, а я! Мне без моего Олега пусто, так пусто... мне так холодно, страшно и неприютно и мне так жаль его... У него было так много горя, а счастлив он был так недолго... Если б ты могла понять эту острую мучительную жалость — она как нож, воткнутый в тело... Если б ты могла...

— Если б только я могла объяснить тебе, — тихо и с горечью перебила Елочка, — как может иногда быть дорог человек, который не дал ни одной минуты счастья, а только мучил, сам того не зная; и что такое любовь, которая ни на что не надеется, ничего не ищет для себя, которая видит, как человек уходит к другой, и все-таки желает ему счастья... если бы ты могла понять такую любовь, ты, может быть, прозрела бы и осознала тяжесть моей потери!

— Что?! — воскликнула Ася, и слезы ее разом высохли. — Что ты сказала? Ты сказала о нем и о себе! Так он, значит, тот раненый, которого считали убитым и которого ты... Зачем ты молчала? Зачем?! Ведь я тебя спрашивала! Я бы ни за что не встала между вами!

Елочка отняла руки, которыми закрыла было лицо.

— Подожди, выслушай сначала! — и в голосе ее неожиданно прозвучала спокойная властность. — Пойми: я хотела видеть его счастливым! К тому же я слишком горда, чтобы насильно тянуть его к себе, рассчитывая на благодарность. А если бы я сделала тебя поверенной своего чувства, это бы навсегда встало между нами. Это возможно только теперь, когда его нет. Пойми, и не надо тревожить все это словами.

И она отчетливо ощутила всю красоту одинокой вершины и все величие отрешения. Ей было дано на минуту вознестись выше себя.

Только через несколько минут Ася отозвалась шепотом:

— Помнишь наш первый задушевный разговор у камина в гостиной? Я сказала тебе тогда: «Какая вы большая, глубокая, умная! А я — какая жалкая, ветреная, пустая!» Это же я говорю себе и сейчас. Твои слова дали мне понять очень многое!

И обе подумали: «Слышит ли нас *он*? Видит ли нас в эту минуту?» Но синий сумрак не открывал потустороннего.

На рассвете Асю вывело из забытья прикосновение руки, и когда она подняла голову, то увидела перед собой Елочку с чашкой какао и сухариками; Елочка была уже в пальто и шляпе.

— Не возражай ничего. При мне сейчас же съешь и выпей — я тороплюсь на работу. Славчика я одела и накормила, собак уже вывела. Ну, ешь же. — И она поставила чашку на столик у постели.

Ася бросилась ей на шею:

— Ты придешь ко мне сегодня же? Придешь? Ты не оставишь меня одну?

Уходя, Елочка подумала: «Вот когда, наконец, я становлюсь незаменимой и единственной! Дорогой ценой досталось мне это место, но теперь никто уже не займет его!»

Глава одиннадцатая

У Мики в этот день было свидание с сестрой. За те «уступки», которых сумел добиться от Нины следователь, она получила это свидание не через решетку, а в углу общей комнаты у окна.

Голова у Нины была перевязана, обтянутые скулы исхудалого лица, черные круги под глазами и тюремный халат изменили ее до неузнаваемости. Она казалась старше лет на двадцать. У Мики захватило дыхание, когда он увидел эту тень прежней Нины.

— Ну, прощай, Мика, — сказала она. — Мне дали семь лет лагеря. Не думаю, чтобы я смогла это вынести. Жизнь мне сохранена только за то, что я подписала бумагу, в которой говорится, будто бы Олег сам признавался мне, что состоит в контрреволюционной организации. Конечно, его и без моих показаний все равно бы пристукнули, и все-таки мне невыносимо тяжело! Уже вторую ночь я вижу во сне Софью Николаевну — его мать. Устоять перед их угрозами и побоями почти невозможно... Леля Нелидова тоже что-то подписала...

— Нина, так это правда, что бьют? Тебя били?

— Вот смотри: два зуба выбиты! Я так вымотана, так обессилена. Допросы без перерыва по двое суток, руки в синяках. Следователь уверяет, будто бы меня, как артистку, используют для концертов и самодеятельности, а тяжелые работы меня минуют... Я этому плохо верю, да и радость небольшая петь этим скуратовым! Я хотела тебе сказать: теперь моя опека над тобой волей-неволей кончается; ты сам будешь вершить свою судьбу — смотри: будь осторожен, не попадись в их когти!

— Думать лишь о том, как спасти свою шкуру, я не собираюсь, но... Короче, ты обо мне не беспокойся. Обещаю тебе: со мной ничего не случится.

— Ну, спасибо. И еще одна просьба: не говори Асе, что я подписала эту бумагу, а Егору Власовичу, Аннушке и Марине расскажи все начистоту. Вещи продавай, если будет трудно; распоряжайся всем, как хочешь. А за меня молись как за грешницу, если не разучился еще молиться! Перекрестить хочешь? Ну, перекрести. Дай поцелую эти лягушачьи глаза, такие мне родные. Я не плачу — ты видишь, у меня слез уже нет. Молчи. К нам подходят.

Выйдя из стен тюрьмы, он расстегнул ворот куртки, чтобы нащупать крест под рубашкой и сжать его.

— Господи, яви Свою помощь и силу! И это здесь, в России, в бывшем Петербурге, происходят такие вещи! Истязают женщину, чтобы вынудить у нее заведомо ложные показания! Нет, не всегда можно и следует прощать — таких мерзавцев, как этот следователь, прощать нельзя!

Ветер с моря дул в лицо вместе с мокрым снегом и свистел всю дорогу, пока он мчался на квартиру Аси.

«Расстрел... Господи, будь милостив: да минует нас чаша сия!»

Открыла Елочка и сурово поведала о расстреле Олега. Мика ринулся вниз и остановился в подъезде, словно сведенный судорогой.

— Жди милосердия! Как же! Мы раньше переоколеем все, чем дождемся ответа хоть на одну молитву! Жестоко, — произнес он вслух.

Участь Нины казалась ему трагичней участи Олега. Нину ждало все самое худшее: укоры совести, разбитое тело, непосильно тяжелые условия существования. Разве не легче просто умереть?! Нина так исхудала, что вся стала какая-то маленькая... Зашибленная, с перевязанной головой, она чем-то напоминала ему перевязанного Барбоску, у которого болят зубы: открытка, которая в детстве часто встречалась ему в старорежимных альбомах и вызывала в нем настолько сильную жалость к собачке, что он избегал смотреть на эту открытку.

«Я тоже виноват и буду мучиться своей виной не меньше, чем она своей, теперь, когда уже ничем не могу помочь! Ей нелегкая досталась задача тащить и воспитывать меня с четырех лет, а я всегда только мучил ее непослушанием, издевками и всякими фокусами и штучками. Она так рано овдовела, а когда полюбила, я и тут затравил ее... Как мы все порочны и как глубоко несчастны, а я к тому же все еще не христианин — я не могу произнести: Господи, да будет воля Твоя! Я кощунствую! Да, это было кощунство — то, что я позволил себе в подъезде! Михаил Александрович, вы набор всевозможных пакостей! Можете о себе не обольщаться!» — так размышлял Мика и не заметил, как попал в объятия милиционера.

— Гражданин юноша, прекрасненько — переходите улицу в недозволенном месте. Платите штраф!

— Отстаньте ради Бога! Денег у меня при себе нет. Хотите тащить в отделение — пожалуй, тащите. Мне все равно.

— Вы как мне отвечаете, гражданин? Как это так вам все равно?

— А так, что мою сестру в тюрьме пытали, а теперь отправляют в лагерь ни в чем не виноватую и больную. Ясно вам?

Милиционер махнул рукой:

— Проходите, гражданин, и в другой раз будьте внимательней.

Мика проводил его несколько ошалелым взглядом. Вот так штука! Дошло! Видать, хороший малый.

Его заранее раздражала та реакция, которая — он это знал — последует в кухне в ответ на катастрофические известия. Они промолчать не сумеют! Сейчас же пристанут с расспросами и начнут ахать и охать, еще завоют чего доброго! Такт-то ведь за редким исключением достояние того как раз воспитания, против которого он всегда бунтовал, находя в нем то фальшь, то условности, то принуждение. Бунтовал, а когда, бывало, в ком-либо из окружающих не хватало этого самого такта, сейчас же первый злился.

Реакция и в самом деле оказалась именно та, которую он ожидал:

— Нинушка, дитятко ты мое! Краса ненаглядная! Изведут тебя окаянные лиходеи! Мало, что мужей твоих, сперва одного, а после и другого, ухлопали, теперича и саму порешат! Вовсе у их ни стыда ни совести! — голосила Аннушка, подперев рукой щеку. Приятельница — прачка — скорбно кивала головой, одновременно и сочувствуя и одобряя способ причитания.

Дворник молчал, но по его морщинистому лицу медленно катились слезы, а сжимавшая костыль рука дрожала.

— Молчи, Анна! — выговорил он, наконец, глухо. — Касатку нашу теперь не вернуть, а у меня от причитанья твоего сердце заходит. Малость повремени. Поди-кось покличь Мику — договориться бы с ним, в какой день справить службы Божии.

— Как же, как же! Олега-то Андреевича и отпеть и помянуть надобно! — и Аннушка засеменила к двери: — Мика! Выдь, родной! Муженек мой тебя спрашивает.

— Слушаю вас, Егор Власович! — рапортовал Мика, появляясь на пороге кухни.

— Поди сюды. Чего хоронишься-то? — медленно заговорил дворник и притянул молодого человека за рукав. — Мы в твоем горе тебе не чужие, сам знаешь. Оно бы отпеть следовало, да заочно земле предать Олега Андреевича, и молебен бы за здравие болящей и скорбящей рабы Божией Нины отслужить не мешкая. Договорись с Ксенией, да Марину Сергеевну извести.

— Сделаю, я сам о том же думал, — кивнул Мика.

Аннушка перебила:

— Микушка, а что же девонька тая — подружка Асенькина, — котору по нашему же делу взяли, что она? Неужто и ее к высшей? Ведь ей, почитай, не больше двадцати годочков?

— О Елене Львовне мне ничего не известно. Они осведомляют только по поводу самых близких. Вот Вячеслав вернется — спросим, — ответил Мика.

Когда Вячеслав вошел, то пересек кухню, не говоря ни слова; и так же молча взялся за скобку своей двери. Мика и дворник проводили его взглядами и вопросы замерли у них на губах, но Аннушка не утерпела:

— Ну, чего узнал? Говори! Господи, проходит и молчок!

Вячеслав помедлил, как будто с силами собирался, а потом, швыряя фуражку на кофорок Надежды Спиридоновны, ответил:

— Загубили девчонку!

Аннушка ахнула, дворник выпучил глаза, а Мика спросил:

— А просьба о помиловании?

— Подано, да ведь меньше десяти лет не дадут, коли присуждена к высшей, — и скрылся за дверью своей комнаты.

Все помолчали.

— Совсем, видать, извелся. Лица на ем нет. Почитай, невеста она ему, — сказала сострадательная Аннушка, но Мика не пожелал касаться таких деликатных тем; к тому же отношения Вячеслава и Лели

были для него такой же загадкой, как и для остальных. После нескольких минут колебания он постучал в неприветливую дверь.

— Можно к тебе? Я хотел узнать, когда ответ из Москвы ожидается?

— Следователь сказал: дней через десять, — ответил Вячеслав.

— А свидания тебе не удалось добиться?

— Свидание дадут, если выйдет помилование, а пока остается только ждать. Притом я не знаю, с кем захочет она иметь свидание: дают только один раз с одним лицом — может быть, предпочтет Ксению Всеволодовну.

Но Мика и тут не задал вопроса. По-видимому, Вячеслав оценил эту деликатность — он взял руку Мики и крепко пожал.

— Ты, Мика, знаешь: я Нину Александровну и уважаю и люблю. Душевный она человек! И с Олегом Андреевичем мы, почитай что, друзьями были. Мне их судьба сердце переворачивает.

Мика невольно отметил, что из них двоих Вячеслав первый сумел выразить участие, и промолчал, боясь, чтобы голос не выдал его душевного волнения, которое он считал недостойным мужчины.

— А как твои дела по партийной линии? — только через несколько минут спросил он, задушив слезы и овладев собой.

— Скверно — вычистили! Я, по правде говоря, не ожидал. Всё припомнили, одно к одному свели: и неудачную речь в защиту профессора, и заступничество за швейцара, и хлопоты за Нелидову, и поездку в Лугу с детьми. Предместком — такая сволочь; я не выдержал и свой партбилет ему прямо в морду швырнул! Ну да я восстановлюсь. Я было на стройку в Комсомольск уже подрядился, да придется, видно, прежде в Москву ехать: добьюсь там пересмотра. В Москве рассудят по справедливости: за меня вся моя жизнь!

Но в интонации его были ноты подавленности.

— Ты надеешься еще найти справедливость? Смотри, как бы и тебе не приклеили пятьдесят восьмую с каким-нибудь из ее бесчисленных параграфов.

— Меня этим не запугаешь, а всем молчать тоже нельзя. Товарищи Менжинский и Ягода не на высоте и набрали себе в штаты недостойных лиц, а в первичных организациях у нас завелись шкурничество и бюрократизм. Это все толково изложить надо и вскрыть нарыв на теле нашей партии! Сейчас мне ничего на ум не идет, а вот как выйдет решение с Еленой Львовной, тотчас примусь за дела. — Вячеслав говорил как будто с трудом, через силу выговаривая.

Подошла Аннушка.

— Идите оба к столу, чаю выпейте. Шутка ли: с вечера не евши ни тот ни другой. Нинушка, моя голубушка, уезжая в Лугу, наказывала: пригляди за моим Микой ненаглядным. Должон ты теперь меня слушать: я тебе вместо бабки.

Дворник уже держал блюдечко на пяти пальцах и поднес было к губам, да поставил обратно:

— Как живая она у меня перед глазами, — глухой голос старика дрогнул. — Да не такая, вишь, какой в последние годы была, а подросточком с косами. Помнишь, Аннушка, болел я в Черемухах легкими, и она сама кажинное утро «кофий по-венски» с барского стола мне приносила; войдет с подносом и встанет, а глазки так и светятся. Помнишь ты, как стали ее верховой езде учить — я за повод лошадь веду, а она мне: «Не отходи, Егор!» — да прямо в волосы мне, бывало, вцепится рученькой своей. Покойный барин изволили раз подарить ей ослика и кабриолетик; изобиделся я: нешто это порядок, говорю, нельзя никак в конюшенную пустить этакую тварь! Лошадь — животное благородное и такого суседства не потерпит...

Но Аннушка перебила повествование мужа:

— Я в те дни мою Нинушку жаворонком звала: голосок у нее уже тогда звонкий был, да пела-то недолго — как убили Дмитрия Андреевича, так и примолкла, сердечная. Я ей: что же ты песни свои забыла, Нинушка? А она мне: пела-пела пташечка и затихла, знало сердце радости и забыло! А потом, как прикончили старого барина...

Мика вскочил:

— Я пойду, Анна Тимофеевна! Я слушать все это... Мне... Поброжу немного по улице... так лучше будет.

На лестнице он столкнулся с Мариной, которая взбегала через ступеньку.

— Что? — спросила она, останавливаясь и тяжело дыша.

Он минуту помедлил, язык ему не повиновался.

— Поднимитесь к нам... Аннушка вам все скажет...

Она испуганно схватила его за руку. Не глядя ей в глаза, он вырвал руку и сбежал вниз.

Была только одна душа, с которой ему хотелось сегодня говорить; взаимопонимание между ними уже было достигнуто, и задушевность становилась потребностью. Едва он выбрался на улицу, ноги сами вынесли его на Конную.

— Что с тобой? — спросила Мэри, едва лишь открыла ему дверь.

Сесть в ее маленькой комнате можно было только на кровать; пахло лампадным маслом, ладаном и немного сосновой веткой, которая была заткнута за икону Скоропослушницы. Она была в черном — старом школьном платье, уже заплатанном, волосы гладко зачесаны в косу; она была не из тех, что прихорашиваются: губы ее еще не знали помады, она не душилась, не пудрилась. На столике у кровати рядом с Творениями Ефрема Сирина лежал томик ее любимого Достоевского. Тут же просфора, вынутая за упокой брата. И казалось, возвышенная и серьезная атмосфера храма занесена сюда и отсвечивает даже в ее лице и взгляде. «Херувимские» кладут свою печать на лица!

Он стал рассказывать, заранее зная, что ее реакция будет такая именно, какая нужна ему, — иная, чем у всех тех, с кем он сталкивался сегодня утром.

— Я сейчас с тоски не знаю, куда деваться! Дома Аннушка причитает и плачет, хоть уши затыкай. Как преступницу — на семь лет каторги! В том виде, в каком она сейчас, ей этого не перенести, а ведь она заменяла мне мать — я это слишком поздно понял! — он вдруг приник лбом к рукам девушки... — Мэри, я грешник, я сейчас кощунствовал омерзительно, безобразно! Когда я узнал, что ее пытали, меня разобрало отчаяние! Если бы ты только слышала, что я говорил в подъезде! Мне кажется сейчас, что борьба политическая принесла бы, может быть, больше плодов и больше удовлетворения, чем наши молитвенные бдения и работа над собой! Я способен повернуть на все сто восемьдесят градусов!

— Сохрани тебя Бог, Мика! Политические партии — омут! В них все строится на многоглаголании и обмане, на убийствах и мести! Слова-то у них у всех хороши — у наших коммунистов даже лучше, чем у других, а что на деле — вот мы теперь видим! Царствие Божие внутри нас, не забывай! — Она положила руку на его голову и смотрела на него серьезно и озабоченно, как врач на больного. — Старайся быть благостным, Мика. Нам — христианам — дано великое счастье обновлять душу в Таинстве Причащения. Если ты раскаиваешься и сознаешь свою вину, кощунство твое с тебя снимется. А за Нину Александровну мы теперь должны молиться, не отчаянием нашим мы ей поможем. Почем знать? Может быть, великое испытание это послано ей, чтобы разбудить в ней веру и тягу к духовному. Знаешь, я сейчас все время около умирающей: меня приставили к сестре Марии, даже с клироса ради этого сняли. Сестра Мария ждет кончины, как перехода в иное существование, и уже забрасывает взгляд по ту сторону. Она недавно видела во сне, как будто к ней в грудь вошло Солнце... А вчера — я

слышу — она тихо напевает ирмос: «Бога человекам невозможно видети...» Она переживает что-то высокое.

— Нина уже давно потеряла веру! — печально сказал Мика. И после минуты молчания воскликнул: — Как допускает европейский христианский мир такие гонения на русскую интеллигенцию и русскую Церковь? Вот Россия всегда приходила на помощь и грекам, и болгарам, и сербам, и Кипру, а когда гибнем мы, никто пальцем не шевельнет! Эта гордая голодная Англия только радуется, когда та или иная великая держава терпит катастрофу. Но Россия опять восстанет назло им всем! Ее еще в пятнадцатом веке сравнивали с фениксом, который возрождается из своего же пепла.

— Да, Мика, и спасет Россию Церковь! Не эти несчастные белогвардейцы, которым не на кого опереться и которых скоро пересажают всех до последнего, а именно Церковь! Я чувствую, что вросла в Церковь органически: атмосфера храма, иконы, свечи, пение, церковная среда — все это со мной уже сроднилось. Это не значит, что я не вижу недостатков в церковной среде, но когда болеешь душой, преданность становится еще сильнее! Только в церковной среде в нашу жизнь может войти подвижничество. Как безмерно я благодарна маме, которая приоткрыла передо мной этот мир. В школьные годы мне случалось досадовать на маму за нескончаемость требований и запретов, теперь только я поняла, чем я ей обязана. Она не побоялась привить нам то, что преследуется как одиозное, а сама всегда так мужественно принимает удар за ударом! Ты вот говоришь о политической борьбе. Древние христиане погребали одного за другим своих лучших последователей и пресвитеров, но за оружие брались только как воины в армии. Христианин при любой власти обязан быть самым лучшим гражданином. Ты помнишь, что ответил святой Севастиан императору Максимиану, когда тот заподозрил в нем заговорщика? Когда я в пятнадцать лет читала о святом Севастиане, я думала: вот идеал мужчины! Это был блестящий римский офицер, один из начальников дворцовой кордегардии, а умер как мученик.

— Святого Севастиана ты не встретишь, Мэри, будь уверена. Святой — один на несколько миллионов! — с неожиданной досадой сказал Мика, почему-то задетый за живое ее словами.

— Конечно, не встречу, а если б встретила, он, наверно, нашел бы подругу более достойную, чем я. Конечно, не встречу, но я могу в другом увидеть те черты, которые мне так нравятся. Я помогла бы ему усовершенствовать себя и свой христианский путь, а он помог бы мне, чтобы вместе восходить к идеалу. В этом виде мне кажется прекрасным христианский брак.

«Да, — подумал Мика, — мы уже взрослые теперь. Ее ждет замужняя жизнь, и, может быть, скоро. Любовь такой девушки — большая опора. Это тебе не Ксения Дашкова или Леля Нелидова — две куклы с очаровательными личиками и восковыми руками, но пустоголовые. Обе только на грешные мысли наводят. А Мэри встанет рядом как равная, мыслящая и сильная! Кого полюбит она?»

— Знаешь, Мика, на днях меня вызывали в красный уголок и там какой-то корреспондент имел со мной серьезную беседу.

— По поводу чего же?

— А вот зачем я, молодая девушка, окончившая десятилетку, пою на клиросе и гублю себя в церковной среде. Перед вами, говорит, огромное поле деятельности. Мы дадим вам службу, а может быть, и путевку в вуз; порвите только с этими ханжами и мракобесами; напишите статейку в виде письма в «Комсомольскую правду», что вы порываете с Церковью: мол, окончательно разочаровались в религии и ее последователях, и начните новую жизнь. Я, говорит, помогу вам составить статью и замолвлю за вас словечко в предстоящей паспортизации. Я, разумеется, отказалась.

Мика крепко сжал ее руку...

Лампадка одна горела и дрожащим отблеском освещала кроткий лик Казанской Богоматери; сидя на табурете около больной, Мэри пристально всматривалась в ее лицо. «Бога человекам невозможно видети...» Вот эта улыбка, которая появляется иногда на ее губах... Мэри старалась на всю жизнь запомнить улыбку человека, который уже видит потустороннее.

Старая инокиня открыла глаза, и Мэри встала, чтобы подать ей кружку киселя.

— Выпейте, это — клюквенный. Я сама готовила. Вы еще ничего не кушали сегодня.

— Спасибо, моя девочка. Будь добра, сбегай вечером на Творожковское подворье и попроси отца Христофора прийти ко мне завтра со Святыми Дарами. Я боюсь откладывать эту минуту.

— Слушаюсь, — ответила девушка, опять приподымаясь, и не прибавила общепринятых фраз — «вы поправитесь», «не надо думать о смерти».

— Бог еще милосерд ко мне, грешной, — продолжала монахиня, — есть целые области, в которых не осталось ни единого храма, люди живут и умирают без Причастия. Несчастные большевики — какую тяжелую ответственность взяли они на себя, что создали такое положение! Вот твоя мать прислала мне письмо, где пишет, как она стосковалась без церковных Таинств. Надо ей помочь: я попрошу отца Христофора переслать ей Дары. Она не раз у него исповедовалась. Нужен верный человек, который возьмется отвезти... можно было бы это поручить тебе, только прежде ты закроешь мне глаза — я уже привыкла видеть около своей постели тебя.

— Я и сама не захочу вас оставить в ваши последние часы, — сказала Мэри. — Бедная мама! Никогда не слышать Божественной Литургии! Я бы, кажется, не вынесла, — прибавила она.

— Да, Маша. «Мерзость запустения на месте святом». Что бы сказал Федор Михайлович Достоевский! Народ-Богоносец оказался громилой с черной душой. Остается надеяться, что это явление временное. Теперь идет очищение и сроки его знает только Бог! Ты мне напоминаешь свою мать: и лицом и целеустремленностью. Жаль, что не доведется мне увидеть твоего пострига.

Щеки Мэри порозовели.

— Вы знаете, сестра Мария, как я люблю монашество. Я мечтала о нем... Но я все-таки не могу вовсе не думать о земной любви, считать ее греховной. Я уже два раза признавалась на исповеди отцу Варлааму. Ведь любовь повышает способность к творчеству, любовь дает жизнь новым существам, любовь побуждает даже самого эгоистического человека жертвовать собой для любимой женщины, для детей... разве мало примеров? Я давно хотела вам рассказать... я не хочу, чтобы вы думали обо мне лучше, чем я есть... у меня... я... мне нравится один мальчик, тоже верующий — из братства. Мы с ним пока только друзья, но очень хорошо понимаем друг друга; если бы я его полюбила и прошла с ним за руку весь путь к вечной жизни и богопознанию через узкие врата, разве не прекрасен был бы такой союз и, может быть, мученичество вместе, как в Древних Церквах?

Но инокиня с сомнением покачала головой.

— Берегись соблазна. Старайся не думать о браке. Ты пришла к Богу, не успев вкусить порока. Это большое счастье. Умей дорожить им.

— Сестра Мария... простите меня за дерзость, но... ведь вы же любили в молодости; мама говорила, что иночество вы приняли только после того, как муж ваш погиб на «Петропавловске». Почему же вы отговариваете меня, если сами...

Инокиня приподнялась, опираясь на локоть.

— Да, я любила, Машенька, и острую рану нанес мне этот чело-

век! Я вышла замуж очень молодой. Мой муж, морской офицер, увез меня во Владивосток, где стоял тогда «Петропавловск». Ни один город в мире, я думаю, не жил так весело и не безумствовал так, как этот порт, где собирались моряки со всего света. Наши офицеры — золотая молодежь царского времени, столбовые дворяне, получившие блестящее воспитание, — задавали тон и сорили деньгами, купая в шампанском дам полусвета... Кутежи приняли такие размеры, что издан был специальный приказ посылать в дальневосточные порты только женатых юношей. Я ни о чем, конечно, не подозревала... И вот однажды, когда я вернулась из Петербурга, куда ездила к матери, я застала в комнатах... застала красотку... полуобнаженная... лежала на моем рояле. Я без оглядки убежала из дому и в тот же день умчалась обратно в Петербург. В тот именно день я потеряла любимого мужа. Спустя месяц началась война, и погиб от взрыва «Петропавловск». Я переживала только боль за поражение как русская патриотка, а гибель мужа оказалась для меня выходом из создавшегося невыносимого положения: как вдова я могла снова выйти замуж или уйти в монастырь, который и прежде привлекал мои мысли, а если бы муж вернулся, меня водворили бы обратно в его дом; я же не могла даже вообразить себе близости с этим человеком после того, что видела... Теперь все это уже так далеко! Я без боли уже поминаю на молитвах имя мужа — все сгорело во мне, я все простила... Но что делалось когда-то в этой грешной душе! Мне трудно много говорить... Прочти мне о праведных у источников вод.

Мэри послушно стала перелистывать Апокалипсис, но упрямая черточка залегла между ее бровей и около губ.

Это только прежде, когда были богатство и роскошь, могли происходить такие вещи. А Мика не такой, как эти блестящие офицеры. Нельзя даже вообразить себе Мику с «красотками». Он вырос после «очистительных бурь» и удовольствия не занимают большого места в его жизни. «Он полюбит меня, потому что у нас близость душ, которая все нарастает. Путей отречения много, очень много... Я отдам Церкви все мои силы, но счастье с Микой я оставлю себе».

За стеной, в квартире у соседей, патефон громко наигрывал фокстроты.

Глава двенадцатая

Дворник молился всех горячее, осеняя себя крестными знамениями и с усилием преклоняя колени.

— Помяни, Господи, раба Твоего Олега убиенного! Помилуй, защити, охрани рабу Твою скорбящую и болящую Нину! — шептали его губы.

Отпевание служили в одном из соборов; многие из желающих присутствовать не смогли бы добраться до Киновии, которая была расположена в отдаленном районе на правом берегу Невы и куда надо было добираться по перевозу. Были оповещены все родные и знакомые. Братство явилось полностью, и прихожане удивлялись присутствию такого большого числа молодежи, которая пела слаженно и красиво, как хорошо обученный хор, а не случайное собрание молящихся.

Ася при первых звуках службы отошла в сторону и встала в уголке у иконы Серафима Саровского; изредка взглядывая на икону исподлобья полными слез глазами, она думала: «Ты меня всегда слышал, но как раз самой большой моей молитвы не исполнил... почему? Почему?»

Елочка, тотчас с решительным видом двинувшаяся за Асей, стояла сзади, как будто готовясь ее поддержать: Ася, однако, благополучно выстояла всю службу и плакала только совсем неслышно. Елочка не плакала вовсе и простояла с сухими глазами во время пения «Со святыми упокой». Она несколько раз неприязненно косилась на рыдавших Аннушку и Марину и даже передернула плечами, когда Марине пришлось подать воды.

«Это что еще за демонстрация чувств? Кто эта дама в трауре, которая делает себя первой персоной в горе? Уж, кажется, эти потери прежде всего наши», — ревниво думала она. Чувство собственности на Олега и Асю не оставляло ее даже здесь.

По окончании службы непредвиденно разыгрался инцидент: старый диакон, словно злобный индюк, напустился внезапно на Мику, не сжалившись ни над его юностью, ни над расстроенным лицом.

— Вы подвести нас, что ли, пожелали этою панихидой? Просите возглашать за «убиенного», а сами собираете столько народу, молодежь, дамы все, как на подбор, свой хор приводите... Для чего вам все это понадобилось в такие тяжелые для Божьей Церкви дни? Да ведь нас потом обвинят, что мы панихиды в демонстрации превращаем или что у нас тут недозволенные собрания «бывших». Нам и без того обвинение за обвинением бросают.

Собравшиеся, обступив Мику, сначала молча выслушивали распетушившегося старика; потом пробежал шепот негодования... Но достойный ответ нашла только одна — самая юная, с черной косой, как у школьницы:

— Отец диакон! Служителю Церкви не подобает быть таким малодушным в тяжелые для Божьей Церкви дни. — И, перекрестившись, прибавила: — Да простит Господь и вам и мне.

Диакон хотел было что-то еще злобно сказать, но, лишь хватанув ртом воздуха, вдруг передумал, перекрестился и с растерянным видом отошел.

В притворе подошла к Асе Марина и после нескольких слов с выражением сочувствия поманила к себе Славчика.

— Подойди ко мне. Покажись, ну, покажись, какой же ты? — она поцеловала его в щечку, потормошила и снова разрыдалась, обнимая малыша.

— Ну-ну-ну, — заворчала, подходя, Аннушка, — впредь думай больше! Не тем местом думаешь, каким надо!

— Эта дама, наверно, ребенка потеряла? — спросила Елочка стоявшую около нее Краснокутскую, но та не могла ничего объяснить ей...

«Русская Андромаха! — думал молодой Краснокутский, не спуская глаз с Аси, державшей за ручку Славчика. — Через год я сделаю ей предложение. Полагаю, что в этот раз она оценит и примет!»

Мадам Краснокутская, по-видимому, думала то же самое и заботливо, уже заранее по-матерински, поправляла на Асе шарфик, говоря:

— Не простудитесь, моя прелесть.

Когда Ася и Елочка вернулись на квартиру Аси, первое, что им бросилось в глаза, была многострадальная офицерская шинель, которая, благодаря бесхозяйственности Аси, все еще висела в передней.

— Древние были по-своему правы, когда сжигали вещи умерших! — печально сказала Елочка. Ася ничего не сказала, только углы ее губ дрогнули. Из комнат навстречу им уже ползла невидимым клубком пустота; собаки, по-видимому, почувствовали ее настроение — не прыгали и не радовались, встречая хозяйку, а только тихо коснулись холодными носами рук Аси, слабо повизгивая. Обе подружки прошли в спальню, перешагивая через расползавшихся по комнате щенят. Ася устало опустилась в качалку.

— Кажется, в самом деле не следовало оставлять беременность. Я все-таки не учла размера бедствий! Это будет заморыш или уродец: уже седьмой месяц и все еще незаметно на посторонний взгляд. Со Славчиком было не так.

— Глупости, Ася! Ребенок будет самый нормальный, увидишь. Уродливые дети рождаются от алкоголя и венерических болезней; я работаю в больнице и знаю. Не внушай себе.

Но Ася не слушала ее.

— Впереди — точно бездна! Как я уеду в незнакомое место одна, в положении, с ребенком на руках? На кого я потом буду оставлять детей? Работать необходимо, а кем работать? Диплома я не получу... я не могу сдать выпускных экзаменов... со мной уже несколько дней творится что-то странное: я забыла все разученные вещи, а ведь программа была уже готова. Сегодня я в сотый раз сказала себе, что должна взять себя в руки, и села за рояль, но я ничего не могу сыграть, ничего! По-видимому, я потеряла музыкальную память — от страха или от тревог — не знаю. Может быть, это со временем пройдет, но сейчас, сколько бы я себя ни принуждала — я сыграть не могу. А ведь я уж и так пропустила все сроки. Кроме музыки я ни на что не способна... на что же я буду содержать семью?

Елочка искренно возмутилась:

— Ты работать не будешь. Это невозможно с детьми. Работать буду я. Здесь ли, в ссылке ли, ты без моей поддержки не останешься.

Слезы опять наполнили уже наболевшие глаза Аси.

— Что ты! Что ты! Я не допущу! Ты и без того огромную жертву... Все счастье мне отдала... Неужели же я еще буду собирать с тебя мед, высасывать все соки?

Елочка ее перебила:

— Не будем обсуждать сейчас. В настоящее время на работу тебя все равно не примут: и из-за анкеты, и из-за беременности... пусть сначала родится ребенок и выяснится, где вам придется жить... тогда вместе решим остальное...

Наступило печальное молчание.

— Что мне пришло в голову, — встрепенулась вдруг Елочка, — в таких случаях всегда конфискация... каждую минуту могут явиться описать имущество. Надо спасти, что только возможно! Дай мне сегодня же что-нибудь из дорогих вещей — я отнесу к себе.

Ася обвела глазами комнату, потом встала и подошла к туалету.

— Вот, — и она протянула Елочке два бархатных футляра. — Здесь фамильная драгоценность Дашковых — фамильные серьги, а здесь — бабушкин жемчуг. Сохрани для Сонечки.

— Еще что?

— Ничего. Рояль... Рояль ты не унесешь! А предметы необходимого обихода не описывают. Мне больше ничего не дорого, — и она повернулась к окну.

— Ах, Ася! Ты неисправима в своей беспечности! Ведь на продажу вещей ты сможешь жить. Вспомни, сколько раз вас выручали фарфор и бронза Натальи Павловны! Вот она отдавала себе ясный отчет в положении ваших дел, а с тобой так трудно! Вот хотя бы твой соболь или эта картина — курица с цыплятами, — их тоже можно превратить в деньги.

Глаза Аси печально остановились на картине.

— Она стоит три тысячи, но что толку, если ее никто не покупает? Возьми ее себе; я ее тебе дарю; она мне дорога в память встречи с Олегом, и я не хочу, чтобы она попала в чужие руки, а с собой в ссылку я ведь ее не потащу. — И пошла к двери. — Я в кухню: надо согреть макароны Славчику и щеняток покормить — у Лады уже не хватает молока.

Оставшись одна, Елочка стала стягивать с ребенка свитер; в эту минуту раздался звонок; она побежала в переднюю и увидела своего сослуживца — невропатолога, которого без ведома Аси пригласила к ней ее освидетельствовать.

— Борис Петрович! — радостно воскликнула Елочка. — Как я благодарна вам, что вы пришли! У моей приятельницы после тяжелого потрясения наблюдаются тяжелые отклонения от нормы: она не ест — уверяет, что ей мешает комок в горле; почти не спит и жалуется на потерю памяти...

Врач приглаживал перед зеркалом волосы маленьким гребешком.

— Пока пациентки нет, не скажете ли вы мне: какого характера душевные переживания? — спросил он.

— Несколько дней тому назад расстрелян ее муж по обвинению в контрреволюции. Пока тянулся процесс, она успела уже известись, а теперь...

Врач нахмурился.

— Елизавета Георгиевна, я никак не мог ожидать, что, повинуясь вашему приглашению, попаду в скомпрометированный дом! Вы меня поставили в очень неудобное положение. Извините меня, — и он протянул руку к пальто.

Елочка стояла, как громом пораженная.

— Я привыкла думать, что врач и священник не отказывают ни при каких случаях, — отважилась возразить она.

— Все зависит от обстановки, — и, поклонившись, врач поспешно вышел.

Через несколько минут снова послышался звонок.

«Одумался! Совесть заговорила», — улыбнулась Елочка, торопливо распахивая двери... Перед ней стояла старая дама.

— Юлия Ивановна! — воскликнула Елочка, бросаясь навстречу старушке.

— Здравствуйте, дитя мое! Я хотела бы увидеть Асю. Я с большим трудом выхлопотала ей новую отсрочку выпускных экзаменов. Необходимо, чтобы она теперь же явилась в техникум расписаться в приказе и немедленно приступила к занятиям, иначе...

— Юлия Ивановна! К сожалению, это невозможно! Ася заниматься не в состоянии: мы только что вернулись с панихиды по ее мужу, Олег Андреевич расстрелян.

Старая учительница опустилась на стул.

— Мне передавали, что он арестован, но я не знала, что все обстоит так трагично. Бедная крошка! — сказал она с нежностью и после нескольких минут молчания прибавила: — В этой девочке гибнет редкий талант! Мазурки Шопена и миниатюры Шуберта и Шумана она играла лучше законченных пианистов.

Она скорбно задумалась, Елочка в почтительном молчании стояла перед ней.

— Странная и хрупкая вещь — талант! — заговорила опять Юлия Ивановна, видимо, погруженная в свои мысли. — Всякий раз, когда мне в руки попадает высокоодаренный ученик, я уже заранее дрожу над ним, и непременно случится что-нибудь, что помешает мне вырастить из него большого музыканта. Способные и малоталантливые блестяще заканчивают консерваторию, а неповторимые... На старости лет это становится моей трагедией. Ася была последней моей надеждой!

Глава тринадцатая

Танька Рыжая с копной завитых, во все стороны торчащих волос, с ярко размалеванными губами и ногтями, разгуливая по камере смертников, уверяла окружающих:

— Мне помилование выйдет в обязательном порядке. Даже не тревожусь! Права не имеют пристукнуть: мне еше восемнадцати нет! — И, показывая кукиш, прибавляла: — На-кось, выкуси!

Она убила кастетом банковскую кассиршу. Со страхом взглядывая на эту девицу, Леля напрасно старалась уловить что-нибудь похожее на угрызение совести — одна наглая беспечность бросалась в глаза. Тюремные окна выходили во двор, ограниченный другим зданием с окнами таких же камер. Таньку Рыжую можно было часто видеть у окна переглядывающейся с мужчинами. Теми или иными знаками она приглашала их наблюдать за своими телодвижениями, чтобы вместе увлечься одной и той же игрой; при этом она обнажалась, как находила нужным. Восемнадцатилетняя Шурочка ложилась лицом вниз, чтобы не видеть этого

бесстыдства. Вина этой Шуры была столь же «велика» — работая на обувной фабрике и сдавая на конвейер очередную деталь, она начертала на ней: «Долой Сталина». Учинили следствие и заподозрили одного из рабочих; воспитанница детского дома смело явилась в местком и заявила на себя, требуя, чтобы освободили ни в чем не повинного товарища по работе. Теперь Шурочка ждала решения своей участи в камере смертников.

Еще сидели три монашки; эти не подавали просьб о помиловании, не подписывались под протоколами — они не хотели вовсе иметь дела с «бесовской» властью. На допросе они не давали показаний, не сообщали даже своих имен; в камере не вступали в разговоры; забившись по углам, они в положенные часы тихо пели церковные службы и никакие выходки и сквернословия Таньки Рыжей, ни окрики надзирателей не останавливали на себе их внимания. Слушая знакомые с детства напевы «Господи воззвах» и «Свете тихий», Леля всякий раз чувствовала, что слезы подступают к ее горлу.

В одну из ночей пришли за соседкой Лели по койке — шансонеточной певицей, обвинявшейся в связях с эмигрантами в целях шпионажа. Широко раскрыв глаза, полные ужаса, следили Леля и Шурочка, как та медленно подымалась и застегивала на себе пальто дрожащими руками.

Как раз на другое утро явился конвой за Лелей.

— Не бось, не бось! Прощение, поди, объявят. Вот помяни мое слово: коли днем, значит, благополучно, — ободряюще шептала ей Шурочка.

Подскочила и Танька Рыжая.

— Не нюнь, смотри! Наплюй им в рожу! — присоединила она и свое непрошеное сочувствие...

В эту последнюю встречу он поиграл с ней на прощанье, как кошка с мышью.

— Ответ из Москвы получен, — сказал он, вертя конвертом, и смолк, всматриваясь в нее прищуренными глазами. — Москва пересмотрела ваше дело. Ну-с, пишут нам, чтобы мы... — И опять смолк, наслаждаясь видом своей жертвы.

Леля молчала, чувствуя, что дрожит от напряжения, и слыша стук собственного сердца.

— Итак, приговор о расстреле решено... — новая пауза.

Леля все так же не шевелилась. Что дальше? Оставить в силе или заменить? Две секунды его молчания показались ей вечностью.

— ...заменить десятью годами концлагеря. Всего наилучшего, мадемуазель Гвоздика. — И, словно прощаясь с ней, он с насмешливой галантностью вытянулся и щелкнул каблуками, как шпорами. В этом жесте промелькнуло что-то слишком знакомое... что-то старорежимное, напомнившее ей кого-то... Валентина Платоновича, может быть... Что такое? Померещилось! Неужели же эта кобра в прошлом... Она припомнила, что уже не раз и не два некоторые обороты его фраз казались ей составленными по старым образцам... А вот теперь он как будто полностью показал себя напоследок. Но где же утерялись понятия о благородстве и чувстве чести, которые в те дни внедрялись в сознание вместе с «Отче наш»? Эта кобра...

На следующий день Лелю перебросили в Кресты вместе с группой других. Там камера была значительно менее благоустроена, чем в большом доме, и переполнена до отказа — лежали вплотную одна к другой на дощатых нарах и под нарами, кто какое место захватил, матрацев не было вовсе: подкладывали пальто и платки; камера кишела насекомыми. Одним из первых впечатлений Лели была огромная белая вошь, которая ползла по пестрому крепдешину молодой женщины, лежавшей на собственном пальто на полу посреди камеры. Леля едва нашла себе маленькое местечко под нарами, где сидеть можно было только с наклоненной головой.

В этой камере тоже были монашки. Соседками Лели оказались на сей раз две совсем простые старухи. Одну из них — уголовницу, сидевшую за кражу, — окружающие прозвали Боцманом за грубый голос и привычку ругаться: по ночам она храпела на всю камеру. Другая — Зябличиха — была, напротив, очень молчаливая и степенная; она все время вязала, сделав себе крючок из зубной щетки и распустив на нитки свое же трико. Зябличихе инкриминировалась контрреволюция: както раз в очереди за картошкой ее прорвало — она вдруг разговорилась, доказывая, что при царях жилось сытее: картошку и огурцы покупали только ведрами и добра этого никто и не считал, а о хлебе и сахаре и разговору-то не водилось.

Градус общего настроения был здесь менее удручающим — заговаривали друг с другом, читали и даже играли иногда в домино за большим столом, который стоял посреди камеры.

Лелю донимали апатия и усталость, пришедшие на смену нервному перенапряжению. Страшная кобра уже не вызовет ее — это служило единственным утешением в безотрадном настоящем и будущем. Почти все время она находилась в полудремоте. Одно, что занимало ее мысли, — свидание, на которое она имела теперь право. Кто придет к ней? В поданном заявлении она указывала на мать или Асю; она почти не надеялась, что мать жива; в передачах, которые она несколько раз получала, чувствовалась чужая рука — мама и Ася уж наверно сунули бы туда яблочек и ее любимые конфеты «Старт»; они очень хорошо знали, что карамели она не любит и мятные пряники тоже; вот и мыло не то, которое она употребляла обычно. Кто же делал эти передачи? Уж не Елочка ли? Так или иначе, это указывало, что с ее матерью случилось что-то.

И вот наступило утро, когда ее, наконец, вызвали на свидание. Проходя по коридорам, она чувствовала, что дрожит в лихорадочном ожидании. Все в ней разом словно оборвалось, когда она увидела через решетку худое и смуглое лицо Елочки.

— Я пришла вместо Аси. Ася в больнице: вчера у нее благополучно родилась дочка! — поспешно крикнула ей Елочка, в свою очередь взволнованная и предстоящим тяжелым разговором и Лелиным лицом, показавшимся ей почти восковым.

— А мама? Моей мамы уже... уже нет? — Голос Лели оборвался.

Елочка тяжело вздохнула.

— Да, Леля. Зинаида Глебовна скончалась еще в день вашего ареста. Мне очень грустно сообщить вам это. Второй приступ оказался смертельным. Ася была неотлучно при ней.

Леля прижалась головой к решетке и молчала.

Елочка корректно выждала минут пять и наконец собралась с духом.

— Простите, Леля, что я прерываю ваше молчание! У нас только десять минут времени, а свидание разрешается только одно. Я знаю, что я вам чужая, но лучше я, чем никто. Что передать от вас Асе и какие вещи вам приготовить к отъезду? Постарайтесь собраться с мыслями.

Леля все так же молчала.

— Вы, может быть, хотите, чтобы я ушла? — спросила Елочка.

— Нет, нет, Елизавета Георгиевна. Я вам очень благодарна, а только я... — Она снова умолкла.

— Леля, у нас остается всего пять минут времени!

Леля подняла голову.

— Скажите об Асе. Остается она в Ленинграде?

— Неизвестно. Подписка о невыезде еще не снята. Возможно, что оставили только до родов. В ближайшее время все должно выясниться.

— Она очень, очень убита? — спросила Леля.

Елочка молча кивнула.

— А выпускные экзамены она сдала?

— Нет, не смогла, — Елочка покосилась на надзирателя, который ходил между решетками.

— Скажите, чтобы она меня не забывала, не теряла из виду. Скажите, что я буду думать только о ней. У меня, кроме нее и Славчика, нет никого на свете! Не знаю, увидимся ли мы: десять лет лагеря я, наверно, не вынесу. И еще скажите... On m'a battu! [1]

Елочка вздрогнула и опять оглянулась налево и направо; кудрявая головка Лели припала к решетке. Потом она снова оторвала лицо.

— Спасибо вам за передачи, Елизавета Георгиевна!

— Я не делала вам передач. Их приносил Вячеслав Коноплянников. Он же выстаивал очереди к прокурору.

Изумление отразилось на восковом лице; потом слегка дрогнули губы и сощурились ресницы, как будто взгляд пытался проникнуть в неведомые глубины... И вдруг далекий отблеск радости, как неясная радуга, скользнул по скорбным глазам и губам.

«Как неравнодушны они все к мужской любви!» — подумала Елочка

— Отчего же... отчего же он не пришел сам? — голос Лели задрожал.

— Я, разумеется, готова была предоставить ему эту обязанность,— голос Елочки прозвучал сухо, — он намеревался идти и уже приготовил вам для передачи замечательные сапожки — русские, высокие, из очень хорошей кожи, где-то сам заказывал... Вчера он должен был прийти окончательно договориться с Асей, которая тоже непременно хотела иметь с вами свидание. Но я напрасно прождала его весь вечер, а Ася попала в больницу на десять дней раньше, чем мы предполагали, и идти пришлось мне. Сапожки эти я вам принесла, а также ваше зимнее пальто и теплый оренбургский платок от Аси — все это было приготовлено уже неделю тому назад. Скажите: не нужно ли еще что-нибудь?

— Нет, ничего. Ничего не нужно! Только мамину фотокарточку перешлите. Я Асе напишу, если будет дозволено. Берегите ее, а она пусть побережет могилу мамочки. До свиданья, спасибо вам, Елизавета Георгиевна.

И, не дожидаясь сигнала, Леля отошла от решетки.

Сапожки в самом деле оказались удивительно хороши и как раз впору, но где же человек, приславший их? Отчего вдруг раздумал прийти? Не был уверен в том, как она его примет? Или Ася слишком настаивала на своих правах? Он продолжает любить и помнить, несмотря на то, что отвергнут! Она знала случаи, когда близкие родственники сторонились репрессированных, опасаясь скомпрометировать себя, но он не сделал так! Тут-то — на самых опасных мелях — он и протянул руку помощи, как мог бы сделать жених!

«Лучше не думать! Десять лет лагеря — я или умру там или выйду старухой. Лучше не думать».

Волосы ее отросли за это время и пышными локонами опускались на шею, — они будут седые, эти локоны! Кому она будет тогда нужна? Невыносимы эти мысли! Когда смерть стояла совсем близко, мысль была только о том, как бы сохранить жизнь; сейчас, когда острый момент прошел, подымался вопрос: зачем жить, если впереди ни счастья, ни семьи, а лишь один изнурительный труд? Не лучше разве было погибнуть сразу?! Она начала предчувствовать, что тоска по счастью замучает ее. Что-то острое, подымаясь на поверхность со дна души, вонзалось в каждую мысль, в каждое впечатление... У нее составилось убеждение, что невидимое острие, выходя из сердца, подымается вдоль позвоночника и пронзает мозг!

«Это мне возмездие за мои постоянные капризы и недооценку ближних, за мои эксцентрические тяготения. Именно сюда уходят корни этого страшного растения. Оно питалось тою скрытою порочностью, кото-

[1] Меня избивали! (*франц.*).

рую никто не замечал во мне, кроме меня самой, а теперь — отчаянием которое меня душит. Его не выдернуть никакими усилиями, и оно будет отравлять меня день и ночь, как злокачественная опухоль своими токсинами. У Аси ничего подобного не может быть, как бы глубоко она ни была несчастна».

Не прошло и недели, как вся камера была разбужена среди ночи командой:

— Всё! Собирай вещи, выходи в коридор! Без разговоров! Быстро!

В коридоре на тумбе уже лежали кипы «тюремных дел», которые заводились на каждого. Тюремное начальство передавало заключенных этапному. Команды отличались бесцеремонностью, претендовавшей на лаконичность:

— Стройся! По четыре штуки! Руки в заднее положение! Живее, живее!

Эффектней всего была посадка в «черный ворон», куда заключенных запихивали, уминая ногами, дабы вместить как можно больше. Леля встала в четверке с Зябличихой, Шурочкой и одной из монахинь и, как только началась высадка на отдаленных запасных путях, по-видимому, Московского вокзала, поспешила построиться с теми же, чтобы избежать соседства с Танькой Рыжей и Боцманом. Однако после первой же переклички выяснилось, что уголовниц нет среди приготовленных к отправке — эта партия из двух тысяч человек состояла только из политических. Огромный железнодорожный состав уже был наготове. К каждому вагону-теплушке были прилажены широкие сходни, по обе стороны которых стояли конвойные с собаками; овчарки злобно скалились, хрипели и выкатывали глаза, натягивая цепь и пытаясь схватить заключенных, пропускаемых мимо них; пена капала с высунутых языков. Леля с детства привыкла умиляться на всех четвероногих — и собак, и телят, и овец, и кошек — и с ужасом смотрела теперь на этих озлобленных тварей. «Они, по-видимому, заразились от этих людей их сатанинской злобой! Таких даже Ася не решилась бы гладить и целовать в морду!» — думала она, подбирая в руку платье, чтобы благополучно пробежать между двух морд.

В каждую теплушку было запихнуто по пятьдесят человек; лежали, плотно прижавшись друг к другу, на нарах и под ними на разостланной соломе. Посредине была бочка с водой, а рядом на полу дыра, предназначенная играть роль уборной. Двери плотно закрыли на болты; в первый раз их раздвинули только в середине следующего дня, когда принесли еду и произвели проверку. Способ, применяемый в последнем случае, тоже был образцом «вежливости»: заключенных сначала уминали в один угол, а потом перегоняли палкой в другой, пересчитывая поштучно, как скот.

Поезд то и дело подолгу стоял, но всякий раз на очень отдаленных запасных путях. Леля часто припадала лицом к щели, которая приходилась поблизости от ее места, и видела мелькавшие мимо бесконечные леса, да изредка огни станций, но поезд ни разу не остановился против хоть одной из станционных построек.

Слава Богу, что среди заключенных не было уголовниц! В основном все женщины оказались приятные, вежливые; много аристократических дам, державшихся мужественно и просто. Привыкнув друг к другу, стали заводить долгие разговоры — то кто-нибудь рассказывал о своей жизни, то находились охотницы читать наизусть стихи или пересказывать особо памятные книги. Оказалось несколько артисток — они пели и очень хорошо декламировали. Леля тоже постепенно освоилась, читала «Белое покрывало» и «Для берегов отчизны дальной». Произнеся последнюю фразу стихотворения: «Но жду его; он за тобой...», она вспомнила Вячеслава... «Он за мной, мы встретимся!» — пронеслось в ее мыслях.

Было среди них и несколько старых революционерок, обвиненных

в каком-нибудь «уклоне» или прямо в «терроре». Они рассказывали о репрессиях царского времени.

— Если бы прежних революционеров осмелились вот так перегонять палками или травить собаками, как нас теперь, или хоть раз ударить, — такое событие тотчас бы переросло в грандиозный скандал с забастовками, самоубийствами и прокламациями и в тюрьме и на воле; а теперь произвол носит узаконенный характер и террор каждому замыкает уста, — сказала одна из эсерок.

— Этого бы не было, если бы был жив Владимир Ильич, — возразила старая большевичка.

Леля, которая привыкла считать Ленина самым страшным врагом, вроде людоеда из сказки, отважилась вступить в разговор и рассказала о неистовствах чекистов в Крыму. Это произвело впечатление, тем более что рассказывала девушка, совсем юная, рассказывала дрожащим голосом, явно находясь под впечатлением лично пережитого.

— Вы меня глубоко огорчили, — ответила на это старая большевичка, а другая партийка прибавила:

— Я кое-что об этом слышала, но не была уверена в достоверности слухов. Говорили, что Дмитрий Ульянов посылал товарищу Дзержинскому телеграммы с требованием прекратить расстрелы и стихийные расправы с побежденными, но Владимир Ильич оставлял за Дзержинским свободу действий. Надо все-таки учесть, что тогда шла борьба, и этой жестокости можно найти те или иные обоснования, а вот то, что делается теперь, не имеет уже никакого оправдания!

Тотчас стали защищать Ленина, сравнивая его со Сталиным. Он-де был и скромным, и благородным, и добрым, и чуть ли не воплощением мирового Добра. Леля и тут заспорила, и ее поддержали.

— Многие знаменитые изверги были в быту скромными людишками, — заметила одна дама.

Другая весьма сдержанно и с осознанием того, что говорит, высказалась, что все зверства большевиков были вовсе не вопреки, а благодаря идеям Ленина. Но спор, внезапно разгоревшись, быстро угас — все-таки оставалось опасение, что и здесь могут оказаться предательницы, способные ради улучшения своих условий доложить начальству о содержании разговоров.

Как ни мучительна была эта дорога, общение с остальными заключенными родило в Леле надежду, что и в лагере можно будет выжить, если рядом будут такие подруги по несчастью.

Наконец, прибыли в Свердловск.

До этого города добирались три недели, а при приближении долго стояли на запасных путях. После команды «выходи» двинулись пешим строем: говорили, будто бы впереди ведут мужчин, которые заполнили передние вагоны этого же поезда. Никто, однако, не мог проверить неизвестно откуда возникших слухов. После того как вошли в ворота пересыльной тюрьмы, всю партию оставили стоять за высокой стеной, делившей двор на секторы. Неожиданно совсем близко за стеной в соседнем секторе послышались мужские голоса... завязалась тотчас оживленная перекличка: называли имена, спрашивали о мужьях и женах. Вдруг один голос крикнул:

— Нет ли здесь Нелидовой Елены?

Леля едва не задохнулась от неожиданности.

— Здесь, здесь! Кто спрашивает? Кто? — но сама уже безошибочно знала — кто!

— Это я — Вячеслав. Кукушечка родненькая, так ты здесь же! Здорова ты, Аленушка?

— Вячеслав! Спасибо за сапожки, за всё! Неужели увидимся? Почему вы... за что же вас-то?!

Но ответа она не получила: послышались ругань и угрозы надзирателей. Мужчины смолкли. Около Лели мгновенно образовался кружок — сколько рук протянулись к ней!

— Кого вы встретили? Кто это? Жених? Брат? — спрашивали ее.

— Он любил меня, а я отказала! — отвечала она сквозь лившиеся слезы. Она даже не удивилась его «ты» — он показался ей совсем родным сейчас! Еще недавно хотелось счастья необычно яркого, особенного, и ни тот, ни другой, ни третий не удовлетворяли требованиям: один недостаточно интеллигентен, другой недостаточно эксцентричен, третий недостаточно изящен! А вот теперь каким блаженством показалась бы ссылка на вольное поселение с этим самым Вячеславом! Он бы оберегал ее, делил с ней все трудности, а по ночам обнимал и нашептывал, что лучше ее нет девушки на свете и что за ее локоны отдаст жизнь! И опять все мысли ее и чувства попали на знакомое острие.

В Свердловске надежды Лели на хороших подруг по несчастью рухнули — всех разбросали по разным камерам, перемешав с уголовниками и бытовиками.

На следующий день Леля впервые познакомилась с баней (на Шпалерной ее, как сидевшую в одиночке, в общую баню не допускали). Порядки советской этапной бани были весьма странные: заключенным женщинам вменялось в обязанность, стоя обнаженными, вручать свои вещи с рук на руки мужчине, дежурному по бане; несколько других мужчин ходили тут же взад и вперед в качестве надсмотрщиков. Леле, которая не привыкла обнажаться даже при посторонних женщинах, было очень нелегко подчиниться порядку, который как будто целью своей ставил добить всякую щепетильность и стыдливость.

В пути были еще несколько дней; поезд шел теперь гораздо скорее и на запасных путях не стоял вовсе. Догадывались, что попали в Сибирь. Тысячи и тысячи километров от дому... а впрочем, у нее теперь нет дома! Наконец, прозвучала команда: «Выходи с вещами! Стройся!»

Окруженные конвойными и собаками, двинулись в тайгу пешим строем по широкому тракту при позднем зимнем рассвете. Вокруг высились обледенелые ели и сугробы снега; новые сапожки очень выручали, нос прятался в оренбургский платок; шли по четыре в ряд.

С рук соседки выглянуло из-под шерстяных косынок младенческое личико, а потом вывернулась и крошечная ручка. Леля несколько раз озиралась на эти сияющие глазки и растянувшийся до ушей ротик.

— Сколько ему? — спросила она и встретила взгляд молодой женщины, кутавшейся в старый офицерский башлык, такой же, в какой, бывало, куталась сама Леля.

— Полгодика ему, а второй на обозе едет — тому уже три.

— Вы по пятьдесят восьмой? — спросила Леля.

— По какой же еще? Сестра мужа вышла за английского посла, бывала с ним у нас... Вот и вся моя вина! — горько усмехнулась женщина.— Не знаю, что с детьми будет... Уверяли меня, что определят их в ясли при лагере и будто бы позволят мне их навещать, но... боюсь подумать, что впереди...

— А может быть, и в самом деле позволят? — сказала Леля.—Вот бы нянями устроиться туда и вам и мне!

— Руки затекли,— шепнула молодая мать, перекладывая живой пакетик.

— Дайте его мне, вы устали. Он мне крестника моего напоминает.— И Леля приняла на руки этот маленький движущийся клубок. До сих пор она еще никогда не делала первой попыток к сближению и попала в струю теплой симпатии неожиданно для себя; симпатии, вызванной, может быть, только тем, что рядом женщина ее круга и ее лет.

— Агунюшка, маленький! Люли-люленьки, прилетели гуленьки! Молочка-то тебе хватает? А мой крестник вырастет без меня, и когда я вернусь (если вернусь!), я для него буду чужой, ненужной, лишней!..

Шли, шли, шли... Усталость нарастала, и всякая восприимчивость понемногу притуплялась. По-видимому, был отдан приказ дойти прежде сумерек до места назначения — остановок не делали и торопили колонну.

Ежеминутно раздавались окрики конвоя:

— Не отставай, смотри! Равняйся, не то собак спущу! Кто там сел? Подымайся! Шутить не буду — живо овчаркой затравлю!

Бросалась в глаза фигура уже пожилой художницы на костылях — она была поставлена впереди и возглавляла шествие! Молодая мать уже давно взяла обратно ребенка и, изнемогая от усталости, начала отставать, а Леля думала теперь уже только о том, чтобы самой не упасть в снег.

Внезапно один из конвойных приблизился и, не говоря ни слова, ловким ударом приклада выбил ребенка из объятий матери и отшвырнул ногой в канаву! Это не приснилось, не померещилось — это в самом деле было. Как могли они молча пойти дальше? Но они пошли после короткой сумятицы, когда на остановившийся ряд натолкнулись шедшие сзади... Угрожающие крики конвойных в одну минуту навели порядок. Снова пошли!

И это уже был сон — иначе как жить после того, что произошло?! И Леля уверяла себя, что это сон — ведь все кругом расплывается и кружится, как во сне. Значит, сон, и ребеночек той женщины на самом деле жив.

Какую кашу дадут на остановке?.. В канаве... ему холодно... маленькие ручки синеют... он не сразу умер: он замерзает... может быть, ищет губками грудь... Если и Асе придется идти так... и тоже с двумя младенцами... тогда...

Нет, это не сон. Леля отважилась, наконец, обернуться на свою соседку — та брела, спотыкаясь, с низко опущенной головой. Леля подхватила ее под руку.

— Не дойдет! — сказал кто-то из соседнего ряда.— Попросите начальника этапа посадить ее на сани. Он все время разъезжает верхом туда и обратно.

Леля взглянула на верхового, маячившего во главе колонны, и выбралась на обочину под руку с новой подругой, которая припала головой к ее плечу. Колонна растянулась версты на две и вьется по ледяной дороге; люди еле волочат ноги, кто в шинели, кто в меховой шубе, кто в тулупе, а кто так просто в одеяле. Вот послышался злобный храп и повизгивание — с ними поравнялся отряд овчарок; человек, державший вожжи, обернулся на двух женщин:

— Чего стоите? Кто вам разрешил выйти из ряда?

— Мы ждем начальника этапа,— ответила Леля.

— Стоять у дороги не положено! Какого еще тебе начальника? Пошла на место! Живо!

— Вы — командующий собачьим отрядом, а я хочу говорить с командующим этапом,— ответила Леля.

— Я те покажу командующего собачьим отрядом! Отведаешь сейчас у меня! — и наклонился спустить собаку...

Леля вскрикнула и в ужасе ринулась к своему месту. Две озлобленные морды с высунутыми языками, с оскаленными зубами уже отделились от стаи, вот они уже настигают...

Она не помнила, как попала на свое место и кто удержал собак, которые могли разорвать ее; одна пасть успела схватить ее за голень, другая задела щиколотку... Она не чувствовала даже боли и только тряслась, как в ознобе.

— Этим людям позволено все! Поступить так на глазах всего этапа может лишь тот, кто заранее уверен в полной безнаказанности,— произнес кто-то около нее. Молодой соседки уже не было рядом — положили ли ее на сани, приткнули ли в другое место или разорвали собаками, Леля не знала. Навязывалось в память что-то хорошо знакомое с детства... что-то страшное... «Хижина дяди Тома» — вот это что! Сто лет тому назад так обращались с неграми, а теперь — в двадцатом веке — с русскими! А где-то в Швейцарии Литвинов произносит трескучие речи о недопустимой жестокости в обращении с туземцами в колониальных странах... О! С неграми нельзя, но она — русская... с русскими можно!

Голова опущена, а ноги еще шагают из последних сил. Разницы между «могу» и «не могу» она теперь не знала — ей казалось, что идти она больше не может, но она шла, шла с прокусанной ногой и могла уже идти еще долго.

Шли до сумерек; уже темнело, когда, наконец, остановились в вязу лагеря и Леля впервые бросила взгляд на высокие, как стена, заборы, башни по углам и часовых на них. Горизонт замыкали леса.

Глава четырнадцатая

ДНЕВНИК ЕЛОЧКИ

9 ноября. Ася все так же подавлена и молчалива; занимает ее только предстоящее свидание с Лелей. Вчера, когда вывозили конфискованную мебель, она оставалась почти безучастна, и только когда начали передвигать рояль, схватилась за голову и глаза ее вдруг наполнились слезами. Я обняла ее и заставила отойти; при этом я сказала:

— Успокойся: у меня есть пианино — оно теперь твое.

Она на это возразила:

— Пианино — ящик, а у рояля — душа!

Она бывает иногда очень оригинальна.

10 ноября. Бывшая прислуга Нины Александровны — Аннушка — очень добрая женщина: всю эту неделю она по собственной инициативе приходит в мое отсутствие подежурить около Аси, чтобы не оставлять ее перед родами одну. После конфискации вещей полы оказались страшно затоптаны, она их натерла, а после перестирала все приданое для будущего младенца. Делает все очень быстро и ловко, только уж словоохотливая слишком — посудачить любит: об Олеге отзывается очень сердечно, но уж лучше молчала бы — я вижу, что Асе тяжело, когда это имя треплется в ненужной болтовне.

12 ноября. У Аси дочка! Уф, совершилось! И притом дней на десять—двенадцать раньше, чем мы предполагали. Сейчас звонила в справочное и узнала, что здоровье обеих особых опасений не внушает; Ася, однако, ослабела настолько, что ей сочли нужным сделать переливание крови; девочка — доношенная и во всех отношениях нормальная, только очень маленькая — всего шесть фунтов. Не удивительно! Не могу не уважать тех чувств, которые руководили Асей, когда она отказывалась от аборта, и вместе с тем досадую: ребенок этот невероятно усложняет трудность положения, а радости никому не приносит. Роды начались, когда я была на работе; ловлю себя на том, что мне было немного любопытно понаблюдать, как это происходит, хотя бы в начале. Я проектировала сама отвести Асю в Оттовскую, но эта обязанность досталась Аннушке. Славчика она взяла к себе на эти дни. Щенки Лады, к счастью, уже все пристроены.

13 ноября. Фельдшер Коноплянников... Неужели между ним и Лелей завязался роман? Леля, такая изящная, даже изысканная, с ее тонкими причудами, с ее надменностью, могла заинтересоваться этим тупоумным партийцем-простачком? С ее происхождением... впрочем, такие мезальянсы теперь в моде, и некоторые усматривают в этом даже особый шик; в советской военной верхушке каждый норовит подцепить бывшую смоляночку... И все-таки я не могу соединить в своих мыслях Нелидову и Коноплянникова. Он бестактен в высшей степени — требует, чтобы на свидание пропустили именно его! Ася колебалась, не зная, как поступить,— очевидно, она недостаточно в курсе дела. Судьба за Вячеслава — Ася попала в больницу раньше, чем предполагалось. А он не яв-

ляется ни вчера, ни сегодня. Если в течение вечера его не будет — на свидание завтра утром придется идти мне.

14 ноября. Дурак-фельдшер так и не явился — хлопотал, добивался и в последнюю минуту спасовал. К Леле иду я.

14 ноября, вечер. Ее лицо за решеткой... Это лицо перед глазами! Исхудалый овал, темные круги вокруг глаз, скорбные тени в ореоле золотых волос — с нее можно было бы писать Марию Антуанетту! Следователь Ефимов!.. Неужели он не будет обличен, опозорен, наказан? Если бы хоть один человек, вырвавшийся из его лап, мог рассказать о нем во всеуслышание!.. Следователь Ефимов — партиец, который бьет женщин и девушек и получает ордена!.. Когда-нибудь в анналах страшного здания еще отыщут его имя, увидят когда-нибудь весь огромный мир, как насаждала коммунизм советская власть!

15 ноября. Не успеваю писать: работать приходится больше положенной нормы, а со службы мчусь прямо в больницу отнести что-нибудь питательное для Аси, которая, наконец, просит есть. Оттуда — к Аннушке, проведать Славчика; ему тоже тащу лакомство или игрушку. Он всегда бежит мне прямо в объятия и спрашивает: «Пьинесла?» А вся рожица при этом сияет. Занятость моя отчасти спасительна — тоска заела бы мне сердце, а теперь нет возможности сосредоточиться на моем горе.

16 ноября. Я поражена! Сегодня в больнице я остановилась перед нашей стенгазетой, заинтересованная заголовком одной статьи — «Разоблаченный враг». Читаю, и что же? Статья посвящается Вячеславу Коноплянникову: его вычистили из партии, оказывается, а потом «крыли» на очередном заседании. Жаль, я не знала! Я сказала бы что-нибудь в защиту, а то ведь у нас как начнут клеймить человека, так каждый кому не лень обливает его, словно из ведра помойного, прочие же трусливо молчат или поддакивают, чтобы не навлечь на себя подозрений в сочувствии, или «двурушничестве», или еще в чем-либо... Насколько я могла понять, наша так называемая «общественность» ставит в вину Вячеславу: 1) заступничество за швейцара, 2) заступничество за нашего высокоуважаемого профессора-невропатолога, которого порицали за антимарксистскую идеологию. Ну, это еще более или менее понятно (хотя нетерпимость и узость руководящих кругов выступает со всей очевидностью!). Но далее идут обвинения уже совершенно возмутительные, так как они касаются частной жизни Коноплянникова, событий, происходящих вне стен нашей клиники. Ему ставится в вину, будто бы он постоянно «якшается» с классово чуждым ему элементом — попами и аристократами; далее — будто бы он активно содействовал, чтобы чьи-то дети (не понимаю, чьи!) избегли оздоровительного влияния советского детдома и разлагались в «трясине предрассудков»; вслед за этим начинаются намеки на отношения с Лелей. Привожу текст: «Характерно, что даже предметом первой юношеской привязанности товарищ Коноплянников выбирает бывшую дворяночку, которая в раннем детстве играла в кошки-мышки с сыном ни более ни менее как самого великого князя Константина Константиновича! В дальнейшем девица эта, сбавив несколько свой гонор, появилась в нашем учреждении, пробиваясь в члены союза; но, однако, наша парторганизация проявила необходимую бдительность и сумела...» — и тому подобное. Право, это уж слишком!.. Меня словно бичом хлестнули! Я тотчас побежала в санпропускник, чтобы вызвать Коноплянникова и выразить ему свое возмущение, а кстати, спросить, почему он не явился на свидание с Лелей. До сих пор я не считала возможным заговаривать с ним на подобные темы, так как у Аси я лично с ним не встречалась и о любви его к Леле узнала только от Аси, когда у нее начались с ним переговоры по поводу визита в тюрьму. Итак, прибегаю в приемный покой, а там мне заявляют, что Вячеслав от должности отставлен, и вот уже неделя, как его нет. Теперь я перед задачей: как реагировать на эту историю? Разыскивать ли Вячеслава или не касаться вовсе этого дела, поскольку меня лично с Вячеславом еще ничего не связывает? История с ним показывает, насколько опасно вращаться среди одиозных лиц. По-видимому, дружба с Олегом (тоже весьма загадочная для меня!) не прошла для него даром. Мое собственное поведение легко может быть признано еще более вызывающим. Я не боюсь быть скомпрометированной, но самой лезть, что называется, на рожон теперь, когда Ася держится только мной, было бы безумием! Да! Ради Аси я должна стать немного осторожней. Я полностью поддержу Вячеслава, если подойдет такая минута, но сама приближать ее не буду.

17 ноября. В статье есть фраза: «Товарищ Коноплянников напрасно бил себя кулаком в грудь, повторяя: «Найдите на мне хоть пятнышко!» Мы эти пятнышки нашли в достаточном количестве». Бедный юноша! Он пытался, очевидно, оправдаться! Он, кажется, всю гражданскую войну провел на фронте, почти мальчиком, и вот благодарность! «Мы не потерпим в наших рядах...» Кого вы не потерпите, ну, говорите, великолепные подлецы, кого? Юношу, который влюбился в прелестную девушку, не дав себе труда справиться прежде в анкете, каково ее «социальное происхождение»? Юношу, который позволил себе стать другом человека, обвиненного по 58-й? Юношу, который позволил себе публично заступиться за старого ученого, которого вы травили? Его вы желаете выгнать из своих рядов? Ну, выгоняйте! Еще одним благородным человеком станет среди вас меньше, только и всего!

19 ноября. Час от часу не легче! Вячеслав-то, оказывается, арестован! Вот почему он не появляется на квартире у Аси. Мне стало это известно следующим образом: сегодня я оказалась одна на квартире у Аси, куда забежала, чтобы достать из нафталина и отнести к Аннушке зимнее пальто Славчика; раздался звонок, открываю: Мика Огарев, а с ним девушка его лет — черноглазая, с умным личиком; припоминаю, что видела ее на панихиде; представил он мне ее замечательно: «Мэри». И больше ничего — ни отчества, ни фамилии, ни пояснительного слова — сестра, кузина, невеста! За спиной у обоих рюкзаки, оба в высоких сапогах. Мика заявляет: «Мы вот по какому случаю — меня высылают в Уфу, отсюда я прямо на вокзал и хотел попросить...» Тут последовали обычные просьбы высылаемых — квитанции в комиссионный магазин и прочее. Я обещала, что Ася все исполнит, а если уедет и сама, передоверит мне. Потом я спросила девушку, высылают ли также и ее. Она ответила: «Меня пока не высылают. Я еду сама: паспорта мне не дадут, и я решила уехать к маме, чтобы не быть высланной в другое место». А Мика пояснил: «У нее отец в лагере, а мать в ссылке под Оренбургом; там мы будем поблизости, а может быть, мне разрешат из окрестностей Уфы переехать под Оренбург к ее маме». «Я уверена, что разрешат!» — пылко воскликнула девушка. Вид у обоих был самый веселый, как будто они отправлялись на partie de plaisir [2]. Я спросила Мику, что он сделал с огромной библиотекой (о которой слышала от Аси); он ответил: «С книгами я не расстанусь — ни одной не продам! Сейчас стеллажи разместились в коридоре, но понемногу я их все перевезу туда, где буду находиться. Мы с Мэри все перечитаем в зимние вечера, когда в степях будет выть метель». И потом он прибавил: «Я не хотел затруднять Ксению Всеволодовну и все квитанции оформил на Вячеслава, нашего соседа, но он арестован, и мне пришлось переделывать доверенность». Подробностей Мика никаких не знал, кроме того что Вячеслав хлопотал за Лелю и будто бы дружил с Олегом... Вслед за этим мои неожиданные гости поднялись уходить. Интересная деталь — девушка сказала: «Я везу маме Святые Дары; они у меня зашиты под лифчиком. Мама очень стосковалась без Причастия, а там, где она находится, нет церкви». Мика уточнил: «Это очень ответственная миссия. Мы затем и едем вместе, чтобы я мог охранять Мэри в пути. Я не по этапу и могу

---

[2] Увеселительную прогулку (*франц.*).

довезти ее до самого места». По тому, как они переглядывались с улыбками и с какой предупредительностью Мика снимал и опять надевал на девушку рюкзак, я заключила, что они влюблены. Только влюбленные, и притом 19-летние, могут уезжать в ссылку с такими сияющими лицами. Предупредительность Мики вряд ли можно объяснить только тем, что у девушки на груди Святые Дары! Во всяком случае, все это вовсе не банально.

20 ноября. Бедный Вячеслав! Он останется перед лицом всеобщего полного равнодушия к собственной судьбе! Ни единый человек не явится к прокурору узнать, какой параграф угрожает ему, никто не принесет ему передачу... Пасую даже я! Бог видит: я поступаю так не из страха за себя — если меня теперь возьмут, погибнет последнее, что осталось от Олега: маленькая семья из двух младенцев и молодой матери, которая приспособлена к нашей действительности не больше, чем лилия к сорокаградусному морозу. Судьба этой семьи не дает мне покоя!

22 ноября. А вдруг мои записки когда-нибудь станут известны обществу и подымутся голоса, обвиняющие меня в клевете на современное мне общество и советскую власть? Ну, так пусть подымут архивы и заглянут в современные мне «личные дела» учрежденческих канцелярий, в стенгазеты с их самокритикой, в протоколы общих собраний — там найдутся такие вещи, которые страшны не менее, чем архивы гепеу, страшны не пытками и смертными приговорами, но нетерпимостью, травлями, кощунством, издевками. Пусть подымут эти великолепные архивы!

23 ноября. Сегодня привезла из больницы Асю. Теперь только бы гепеу не тронуло! Ссылка Мики показывает, что дело Олега и Нины Александровны еще не затихло.

24 ноября. Эта новорожденная девочка... О, зачем она появилась на свет! Она до такой степени заморенная и жалкая, красненькая и сморщенная... Я понимаю, что в потенции здесь и красота, и аристократизм, и талант, и ресницы... Но сейчас, сейчас... сейчас это крошечный жалкий червячок! Я никогда не видела близко новорожденных, опыта у меня никакого нет, и все-таки мне кажется, что эта девочка немного недоношенная или неполноценная: она даже не увякает, а только мяучит, как еле живой котенок, а между тем сколько сил, здоровья и денег она потребует от нас обеих, и все это притом будет в ущерб Славчику! А впрочем — что говорить об этом: теперь уж ничего не поделаешь!

25 ноября. У девочки очень неспокойный нрав: мяуканье ее почти не прекращается. Сегодня она всю ночь нам не давала спать. Даже у груди она извивается, как червячок, и разводит крошечными кулачками. Странные эти матери — у Аси к ней положительно преувеличенная нежность! Она с рук ее не спускает, баюкает, целует, а между тем дела так много, что просиживать зря над кроваткой попросту безрассудно. Удивительное существо Ася — о ней всегда приходится заботиться тем, кто ее окружает. И это не вызывает с ее стороны протеста, а между тем эгоизма в ней нет ни капли, напротив: это жертва, полная любви. Кротка она, как овечка, даже там, где это вовсе неуместно. Ее нельзя даже вообразить себе раздраженной или резкой.

26 ноября. Девочка опять кричала всю ночь. Она не берет грудь, а отмахивается от нее и бьет по ней. Ася до того худа и утомлена, под глазами у нее такие черные тени, что мне иногда страшно за нее. Если с Лели можно писать Марию Антуанетту, то с Аси — Mater Dolorosa [3]. Эти две девочки, которых я иногда сравнивала с редкими оранжерейными цветами, дали два мученических лика. Судьба их неизбежно должна была стать апофеозом счастья или трагедии. Жребий обывательниц или тружениц, конечно, ниже их.

28 ноября. Однако, что же это в самом деле? Ребенок погибнет, если так будет продолжаться! Решили снести ее в консультацию. У меня

[3] Матерь Скорбящую (*лат.*) — эпитет Богородицы в католических песнопениях.

после этих бессонных ночей мучительно болит голова, от Аси осталась одна тень.

29 ноября. Ну, вот — все объяснилось: грудь Аси пуста, несчастную крошку едва не уморили голодом. Контрольное взвешивание показало, что ребенок не высосал ни одной капли молока. Чего же удивительного? Неделю Ася не ела вовсе ничего, а потом только то, что я насильно запихивала ей в рот. Начали покупать женское молоко (при консультации). Дорого, но другого выхода нет.

30 ноября. Сегодня спешно крестим девочку. Восприемница — я. Откладывать боимся ввиду полной неизвестности самого ближайшего будущего.

1 декабря. Девочка уже спокойнее, уже лучше спит. Сегодня я перехватила грустную улыбку, с которой Ася смотрела, как Сонечка присосалась к рожку, сладко причмокивая.

2 декабря. Сегодня мы первый раз купали Сонечку: до сих пор воздерживались из-за пупочка. Когда мы ее распеленали, она очень забавно потягивалась, расправляя ручки и ножки, а в ванночке лежала спокойно, только таращила свои черничные глаза и посасывала конец простыни. Еще неделя, и она, пожалуй, станет похожа на нормального младенца.

Аннушка очень трогательна — каждый день приходит на час или два постирать пеленки.

3 декабря. Катастрофа! Ссылка! Теперь! Зимой! Для малютки это все равно что смертный приговор! Вчера вечером принесли повестку. На сборы только сутки. Что делать? К кому бежать? Кого умолять? Ехать невозможно, немыслимо, хотя бы из-за девочки, которая только что ухватилась за жизнь крошечными лапками... Была минута — я от бешенства начала швырять вещи. Ася спокойней меня на этот раз. Она пробует меня утешать, говорит: «Успокойся! Ты ведь всегда так благоразумна! Уедем — что ж делать! Видно, так суждено. Мне уже все равно сейчас, лишь бы дети были здоровы». А мне вот не все равно! Я знаю, что уезжать немыслимо, невозможно! Я не могу их отпустить одних в неизвестность, а ехать с ними... Это то, о чем я думаю день и ночь, но... Это будет уже полная материальная катастрофа.

3 декабря, вечер. Я уже вижу свой жребий! Он мне уже давно мерещится, и я предвидела, что от него мне не уйти. Напрасно я себе говорила: я уеду с ними! Абсолютно ясно, что мне ехать — безумие! Я — рабочая сила; здесь я могу заработать больше ставки: каждый оперируемый больной желает пригласить именно меня дежурить около своей постели; он уже знает мое имя от санитарок и предшествующих больных, я — популярна. А в новом месте приработка может и не найтись, притом еще неизвестно, будет ли больница в том месте, куда загонят Асю. Остаться всем без заработка слишком страшная перспектива. Семья держится только мной, и я должна остаться, как часовой на своем посту. Проклятый, проклятый жребий! Мне во сто раз легче было бы уехать с ними. Темные глазки Славчика, похожие на глаза Олега; Ася с ее неистощимым, всегда новым очарованием; эта малютка, за жизнь которой я уже столько боролась, жизнь в семье... ну, наконец, новая обстановка, новые места... А здесь? Здесь я, наверное, буду почти круглые сутки вертеться в больнице, а в награду видеть пустые стены моей комнаты! Так, но что делать! Что делать?

4 декабря, утро. Всю ночь проговорили с Асей — я остаюсь.

4 декабря, вечер. Уехали! Ася протащила незаметно под скамью Ладу — мало ей двух детей, она еще собаку берет с собой. А та словно бы поняла: притаилась под скамьей и носу не высунула. Мне удалось достать несколько банок сгущенного молока, и я велела Асе разводить кипятком для Сонечки. Впрочем, в такой обстановке ее все равно не спасти. Неизвестно еще, когда я получу известие... Прощаясь, Ася целовала мне руки... Только вспомню — и снова плачу... Сеттер сидит около меня, положив голову мне на колени.

Глава пятнадцатая

Егор Власович и Аннушка остались одни в квартире на Моховой, которая уже была заселена новыми людьми, явившимися с ордерами, и лишь стеллажи с книгами вдоль обеих стен коридора еще напоминали о прежних владельцах.

Егор Власович угасал.

— Анна, сходи к обедне, Христом Богом прошу. Выннь просфору за здоровье скорбящей рабы Божией Нины и путешествующего Михаила. Я чаю не хочу: попозднее, как от просфоры вкусим, тогда и выпьем. Иди, а я полежу покамест. Ничего мне не нужно, — почти каждое утро говорил он и, поворачиваясь, вытягивал худую шею, чтобы увидеть с постели, не коптит ли лампадка. Киот его, в который собраны были теперь иконы со всех Огаревских комнат, выглядел очень богатым и красивым, и это его радовало.

Он стал теперь болезненно раздражителен и постоянно придирался даже к жене, с которой прожил душа в душу тридцать пять лет.

— Ох, уж мне эти соседи новые! Прикрой дверь, Анна! Глаза б мои не глядели на этих девок стриженых и юбки ихние короткие. От одних голосов крикливых тошно делается. И завелась же этакая мразь в нашей квартире! — ворчал он.

— Никак ты вовсе из разума вышел, Власович? Сам-то ты барин, что ли? — возражала его мудрая половина.

— Я — крестьянин! Мои отец и дед землю пахали, российскую землю-матушку; а я — верный слуга моих господ и в баре не лезу, как эти: побросали свои дома и сохи и прут в города загребать в чужих очагах добычу. Захотелось легкого столичного житья, а того не понимают, что заселить барскую квартиру да нацепить городские тряпки — еще не довольно, чтобы стать господами. Рылом, голубчики, не вышли!

Аннушка укоризненно качала головой.

— Придумаешь тоже! Чегой-то злобный ты ноне стал, Власович. Погляди-кась на соседнюю дочку Вальку — в десятом классе девчонка! Говорит: кончу — на инженера учиться пойду! Во главе цеха встану. Чем она хуже Микиной Мерюси? Тебе бы только ругать новые порядки, а за худым и хорошее упускать нельзя... При царях простому человеку ходу не давали — чего уж говорить-то! А теперь кажинный может в люди выйти, была бы только голова на плечах.

— Тоже уж: «не давали ходу». Адмирал Макаров вот из боцманов вышел.

— Так ведь это один на десять благородных, а теперича все под одно!

— А теперича одна серость! Благородство повывели начисто. Каждáя баба норовит в дамы, а сама ходит, как корова, объевшаяся травой.

— Перемелется — мука будет, — не унималась Аннушка.

— Кака така мука? Не случись всей этой заварухи, жили бы мы и сейчас в Черемухах своим домом. Сына, поди, уж поженили бы; ты бы внучат нянчила, ну а я, само собой, — при лошадях. А дом бы у нас был — полная чаша! Ну, да на все Господня воля.

В этом вздохе заключалась вся идея, питавшая его думы и томившая ожиданьем дух. Как только жена уходила, он с усилием сползал с кровати на обрывок ковра и становился на колени.

Он перечислял живых и мертвых — мертвых было больше! — молился за убитого сына, за бывших господ, не забывая даже имен Дмитрия и Олега, молился за Родину и за Церковь, а себе просил безболезненной, непостыдной, мирной кончины. Молитва за живых тянула за собой только два или три образа — жена, Нина, Мика и Надежда Спиридоновна; последняя тоже была дорога — профиль ее вырисовывался в его памяти то на фоне маркизы на господском балконе или цветных стекол столовой, то в пятнистой тени липовой аллеи в Черемуховском саду.

— Как-то она там управляется одна в деревне? Неужто к колодцу по осенней грязи сама топает? Ручки-то у ней крохотные и подагра давно свела, небось, и ведра не вытащить... А все ж она хоть на свободе, моя Спиридоновна, а Нинушка, голубка, подневольная, каторжная! Умом мне эту мысль не охватить... Как бы не оскорбил ее кто из мужчин, не дай Господи, не обругал, не ударил... С ейным воспитанием етого и не перенесть. Вся она как георгина прекрасная — наш садовник говаривал, — а заступиться-то некому! Охрани, Господи, свое дитятко! Отпусти ей грех ее иудин. Подай голубиное крылышко моей молитве, чтобы хоть малость повеяло лаской в ее душу исстрадавшуюся...

Входила Аннушка и при виде мужа на коленях водворяла его с добродушным ворчанием обратно в постель, а после тащила пыхтевший самовар. Она и супруг предпочитали его электрическому чайнику, отданному в их распоряжение Надеждой Спиридоновной и красовавшемуся на комоде наподобие вазы или статуэтки поверх вязаной скатерти.

Иногда навещала приятельница — прачка. Егор Власович любил ее посещения, это была набожная женщина, которая взяла на себя добровольную обязанность стирать убрусы и прочую церковную утварь, а потому бывала в курсе церковных дел и сообщала их, перетолковывая на свой лад.

— А патриарх-то Тихон от сана, оказывается, не пожелал отступиться, — говорила она, наливая себе чай на блюдце. — Прочел о том бумагу правительственную, а как подписи его потребовали, так настрочил внизу: прочел, дескать, остаюсь служитель Божий, патриарх Тихон. Келейный послушник и митрополит Крутицкий сами читали.

— Помяни, Господи, от жития сего отшедшаго святейшаго патриарха Тихона и в вечных Твоих селениях со святыми упокой! — и дворник осенял себя крестным знамением.

Иногда рассказы прачки носили более пространный и таинственный характер:

— Монастырь-то, вишь, прикрыли, а брáтию — к высылке, кого куды. Двоим инокам Архангельск достался. Высадили их там из теплушек — идите, мол, куда глаза глядят; а куда идти-то? Ни единой души знакомой; за деньги и то не пускают: потому — живут тесно, а тут еще церковники, — как бы не нажить неприятностей! Гонят, отмахиваются. За большие деньги, может, и впустили бы, да откуда у ссыльного инока деньги? Промаялись день, на вокзале переночевали; следующий день топтались сызнова; вовсе измучились и к вечеру за город на шоссе вышли; думали, может, там что подыщут. Бело, пусто, ветер гуляет; смеркается уже, а приткнуться некуда — ложись да помирай. Уж и стучаться опасаются — натерпелись издевок да отказов. Вдруг из одного домика хозяйка навстречу, да в пояс кланяется: «Пожалуйте, отцы родные! Чего ж вы этак позамешкались? Уж я жду, жду, все глазыньки проглядела! Пирогов вам напекла и матрацы набила!» Глядят на нее иноки — личность хоть и благообразная, однако ж вовсе незнакомая. «С чего ж ты нас, мать, поджидаешь? Написал тебе о нас кто, што ли?» — «Никто мне не писал ничего, а только в нонешнюю ночь Владычица мне приснилась: прийми моих скитальцев, говорят. Жаль мне их, прийми! Я тебя благословлю! И еще в третий раз повторила: прийми! Входите, отцы мои, входите. Удостойте! И благословите меня, грешную!»

Аннушка вытирала слезы, а дворник крестился, но и выслушивая эти трогательные рассказы, он не мог отделаться от мысли, что ни жена, ни прачка при всем их благочестии чего-то еще не понимают из постигнутого им и упускают некий очень важный момент...

— Не уразумеваете! Не в том суть, что инокам ночлег отыскался. За веру Божию и потерпеть можно, как мученики терпели; тут, вишь ты, устремление духовное и голос Владычный вещающий — вот в чем суть! Случалось мне читать в духовных книгах, что большое рвение и чистоту духа должен воспитать в себе человек, чтобы открылись у него очи или слух на духовное. Теперича об этом не говорят — потому что запрет наложен, а ранее сколько было в народе ищущих правды Божией! И ве-

ликих молитвенников среди простых мирян. О монастырских-то и говорить нечего — ровно крепости духовные, наши обители высились. В детстве, я помню, для нас — ребят — не было большей радости, как зазвать в избу к своему тяте на ночевку странника да послушать его рассказы. Сядешь, слушаешь, а в душе ровно что нарастает. В шестнадцать лет я совсем уж было в монастырь собрался, да вот не судил Бог.

Прачка раскатисто расхохоталась.

— Аннушка, поди, помешала! Обет-то целомудрия, и впрямь, не просто дать, особливо как враг рода человеческого подмахнет тебе встречу с распригожей девушкой! Аннушка и в пятьдесят лет баба-ягодка, а в молодости, поди, и глаз не отведешь. Тут-то ты и споткнулся!

Аннушка заулыбалась, но дворник нахмурился.

— Я тебе о духовном, а ты о чем? Ох, и плоский же у вас — у баб — разум!.. Опять же и то понять надо, что в духовной жизни ни работа, ни брак человеку не помеха — было бы устремление. Случалось мне в молодые годы по вечерам лошадей отводить в поле; и бывало в эти часы таковое в поле наваждение: обдаст тебя благостью, ровно паром в бане, — стоишь, как ошалелый, и только крестишься... Думаю, посылал это мне святитель Радонежский, оттого что я всякий раз, как уйду с уздечкой, вспомню обязательно, что и он в юности так же за лошадушками хаживал и призвание на иноческую жисть в поле получил. Он мне в те дни помогал угадывать, в какую сторону лошадь ушла, — ровно собака нюхом, я лошадушек находил. Садовник наш всегда дивился.

Часто он возвращался мыслью к прегрешению Нины, которое, по-видимому, его угнетало:

— Анна, сходила бы ты к Дашковой молодой: может, там ребеночек уже народился: пеленочки, што ли, постирай. Надо помочь и грех тем Нинушкин малость загладить. Поди, грех этот на ей камнем обвис. Сдается мне, сбавил бы ей Господь тяжести, коли бы мы с тобой потрудились.

Когда же Аннушка вернулась в один день с известием о ссылке Аси, старик расстроился до слез, и Аннушка пожалела, что не догадалась скрыть.

— Да как же оно так: с двумя младенцами неведомо куды?.. Отродясь я таких дел не слыхивал. Нежная она, эта Дашкова, что твой цветочек. Вспомни ты, какое у ей личико. Лилия королевская — наш бы садовник сказал! Где ж такой королевне с нуждой и горем управиться? Сама посуди. На убой ее, значит! — горестно повторял он. Связывая эту ссылку с судьбой Олега, он, по-видимому, считал, что и она падет на совесть Нины, и это увеличивало его душевное смятение.

Ночью он томился. Он вспоминал опять Черемухи, господ и лошадей; мельтешила перед глазами знакомая тропа с крылечка людской избы к конюшне, вся в снегу тропа, в морозном синем рассвете... Сосульки понависли с низеньких крыш, снег похрустывает под ногами, и вот уже ловит его слух знакомое ржание — лошадушки зачуяли, здороваются!

— При господах лучше было. Пусть другие хватаются за эту новую жисть, за стройку эту, а мне не по сердцу. Все спешка, да шум, да суета; вахты эти да достижения... Время словно поубавилось — ни вздохнуть, ни призадуматься, ни побеседовать, как, бывало, мы с садовником... Ох, тоскливо!..

Хотелось вдохнуть чистого деревенского воздуха, а стены комнат давили. Только перед утром он забылся, а проснувшись, сказал:

— Покойников я ноне во сне видел. Не к добру это, Анна.

— Каких таких покойников, Власович?

— Барина старого Александра Спиридоновича: изволили по дорожке идти в чесунчовой своей толстовке с тросточкой; и бородка ихняя, и рука с перстнем. А еще лошадушку господскую, любимицу мою Антигону: подошла, головушкой покачала, заржала и бегом!.. Ровно за собой подманивала.

— А ну тебя, Власович! Мелешь глупости.

— Не, Анна! Лошадь — она много знает. Мы вот с Олегом Андреевичем покойным о лошадях много беседовали, понимали один другого. Прежние люди не чета нынешним; вот хоть бы Олега Андреевича взять: весь насквозь барин, а держал себя просто: и поклонится первый, и побеседует; потому — воспитание! А эта паскудная соседская Валька уже теперь зазнается: я образованная, мол, а ты — серость!

Как всегда, он отослал жену к обедне, но когда она вернулась, ей показалось в муже то, что называют «переменой».

— Чего ты, Власович? Не худо тебе? Чайку, что ли, спроворить? — спросила она.

— Нет, не надо. Ничего не надо... Слабость нашла... Дай сказать... Помолчи, Анна. Прости, коли в чем... И справь по мне службы Божии. А Нинушку, голубку, не оставь любовию... Помоги ей чем сможешь... и той — другой — помоги... Слышишь, Анна?

— Кому еще помочь-то, Власович? Не разберу, — прошептала Аннушка, наклоняясь к мужу и утираясь косынкой.

Егор Власович уже более ничего не отвечал.

Глава шестнадцатая

Вернувшись домой с ночного дежурства, Елочка открыла дверь и была приятно поражена видом живого существа, которое тотчас поспешило ей навстречу.

— Маркиз, я и забыла о тебе! Ну, пойдем погуляем, бедный мой.

Накануне вечером она была свидетельницей сцены, которая теперь не выходила из головы: на праздничном обеде у Юлии Ивановны ее зять — еще недавно вступивший в семью молодой научный работник — встал со своего места с бокалом и провозгласил тост за товарища Сталина. Все поднялись в полном безмолвии, и последней поднялась сама хозяйка дома, Юлия Ивановна, — с застывшим выражением лица, с глазами, опущенными на скатерть. Здесь, в своей семье, у себя за столом, она не посмела опротестовать тост и вынуждена была проглотить пилюлю, преподнесенную новым, младшим родственником! Молчание, с которым был принят тост, уже набрасывало тень на собравшееся общество, а о том, чтобы встретить его возражениями, не могло быть и речи!..

Обида за достоинство Юлии Ивановны, вынужденной спасовать перед собственным зятем, отвлекала Елочку от уже привычного беспокойства за Асю, но и в этой обиде была все та же, хорошо ей знакомая горечь, постоянно озлоблявшая и внутренно высушивавшая ее.

Вернувшись после прогулки с собакой, она не раздеваясь бросилась на маленький диванчик, продолжая чувствовать сильную разбитость во всем теле. Ей показалось, что она только что успела забыться, когда будильник возвестил, что пора готовить завтрак и собираться в клинику. Ее знобило, она смерила температуру — тридцать восемь и три.

Позвонив по телефону на службу, а после в квартирную помощь, она легла на тот же диванчик. Тоска одной! Некому даже чаю принести и сбегать за булкой. Ася, конечно, позаботилась бы, а теперь — некому!.. Тоска!

Через час стук в дверь опять разбудил ее. Анастасия Алексеевна приближалась неслышно, как пантера.

— Никак заболели, миленькая? Я заходила к вам на хирургию, сказали: не вышла, дала знать, что больна; я скорее сюда. Может, банки сделать, а может, компресс? А может, за лекарством сбегать или чайку согреть? Говорите: что надо? Да вы легли по-настоящему; давайте я вам кровать раскрою.

Елочка начала было возражать, но подчинилась.

Анастасия Алексеевна и в самом деле пригодилась: напоила больную чаем, открыла двери врачу, сбегала за прописанным лекарством, вывела снова сеттера и даже вызвалась на ночь остаться.

К вечеру, однако, температура у Елочки не поднялась, а напротив, несколько уменьшилась.

— Вот так всегда! Даже поболеть, чтобы передохнуть, не удается, — с досадой сказала она.

Анастасия Алексеевна запрещала ей вставать и очень охотно хозяйничала в кухне; на ужин она принесла кисель и печенье, собственноручно приготовленное. Со всеми приемами опытной сестры она перебинтовала Елочке горло и даже покормила ее с ложки.

— А я все хотела спросить вас, миленькая, — как-то заискивающе начала она, перемывая чашки, — этот бывший поручик Дашков, ведь он у вас в клинике санитаром работал, или я опять путаю?

Елочка насторожилась было, как боевой конь, но тотчас же с горечью подумала, что заметать следы уже нет надобности, и коротко отрезала:

— Работал.

— Так, стало быть, он живым оказался? Уцелел тогда от расправы?

— Стало быть.

— Наверно, вы его и пристроили санитаром?

— Ошибаетесь, Анастасия Алексеевна! Как раз не я. Фельдшер приемного покоя Коноплянников его туда устроил.

— Вот оно что! Выходит, вы сначала и не знали, что он с вами работает?

— Сначала не знала, а вот вы-то откуда все это знаете?

Елочка даже приподнялась на подушке.

— А я ведь у вас в клинике год назад на нервном лежала, забыли? Ну, а Дашков этот пришел раз к нам в палату с носилками; я его тотчас признала, даже окликнула; да только он не захотел быть узнанным, иначе назвался.

Елочка нахмурилась — ее внезапно поразила мысль: не здесь ли следует искать объяснения всему случившемуся? Много раз она задумывалась над тем, каким образом стала известна фамилия Олега.

— И вы, очевидно, рассказали это своему супругу? — спросила она с нотой брезгливости в голосе.

— Нет, Елизавета Георгиевна, как Бог свят, не рассказывала.

— Анастасия Алексеевна, вы лжете! Весной Дашков был арестован как раз по обвинению в том, что скрывается под чужим именем. О, вы, конечно, не доносили! Вы только мило поболтали с вашим супругом, и вот результат — Дашков расстрелян два месяца тому назад!

Анастасия Алексеевна выронила полотенце и села.

— Да что вы говорите? Зачем вы меня пугаете? Господи, спаси нас и помилуй!

— Говорю то, что было! — Елочка закусила дрожащие губы, но через минуту, не в силах справиться с душившим ее волнением, воскликнула: — Уйдите от меня! Уйдите — слышите?!

— Елизавета Георгиевна, голубушка моя, не оставлю я вас больную, в постели. Не волнуйтесь так, ради Христа!

— Я не больна! Завтра я встану. Да хоть бы я в тифу опять лежала, ваших забот я не хочу!

— Елизавета Георгиевна, вот перед Богом говорю: я мужу про поручика ни слова не вымолвила! Довольно уж с меня этих вытянутых лиц и неслышных шагов... Чур меня! Ей-Богу, довольно!

— Нелепость какая! — с досадой воскликнула Елочка. — Дашков не явится вас душить — можете быть спокойны! Если бы дано ему было приблизиться к земле, он бы, во всяком случае, явился не к вам. Но мертвые уходят очень далеко — между нами и ними бездна!

— Вот и разволновались. Вы бы уснули лучше, миленькая. Я сейчас затемню свет, а сама — тут, на диванчике. Не отсылайте меня, солнышко мое! Неповинна я на этот раз. В квартире у нас сейчас уже все легли. После таких-то разговоров подыматься по темной лестнице, открывать ключом дверь в темную переднюю, идти до постели... Не понять вам, каково это — озираться, нет ли кого за плечами... Я знаю, что будет день, когда глазам моим откроется кто-то очень страшный, и тут припомнится мне и выплюнутое Причастие, и другие дела... Пусть я дура в ваших глазах — я боюсь...

— У вас тяжелая истерия, поймите вы это, ведь вы медработник, — сказала Елочка, а про себя подумала: «Мне во всем не везет: заболей я на несколько дней раньше, около меня была бы Ася, а не эта недотыкомка». — Хорошо, оставайтесь. Дайте мне, пожалуйста, прополоскать горло, если уж так.

Анастасия Алексеевна посмотрела нерешительно на дверь, потом на Елочку:

— Полосканье-то у меня в кухне... Ах, батюшки мои! — Но вышла все-таки. Она боялась даже пройти по коридору.

Утром Елочка настояла, чтобы Анастасия Алексеевна шла домой, и почти вытолкала ее за дверь, уверяя, что здорова.

Через день она смогла выйти к врачу и была выписана на работу следующим днем. Выходя из поликлиники, она ощутила острый приступ тоски при мысли, что проведет одна весь предстоящий день... Мысли ее перебросились к Анастасии Алексеевне: «Я была с ней слишком резка. Она так заботливо хлопотала около меня, а я... Зайти, что ли, к ней? Тут недалеко... Пройдусь, снесу ей булки и колбасы и выпью с ней чаю. Она так всегда радуется мне!»

Еще подымаясь по лестнице, Елочка увидела, что дверь квартиры распахнута настежь. В передней стояли две соседки.

— Вот с полчаса, как увезли. Кричала, даже подралась с санитарами, ну, да тем не впервой — живо скрутили, — говорила одна другой. Обе повернулись к Елочке, когда та постучала в дверь Анастасии Алексеевны.

— Вам кого нужно? — спросили они, но в эту же минуту дверь отворилась и Елочка увидела перед собой Злобина.

— Сестра Муромцева! Войдите, пожалуйста. Знаете ли, какое несчастье? Жену только что отправили в психиатрическую.

Елочка содрогнулась:

— Как?! Что же случилось?

— Войдите, пожалуйста. Прошу вас сесть. Сейчас я расскажу вам все как было.

Елочка села на край стула не раздеваясь.

— Говорите. Я слушаю, — подчеркнуто сухо сказала она.

— Видите ли, состояние Насти ухудшалось со дня на день. Вы уже слышали, что она страдала депрессивным психозом и навязчивыми идеями, доходившими до галлюцинаций. Сначала ей белые офицеры мерещились под впечатлением репрессий, имевших место в Феодосии.

«При вашем благосклонном участии!» — едва не выпалила Елочка.

— Позднее она начала меня уверять, что ее атакует нечистая сила, — продолжал он. — Ох, намаялся я с этой женщиной!.. То она из собственной квартиры бежит, уверяя, что у нас на сундуке лиловый старик трясется, или лягушка, изволите ли видеть, под столом надувается. А то так на работе ей в ком-нибудь из больных мертвец почудится, и она при всем персонале за голову хватается, так что с работы ее отовсюду снимали. Однажды при моем товарище, враче, ворвалась в комнату — крестилась и молитву читала... Осрамила меня, можно сказать!

— Да, я все это знаю. Вы даже сочли нужным переехать от нее, — вставила Елочка.

— Совершенно верно, но — хотел бы я знать — кто бы на моем месте ужился с такой женой? Во всяком случае, я не переставал заботиться о ней. Полагаю, она вам говорила?

— Да. Я это знаю. Что ж дальше? — все с той же сухостью нажимала Елочка.

— В последнее время состояние ее резко ухудшилось. Надумала она к Причастию идти после общей исповеди, как теперь входит в обычай, Но при приближении к Чаше начались у нее нервные подергивания, и священник — мерзавец! — в Причастии ей отказал, потребовал, чтобы явилась к нему на индивидуальную исповедь. Я еще притяну к ответу этого батю! На индивидуальную исповедь она пойти побоялась, и страшно все это ее расстроило. А тут как назло еще новое неприятное впечатление: узнала она от кого-то, что расстрелян поручик Дашков. Вы его помните! Нельзя было, разумеется, сообщать ей таких вещей, да разве от «добрых знакомых» устережешь? Она поручика этого однажды видела — до сих пор не разберу, наяву или в галлюцинации, — и теперь перепугалась, что он явится сводить счеты. Упрекала меня, будто бы я с ее слов выдал поручика политуправлению и что он работал под чужой фамилией где-то санитаром. А между тем разговоров об этом поручике у меня с женой уже года два не было, и я никогда не слыхивал ни о каком санитаре под чужой фамилией. Видно, и в голове у Насти действительные факты уже перемешивались с вымышленными. Панически стала бояться темноты и умоляла меня не оставлять ее одну по вечерам. Я несколько раз заходил после работы и на ночь оставался; играл с ней в карты, заводил патефон — все это, однако, помогало только в моем присутствии. А вчера начала буйствовать. Сидели мы, видите ли, с ней вчера за картами, а тут пришел мой приятель — следователь по политчасти, мы с ним уже года два не виделись. Он хотел провести со мной вечер и рассказать о деле, которое только что вел и которое будто бы будет мне интересно. Я, однако, просил его при жене о делах не говорить и усадил за карты; вскользь он только упомянул, что удалось ему выследить махрового белогвардейца. Ну-с, играем мирно в кинга, смеемся. Вдруг жена начинает дрожать. «Кто-то из нечистых поблизости, — говорит, — вот уже серой запахло, и на диване серый комок ворочается». Покосился я на диван — никого, разумеется; однако я уже сам не свой, сейчас, думаю, выкинет свой очередной номер. А она мне: «Отчего у твоего приятеля лицо меняется: то, гляжу, он, то незнакомый кто-то войдет в его лицо и снова выйдет... вон, гляди, тень за его креслом...» Я сквозь землю готов провалиться, начинаю извиняться. Приятель мой, как человек воспитанный, отвечает: «Ничего, ничего! Бывает... С больного человека что и спрашивать!» А жена вдруг как завизжит: «Нечистый здесь! Помогите! Он нечистого к нам в гости привел! Вон руку с когтями протягивает! Караул!..» Приятель мой поднялся уходить, а я с помощью соседок удержал жену и вызвал «скорую помощь». Те приехали, но заявили, что увезут только в психиатрическую. Вот и соседи слышали. Как видите, вины моей здесь никакой нет.

Он словно хотел оправдаться. Елочка молчала, подавленная. «А вот я, пожалуй что, и виновата!» — подумала она и спросила:

— Может это пройти? Как вы полагаете?

— Полагаю — нет! Мне прошлый раз еще психиатры говорили, что эта форма заболевания очень упорная, лечению не поддается. На этом основании мне тогда уже был дан развод, и если я Настю не оставлял, то только по моей доброй воле. Я думаю, вы, Елизавета Георгиевна, согласитесь, что держать ее на свободе становилось опасно — она могла учинить что-нибудь над собой... или здесь, в квартире...

— Это верно, — и Елочка встала, чтобы уходить.

— Елизавета Георгиевна, быть может, мы с вами встретимся и проведем вечерок вместе? Может быть, в кино или в театр соберемся? Мы с вами оба теперь одиноки... Я ведь еще в крымском госпитале, бывало, на вас заглядывался, да ведь женатому не подступиться было к девушке при прежних-то понятиях... А теперь, если бы вы только захотели...

Елочка в изумлении остановилась на пороге.

— Доктор Злобин, вы уж не предложение ли мне делаете?

— Предложение.

Что-то заклокотало в груди Елочки и поднялось к ее горлу... Первое в ее жизни предложение — и от кого же!..

— Так вот что я вам отвечу, доктор Злобин: я одинока, и лучшие мои годы уже позади, но требования мои по отношению к человеку, который может стать моим мужем, от этого не снизились: я прежде всего должна очень глубоко его уважать — биография его должна быть безупречна, а ваша... Вы меня поняли! — и вышла не оборачиваясь.

Глава семнадцатая

Горе этой собаки по силе равнялось человеческому. Стоя уже несколько поодаль от Аси, она кроткими темными глазами с глубокой обидой и скорбью смотрела исподлобья на свою хозяйку, поджав хвост.

На Асе она сконцентрировала всю полноту привязанности; в тесной замкнутости ее сознания, в вынужденном безмолвии — глаза, голос и руки хозяйки были постоянным источником радости. Ладу и ночью и днем грызла тревога, как бы ей не оказаться оторванной от Аси, привязанность к которой уходила корнями к самым первым щенячьим воспоминаниям, когда крошечным шерстяным комочком она сосала палец Аси, обмотанный тряпкой, пропитанной молоком, и отогревалась в ее постели. Может быть, она считала Асю своею матерью — так или иначе, без Аси не было ни счастья, ни покоя собачьему сердцу! Вот ее хозяйка вышла... Лада не знает — куда... Если хозяйка берет с собой сеточку или корзину, значит, она скоро вернется и принесет с собой вкусные вещи, разбирая которые непременно что-нибудь сунет ей; но в этот раз она ушла без сеточки и без корзины — вернется ли, Бог весть! Лада встала с тюфячка и идет в переднюю, чтобы лечь у двери; и постоянно случалось, что она начинала радостно визжать и царапать дверь за пять-десять минут до того, как Ася входила в подъезд, и для всех оставалось загадкой, что могло послужить для собаки сигналом приближения. По утрам Лада подходила здороваться и лизнуть руку. Если Ася оказывалась еще в постели, то часто, нарочно лежа неподвижно, она подглядывала сквозь опущенные ресницы и видела совсем близко, около своего лица, собачью морду, которая пристально всматривалась в ее лицо; не обнаружив пробуждения, собака осторожно отходила, стараясь не стучать когтями.

Вечер. В квартире уже почти все легли, а молодая хозяйка задержалась со стиркой детского белья; беспокойство прогоняет у собаки сон, и всякий раз, заканчивая около двенадцати работу в кухне или в ванной, Ася видела собачью морду, которая тревожно-заботливо заглядывала к ней. Быть отделенной от хозяйки запертой дверью было всегда невыносимо для Лады — перед такой дверью она начинала подвывать совершенно особым образом, выделывая рулады на высоких нотах; Ася, смеясь, называла это «колоратурой», и Лада уже знала это слово. Если Ася запиралась в ванной, ее всегда выдавало присутствие у двери собаки. Способность к пониманию разговоров была у Лады необъяснимо развита. Несколько раз все становились в тупик перед тонкостью ее реакций. Иногда она понимала самые длинные, запутанные фразы; так, однажды мадам сказала: «Возмутительно, что собака не выпила молока — теперь оно скиснет». Лада посмотрела на мадам долгим пытливым взглядом, поднялась и, подойдя к своей мисочке, вылакала молоко. Если вечером Ася говорила: «Возьми меня завтра с собой на лыжах, Олег», Лада садилась утром около Асиных лыж, и ее нельзя было заставить отойти. В семье даже вошло в обычай прибегать к французскому в тех случаях, когда нежелательно было волновать собаку. Один раз в жизни Лада попалась на воровстве; она съела восемь котлет, оставленных в тарелке на столе. Операция была проведена мастерски: собака влезла на стул и уничтожила содержимое тарелки, не сдвинув ее с ме-

ста. Мадам, подойдя к столу, с изумлением смотрела на опустевшую тарелку, и тут глаза ее встретились с глазами Лады — собака сама выдала себя: охваченная, очевидно, угрызениями совести, она бросилась к ногам мадам и, взяв в зубы подол ее платья, сидя на хвосте, засеменила передними лапами, что у нее всегда служило выражением извинения. Никто не ударил Ладу, тем не менее она сумела сделать соответствующие выводы: больше она не крала, хоть бы мясо лежало под самым ее носом. Точно так же извинялась она, если ее щенята, расползаясь по комнатам, устраивали лужи на паркете — не менее серьезное нарушение собачьей морали! Лада понимала человеческие слезы: как только она видела Асю или Лелю плачущими, она ставила лапы им на колени и тянулась мордой к человеческому лицу.

В последнее время в жизнь Лады вошло много тревог: люди, окружающие ее хозяйку, стали исчезать один за другим; семья таяла... Это было тяжело, но пока Ася оставалась с ней, собака не теряла присутствия духа; она только еще настойчивей ходила по пятам за Асей и все с большей тревогой проводила часы ожидания.

На вокзале, при посадке на поезд, Лада тотчас угадала, что ее могут не пропустить; она сжалась в комочек, прижала уши и крадучись в одну минуту проскочила под лавку; она не подавала ни одного признака жизни, и все-таки ее обнаружили и теперь гонят эти люди с грубыми голосами; они вытащили ее за ошейник из-под лавки, выбросили ее из теплушки на рельсы и швырнули ей вслед камнем. Ее хозяйка в отчаянии хватает их за руки и плачет — ничто не помогает! Поезд уже пыхтит, сейчас он тронется, а страшные люди не пускают ее подойти к вагону и грозят палкой. Хозяйка стоит теперь на самом краю теплушки, держась руками за раздвинутые двери, и полными слез глазами смотрит на нее... Взгляды собаки и человека встречаются, и безошибочное понимание делает слова ненужными!..

«Не вини меня, что я тебя бросаю! Мне запрещают — ты видишь сама! Я все так же тебя люблю и жалею; я знаю — ты без меня пропадешь, моя бедная, дорогая, хорошая! Больше мы с тобой не увидимся!»

«Я твоя верная Лада! Спасибо тебе за твою великую человеческую любовь. Спасибо за моих непородистых щенят, которых ты пожалела и выкормила. Без тебя для меня нет жизни. Прощай. Да будешь ты сохранена!»

Поезд двинулся. Асю пытались урезонивать:

— Ну, что вы! Что вы! Как можно так расстраиваться из-за собаки! Вы уже потеряли мужа и родителей и можете так плакать о животном!

— Эта собака любит меня, как человек. Она разлуку не перенесет. Добывать себе еду она не умеет! — в отчаянии повторяла Ася.

Поезд прибавил ходу. Маленькая станция и собака на пустом перроне остались позади...

Этот лагерь играл роль распределительного пересыльного пункта. После высадки на маленькой глухой станции туда погнали лавиной весь этап, включая и тех, кто следовал на поселение, а не на лагерные работы. Постройки были все деревянные — и длинные бараки, и настилы вместо земли, и высокие заборы с башнями по углам, и дощатые уборные... ни одного деревца или кустика; помимо бараков и уродливо торчащих уборных — амбулатория и кухня; и никаких других строений. Выдавали суп и хлеб, за которыми каждый сам должен был являться со своей миской; на маленьких кирпичных печурках, выстроенных на воздухе, разрешалось кипятить воду, печь картошку и варить кашу тем, кто имел некоторый запас провизии. Всюду царила грязь; сыпали вонючий дуст, и тем не менее темные бараки кишели вшами.

Ася целыми днями неподвижно сидела в отведенном ей уголке на нарах, закутавшись в ватник и плед, с поджатыми ногами, и качала Сонечку. Всякий раз, когда надо было встать и куда-либо идти, ей приходилось делать над собой очень большое усилие; пересечь барак и дойти по деревянному настилу до ближайшей печурки представлялось ей огромной трудностью, требующей затраты энергии, которой у нее не было. Притом она уверила себя, что только пока она баюкает и обнимает ребенка, смерть не властна подойти к нему, и это суеверное, насильно навязывающееся чувство ее преследовало. Ей было страшно выпустить из рук Сонечку, страшно даже молиться за нее — как бы не вышло наоборот!

Иногда со дна ее души вырастал, как вздох, молитвенный призыв: «Пожалей! Спаси!» — поднимался и угасал. Состояние скованной неподвижности в углу на нарах с прижатым к груди ребенком было сейчас наименее мучительно, и она при первой возможности погружалась в эту скованность.

Славчик, напротив, все время находился в движении и вертелся, как волчок, заглядывая во все закоулки барака; появление его везде встречало самое ласковое приветствие.

— Славочка, поди ко мне, милый! Посмотри, что у меня есть, — подзывала ребенка худенькая женщина в пенсне — научная работница, притянутая к делу киевских академиков.

— А, вчерашний малыш! Ну, садись, садись, потолкуем, — приветствовал мальчика около печурки семидесятилетний улан Ее Величества — экс-красавец, военной выправкой несколько напоминавший Олега.

Асе постоянно случалось спрашивать у соседей:

— Вы не знаете, куда опять убежал мой малыш?

— Кажется, старик-волжанин его забрал, — отвечали ей.

— Нет, нет, он у меня — пряничек ест, — откликалась из своего угла бывшая генеральша Панова.

Молоко или кисель для Сонечки занимали умы всех женщин барака. Все банки со сгущенным или сухим молоком были предоставлены в распоряжение Аси; постоянно кто-то из дам совал деньги дежурному стрелку (как называли в лагере конвойных) с просьбой раздобыть молока для ребенка. Не имея весов, трудно было сказать, достаточно ли прибавляет в весе маленькое существо, но крошечное личико белело и округлялось.

Ася была молчалива. Несмотря на заботу, окружавшую ее со всех сторон, разговаривать с людьми и тем более рассказывать о своей судьбе казалось мукой.

Почему-то часто вспоминалось детство, а жизнь с Олегом отступила куда-то в прошлое... Светлая солнечная детская, белая кроватка, игрушки, заботливые лица, колыбельные песни, плюшевый мишка... Ей вспоминались утра в детской; просыпаясь рано и открывая глаза, она часто испытывала чувство блаженной и светлой легкости; тогда, в утренней тишине комнаты, ощущалась особенная прозрачность, на каждой вещи как будто лежал светлый покров, который в такие минуты был доступен ее восприятию — точно вдруг открывалось зрение на невидимое! Может быть, эта святость шла от белых гиацинтов, которые всегда в те годы стояли на окнах детской. Как она любила это состояние — лежит, бывало, и боится двинуться, чтобы не спугнуть его, и хочется, чтобы подольше не приходили будить. Теперь это навсегда ушло. В последний раз большую восторженную радость она ощутила после рождения Славчика.

Она слышала раз, как улан в разговоре с Пановой назвал ее сломанным цветком.

Лагерь весь деревянный.

— Вовсе землицы нет. Грачику и тому пройтись негде будет — червячка клюнуть, — говаривал дядя Ваня — старый волжанин, который сидел за то, что назвал колхозный строй пагубным.

Лагерь весь деревянный... тоска! Однажды Асе пришли на память вопли одной из жен в сказке о Синей Бороде: «Погляди с высокой баш-

ни — не крутится ли пыль в поле, не скачут ли мои братцы мне на помощь!» — «Нет, никого нет в поле! Только стадо баранов идет...»

Так и им — нет избавления, нет помощи! В груди — словно стержень из застывших слез...

Если бы мама или мадам могли себе вообразить, что их Асю и ее детей будут заедать вши и она будет чесать себе спину о грязные стены тюремного барака!.. Говорят, детство вспоминает тот, кто умрет скоро!

Около печурок постоянно толклись люди, и там возникали слухи, достоверность которых никто не мог проверить. Так, скоро пронесся слух, что в лагере получены требования с ближайших строек: прислать на работу заключенных, имеющих те или иные ценные специальности, и особенно много будто бы требовалось инженеров, слесарей и врачей. Скоро после этого заключенных спрашивали, по какой специальности может работать каждый и каков его образовательный ценз. Ася слышала, как некоторые говорили, что высылка иногда хуже лагеря, который все-таки гарантирует похлебку, кусок хлеба, крышу над головой и товарищей, в то время как в ссылке человека просто выбрасывают за борт в самых неблагоприятных условиях. Лично она была другого мнения: в предстоящей ссылке теплилась надежда попасть в деревню, поближе к лесу, и тогда у детей будет молоко и воздух, а вокруг — зеленое царство; самая жестокая нужда казалась ей лучше лагерных бараков и труда под понуканье конвойных; их шаги, голоса и фигуры внушали ей ужас.

Через несколько дней большая партия заключенных — главным образом мужчин — была отправлена из лагеря на грузовиках; на следующий день еще одна уведена пешим строем. Говорили, что двигаются в направлении железнодорожной станции. Остались самые «никчемные», как шутя выражалась генеральша Панова, — не имеющие никаких ценных специальностей.

Через день или два на рассвете прозвучал клич:

— Собирайся на отправку, складывай вещи, не канителься!

В опустевших бараках зашевелились полубольные шаркающие старухи, взятые за происхождение или чиновных мужей и переговаривавшиеся между собой на безупречном французском языке.

— Торопитесь, бабки, торопитесь! Лагерь становится сейчас на дезинфекцию! Торопитесь, белогвардейские подстилки! — скалил зубы молодой конвойный, проходя между нар. — Упаковала, что ли, своих сосунков, красотка? Молока опять? Да я бы, может, и принес, но уж очень ты несговорчива — занятого человека битый час у ворот зря торчать заставила. Поклонись теперь Федьке — он подобрей меня.

Ася с пылающими щеками молча пеленала Сонечку.

— Не волнуйтесь, деточка! Чего и ждать от такого хама. Лучше не отвечайте вовсе, — шепнула Панова, натягивая рейтузы на Славчика. — Доедем и без молока — везут недалеко. Игнатий Николаевич сам слышал, как шофер говорил, что запасного бензина ему не потребуется.

Высадили часа через два в небольшом городке.

Когда партия стояла около грузовиков на дворе перед длинным зданием местного гепеу, один из начальников, с нашивками, в папахе, вышел из здания на крыльцо и провозгласил:

— Ага! «Соэ»! Сколько тут этих «соэ»?

Произвели поименную перекличку, сдали и приняли под расписку, — и грузовик с несколькими гепеушниками на нем запыхтел и повернул обратно.

— Товарищ начальник, разрешите задать вам один вопрос, — обратился тогда к человеку в папахе старый улан. — Что такое «соэ»?

Ответ был очень глубокомыслен и вразумителен:

— «Социально опасный элемент». Как же вы, гражданин, не знаете, что собой представляете?

— Никто не оповестил меня о перемене моего звания: в Соловках меня относили к «роэ», и это означало: «рота отрицательного элемента», — ответил улан.

— Молчать! — крикнул человек в папахе, уловив насмешку в звуке этого спокойного голоса.

Мужчин отделили и увели в здание, а женщин после повторной переклички объявили свободными — с обязательством являться на перерегистрацию два раза в месяц. Ворота открылись, и женская часть «соэ» оказалась посередине улицы под медленно падающими со свинцового неба снежинками. Вещи великодушно разрешили оставить на пару суток в гепеу. Предполагалось, что за эти сутки ссыльные подыщут себе помещение.

— Mais que donc faire? Oh, mon Dieu! [4] — пролепетала бывшая смолянка, уже седая, прозванная между ссыльными Государыней за то, что она каждые пять минут углублялась в воспоминания, неизменно начинавшиеся словами: «Когда покойная Государыня Императрица приезжала к нам в институт...» Речь свою Государыня постоянно пересыпала французскими фразами, и это, в соединении с валенками и деревенским платком, производило весьма странное впечатление.

— Ничего, ничего! Никогда не надо отчаиваться! Хуже, чем было, не будет, — бормотала в ответ оптимистка Панова, считавшая своей обязанностью поддерживать бодрость в маленьком отряде, как это делал когда-то ее муж в своем.

— Гражданочка, а гражданочка! — закудахтала в эту минуту крошечная старушка из местных жительниц, которая остановилась с двумя ведрами на коромысле против ворот гепеу, созерцая торжественный выход «соэ». — Ты, что ли, гражданочка, крестьян мутишь? Видать, из господ, а мне сын-партиец сказывал, что бывшие господа на саботаж, мол, сегодня подбивают и отравляют наши колодцы...

— Я, я, как же! Во всех бедствиях виновата я, — ответила Панова, с трудом волоча больные распухшие ноги. — Софья Олеговна, агу! Самое страшное уже позади, — и, подхватив под живот худую, как скелет, кошку, перебежавшую ей дорогу, немедленно присоединила ее к «соэ».

Все пространство вокруг наполнилось медленно падающим снежным пухом.

---

[4] Но что же делать? О, Боже мой! (*франц.*).

Окончание следует

ПОЭЗИЯ

АЛЕКСАНДР МАКАРОВ



ВО ТЬМЕ ШАГИ...

Предубежденье

Я снова пью словесную отраву
из голубой глубокой буквы Ю. —
за коммунизм, за партию, за славу
народа победителя я пью.

Сквозь темные нахмуренные шторы
не проскользнет ненужный сердцу луч;
я пью душой густой тяжелый шорох
дырявых крон и обветшалых туч.

Уставясь в точку, ухожу я в точку,
и скоро стану точкой бытия;
мне отвечать придется в одиночку
судьбе за дни безумного питья.
Зачем же пью отравленное зелье,
ладонями взяв голову в тиски?

Вослед пространству — времени
веселья —
грядет пространство — времени
тоски.

Я нахожусь в плену у вечной темы,
блуждаю в слове с окончаньем «изм»;
рождаются в углах от света тени
былых времен, деревьев, свадеб, тризн.

Храню слова, в которые не верю,
храню в мечте — их в жизни нет нигде.
Во тьме шаги рождаются за́ дверью,
к молчанью? к песне? к радости?
к беде?..

+++

После тьмы

Во мраке услышал я музыку, где
теряются дни и рождается зло,
а лодка рыбачья вверх днищем в воде
лежит и гниет, ее время прошло.

Рыбак одноногий, опившись вина,
утоп, утолив и печаль, и вину;
волною к волне волновалась волна,
волну высекая волной о волну,

Шли в разные стороны тени воды,
и каждая тень самобытной была,
тень радости, тень от веселой беды,
и тень, потерявшая тень от весла.

Родник изначально прозрачен и чист,
душа изначально светла и чиста,
так дышит невидимым отсветом лист,
а память хранит имена и места.

Чтоб жить и дышать после тьмы
на свету,
со мной поделись мракотенью своей.
Во мраке услышал я музыку — ту,
которую вынес из мрака Орфей.

Предвестие

На шерстяной клубок дорогу намотали,
но не связали Путь — не доставало спиц;
ты в сутолоке звезд услышал бормотанье
деревьев, тьмы, земли, людей, зверей и птиц.

Свет расточен во тьме; размыты жизни формы;
разрушен Божий храм, построен скотный двор;
из мглы вечеровой с мешками комбикорма
спешит за тенью тень, идет за вором вор.

Унять бы эту дрожь, не слышать и не видеть, —
учила жизнь, кем быть, не научив, как быть;
по времени — пора молчать и ненавидеть,
а по душе — кричать и начинать любить.

Из всех движений чувств ты выбираешь радость
(зачем же, как овцу, ее загнали в хлев?),
нет жизни у тебя, желанье жить осталось,
желание изжить
сомненье, страх и гнев.

Сжилась душа с огнем, с деревьями кривыми;
клочками облаков заткнуты дыры крыш;
нет жизни у тебя, но сохранилось имя —
предвестие всего, что в жизни совершишь.

* * *

Женщина из головы не выходит, назвавшая счастьем
смерть, что является мудрой и неотъемлемой частью
жизни, — о светлая смерть, о беспросветная жизнь!..
Сердце трепещет у входа в новое время и место;
падает столб телеграфный и падает кочет с нашеста,
солнце, упасть не спеши, в небе подольше кружись.

Что там за счастье, скажи, я сквозь слезы не вижу убранства
женщины, горем ее, словно морем, залито пространство;
ровно гудит у виска время (а может, пчела);
не повенчает поэт розу белую с черною жабой,
место свободно в пределах земли, где, не ведая жалоб,
смотрим всечасно во тьму, свет вытирая с чела.

* * *

Я устал от политики (хватит, не надо),
от астральных пророчеств безумных
людей;
разбухает сознанье, вмещая громады
копошащихся тел городских площадей.

Я там был, шел вперед без упрека
и страха,
затянул революции водоворот;
трепетала душа в слове пепельном
«плаха»,
но плясала судьба в слове красном
«народ».

Заглянуть за предел горизонта не смея,
я боялся на крик оглянуться назад;
твоих улиц хвостатогремучие змеи
осушили мой разум и выпили взгляд.

Догорит белым пламенем черная сажа,
замолчат языки рокового огня;
где-то есть многолетняя вешняя пажа,
запах места и память грядущего дня.

На берегу Леты

Забудешь, кем ты был, не вспомнишь,
кто ты есть,
испив ее воды — реки забвенья Леты;
на этом берегу живут одни поэты;
здесь подает им весть
пленительная десть.

Ты забывал про жизнь, ты забывал
про смерть,
погас и охладел в земной текучей лаве;
ты на вершине был, теперь лежишь
в канаве;
прости меня за то, что не могу
смотреть.

Желанья нет и сил, и времени — увы,
внимательнее быть, иа соучастье скорым;
Господь тебя взрастил, но он и вырвет
с корнем;
мне-тоже не сносить горячей головы.

Ну а пока душа не чувствует оков.
На этом берегу под взглядом Люцифера
амбросия растет (по-моему, люцериа)
и льется молоко из солнечных сосцов.

+++

* * *

В этой избе не живет никто, да и в следующей тоже;
старец уйдет, молодым не возвратится назад;
кто-то готов обвинить воспитание и бездорожье,
может быть... только скажу: сам я во всем виноват.

Не приучал сыновей на колеиях стоять между грядок,
чаду твердил: подрастешь — не оставайся в селе,
иечего делать, сынок, на побитой дождями и градом
(здесь я себя изорвал) доброй, но горькой земле.

Знаешь, с зари до зари — всё работа, работа, работа,
вырастишь свой урожай, а уберешь ли, как знать.
А уберешь — не уверен, сумеешь сберечь... и забота
сельского жителя в гроб может до срока вогнать.

Я виноват, что никто не останется дело продолжить,
новые двери связать, грядку вскопать под морковь,
шепот листвы понимать и все знать досконально про дождик,
чтобы, посеяв печаль, вырастить в жизни любовь.

В свой срок...

Не суетись, а делай свое дело,
иди к земле своей, склонись над ней;
земля в свой срок твое накроет тело
неслышным шумом листьев и корней.
В свой срок собой в земле заполним
ниши;
земле друг друга слушающих рук
любой из нас, кто громче, а кто тише,
прибавит свой неповторимый звук.

О человек, субстрат и удобренье
(а если так — причин для смертн нет),
питай членистоногих и коренья,
пытай телесной тьмой духовный свет.

О, если так → ты жив на крыльях
птицы,
твой дух и атом в доме муравья;
всё лучше, чем уйти и превратиться
в безмерный узел черного тряпья.

Того, кто не взвалил на сердце бремя
любви и не был в дальнего влюблен,
пусть вычеркнет внимательиое время
из всех эпох, скрижалей и времеи.
Не суетись, а делай свое дело,
останется земля, склонись иад ней;
земля в свой срок отделит дух от тела,
она отделит зерна от корней.





МИХАИЛ ПОПОВ



РАССКАЗЫ О ЛЮДЯХ

ГРЯДУЩИЙ ХЭМ

«Человек один не может ничего!»
Э. Хемингуэй.

— Просыпаюсь, понимаешь, и обнаруживаю себя лежащим в такой вот овальной, что ли, комнате. Ни окон, ни дверей, и все белое. Удивиться или испугаться не успел, ибо услышал голос:

— Дорогой Семен Семенович, сразу сообщаем вам самое главное. Мужайтесь, но ваша планета погибла. Вы единственный, кого удалось целиком спасти. Мы — мощная и древняя цивилизация — полагаем своим долгом восстановление вашего, хоть и весьма беспутного, неповторимого мира. Мощности наши столь велики, что мы имеем возможность сделать это просто с ваших слов.

Хорошенькое дельце, думаю.

— Вы что,— спрашиваю,— инопланетяне?

— Ну, разумеется,— отвечает мие голос.

— А чего же вы ие покажетесь, а?

— Уж больно мы безобразные, на ваш взгляд.

Ну что же делать, подумал я, надо восстанавливать наш общий альма матер.

— Давайте,— говорю,— начинать, что ли, время не ждет.

— Все, что касается физики, математики, химии и даже биологии,— говорят,— вы можете не напрягаться, это нам известно преотлично, а интересует нас, так сказать, неповторимое: психология, искусство, культура.

Ладно, думаю, мне же меньше работы.

Семен Семенович отхлебнул пивка. Его собеседник кивал, разделывая воблу.

— Начнем, думаю, с литературы. Мне всегда литература в школе дава-

ПОПОВ Михаил родился в 1957 году, окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Автор двух сборников стихотворений и четырех книг прозы. Член Союза писателей. Живет в Москве.

лась. Кое-что, надеюсь, застряло в башке. Прочитал я им полностью, или близко к тексту, «Квартет», «Лебедь, рак и щука», «Волк и ягненок». Молчат, впитывают. Перехожу к жанрам более, так сказать, солидным. Выдал им монолог «Карету мне, карету!» и «Я помню чудное мгновенье» — в отрывках. «Евгений Онегин» пошел уже в общих чертах, я слыхал, что кто-то его знал наизусть, но тут уж что поделаешь — спасли-то меня. «Войну и мир» решил на потом оставить — и объем тут ничего себе, да и больно много кровопролития, что про нас, про людей, эти каракатицы подумают? Чтобы не замыкаться в своей национальной квартире, выдал им «Дон Кихота», как мог, естественно, но, думаю, суть они схватили. С современной литературой и того хуже, ну «Песня о Соколе и Буревестнике», это еще куда ни шло, а вот Маршак, любимец детворы, у него же все переводы. Решил проконсультироваться, читать ли, спрашиваю, переводы?

— Да,— говорят,— но только если можете воспроизвести язык оригинала.

Ну, ничего я им воспроизводить не стал и решил перейти к музыке. Я ее просто люблю, притом сам пою. Решил, не буду себя экономить: выложусь на музыке. Выдал им все самое лучшее: и «Танец маленьких лебедей», и «Танец с саблями», и «Тореадор, смелее в бой!». Потом народные песни: «Ой да не вечер, да не вечер», «Очи черные» и «Сулико» для межнациональности. Под конец пошли у меня частушки и Юрий Антонов — то, что поет наш народ теперь.

— Ну как,— спрашиваю, хватит музыки?

— Да, пожалуй, хватит,— говорят.

Пришлось переходить к живописи. Образовалась у меня в руках тетрадь такая, и такая ручка. Как я рисую, тебе известно.

Приятель Семен Семеныча кивнул и отхлебнул пивка.

— Решил, буду набрасывать самые общие контуры. «Мона Лиза Джоконда», медведи работы Шишкина — тоже важно, родная как-никак природа. «Гибель Помпеи» — как я стал вазюкать, молнии и разрушения густо бросать на холст, они, эти, древняя цивилизация, говорят, хватит, хватит, мы это в натуре видели, это слишком тяготит нашу мудрую душу.

Ну, я не изверг — прекратил и перешел сразу к танцам. Матросский, гопака и дружественную нам молдаванеску я сам сплясал, ну и вприсядку по-нашему, само собой. Танго — не стал. Не стал и все. Что-то в нем есть такое, понимаешь... Ради объективности признался этим древним, что имеются еще современные и негритянские танцы.

— Теперь что,— спрашиваю,— психология? Про нашу душу хотите разузнать? А скажу я вам, что это самый загадочный предмет и есть. Расскажу-ка я вам лучше про подсознание, что знаю.

Рассказал, они, по-моему, дар речи потеряли, а потом признались, мол, нигде ничего подобного не видели.

— Тогда что, тогда будем сворачиваться, да?

У них там настало затишье, минуту молчат, две молчат, пять молчат, потом открывается сбоку и появляется без всякого предупреждения этакая ракалия, похожая на осьминога, но дыбом. И квакает мне:

— Нет, все-таки человек один не может ничего, — и повторяет еще раз: — Нет, все-таки человек один не может ничего.

— Да, Семен,— сказал потрясенный приятель и рассеянно отхлебнул пивка.

— А ты знаешь, что меня сейчас мучает больше всего,— обратился к нему Семен Семеныч, хмуря лоб.

— Что?

— Не выяснил я, будут они этот мир по моему эскизу создавать или нет. Сикось-накось может получиться картина, а?

— Да брось, Семен. Считаю, что это все галлюцинация. Алкоголь, нервы.

— Гадкий сон,— вздохнул Семен Семенович,— если бы ты знал, какой камень на душе!

— Дурак, — вдруг вспылил приятель, — если бы не этот сон, никого бы не было: ни тебя, ни меня, ни их, — он махнул рукой в сторону завсегдатаев пивной. — Ничего, даже этого стола не было бы, — он постучал по нему ладонью.

— Тоже мне доказательство,— вздохнул Семен Семенович.

РАЯ И АДА

Раиса Сосновская, бухгалтер из райпотребсоюза, г. Краматорск. Платьице в горошек, белые носочки на худеньких ножках. Никак не может поверить, что она в Ялте. Круглое личико, при улыбке неприятно обнажается верхняя десна. Полностью находится под влиянием подруги. Глаза широко открыты.

Леокадия Рыбец (можно просто Ада), крановщица, черты лица и все члены очень крупные, квадратные. Уже успела поругаться из-за сковородки с хозяйкой, у которой сняла комнату. Джинсы на нее еле-еле налезли. Курит, презрительно щурясь в сторону сдержанно шумящего моря.

— Здравствуйте, девушки! — говорит приятный мужской баритон у них за спиной. Девушки осторожно оборачиваются. Они никого не ждали. Перед ними двое рослых загорелых красавцев. Один в белом костюме и черной сорочке, второй в голубом костюме и сорочка у него темно-синяя. Оба приятно, ничуть не нагло, улыбаются.

— Вольдемар,— представился первый.

— Феликс,— представился второй.

Рая рефлекторно вцепилась в предплечье подруги, ее сознание парализовано этим видением. Более устойчивая Ада забычковала сигарету о парапет, готовая отбрить красавчиков.

— Чего вам нужно?

— Мы хотели,— улыбнулся Вольдемар, обнажая великолепные зубы,— пригласить вас позавтракать.— Феликс тоже улыбнулся, и зубы у него тоже были хороши.

— С чего это вдруг? — мрачно хмыкнула Ада.

— Вы нам понравились,— просто и открыто сказал Феликс.

— Как же, как же,— ядовито осклабилась крановщица, давая понять, что не на таких вы, парни, напали.

Красавцы помрачнели, в них появилась какая-то неуверенность.

— Извините, мы не думали, что вы уже ангажированы,— еще мгновение, и они откланяются. Рая впилась востренькими пальцами в трицепс подруги.

— Жаль,— вздохнул Вольдемар,— это было бы необременительно, у нас машина. — И он кивнул в сторону переливающегося всеми автомобильными достоинствами БМВ, замершего неподалеку.

— А, ну раз так,— сказала Ада,— тогда другое дело.

Уже через пять минут все сидели за столиком чистенького, почти пустого кафе. На столе имелась лососина, ветчина, крабы, в фужерах пенилось шампанское. В вазе цвели фрукты. Феликс очень смешно шутил. После второй бутылки лед недоверия растаял окончательно в пролетарской душе Ады.

— А что же вы,— прожевывая бутерброд с ветчиной, спросила Рая,— не едите?

— Мы на диете,— откликнулся Вольдемар и поднял фужер с шампанским.

— Ишь ты! Хотите здоровенькими помереть?

После завтрака решено было поехать «в одно прелестное местечко» неподалеку от города. Там, оказывается, уже замаринована кастрюля отличного шашлыка и охлаждается в горном ручье канистра с вином. Ада снова насторожилась, но уже не сильно и не надолго. Решено было — ехать.

Когда приехали, молодые люди пошли собирать топливо для костра, а Раиса начала трясти подругу за руку:

— Ада, скажи, зачем мы им?

Подруга угрюмо курила.

— Не боись, малышка.

— Ой, боюсь, — грубовато хохотнула подруга.

Разожгли костер, приготовили великолепный шашлык, пили вино и баночное пиво. Потом купались. Во время этого развлечения Феликс и Вольдемар вели себя очень пристойно и не пробовали перейти границ приличия.

Закончить вечер решили в «Жемчужине Крыма». Швейцары у входа в это фешенебельное заведение вытянулись в струнку при появлении молодых людей, а их веселых подруг окружили самым угодливым вниманием. Накрытый

столик уже дожидался. Шампанское, коньяк. Икра, заливная осетрина и тому подобное. Какая-то дичь. Еще форель.

Застолье пошло сразу очень весело и славно. После двух-трех рюмок Феликс заказал оркестрантам приятную спокойную мелодию, и кавалеры пригласили дам. Феликс — Раю, а Вольдемар — Аду. Молодые люди танцевали великолепно. Ада почувствовала себя в этом танце такой гибкой, такой воздушной, хотя танцевать вообще-то и не любила, и не умела. Когда крепкая, но деликатная ладонь Феликса легла Раисе на талию, Рая показалась себе томной, сексапильной одалиской, в глазах у нее все поплыло. Такой танец бывает один раз в жизни.

Меж столами бродил цветочник. Вольдемар позвал его и подарил каждой из прелестных танцовщиц по огромному букету алых роз. Свежих, влажных, волшебных.

— А теперь,— сказал Феликс,— мы все поднимемся на минуточку наверх, для вручения подарков.

Ни о каких возражениях не могло быть и речи. Пряча лицо в розах, почти рыдая от счастья, Рая вошла в кабину лифта, за нею следовала, слегка покачиваясь, с горящими тяжелым огнем глазами Ада.

Феликс жил в 401-м, Вольдемар — напротив, в 403-м. Игриво и понимающе улыбнувшись друг другу, девушки последовали вслед за кавалерами.

Приблизительно через полчаса из своего номера вышел Вольдемар и неторопливо спустился вниз. Там он закурил, поглядывая на часы. Минут через десять к нему присоединился Феликс, он был немного возбужден.

— Вытри рот,— нервно сказал ему Вольдемар,— и на пиджаке у тебя пятна,— он наклонился и понюхал: — Кровь! Ты что, опять набросился не раздеваясь.

Феликс поскреб ногтем отворот пиджака и несколько раз сыто цыкнул зубом.

— Ну, что ты у нас любишь сонные-сонные артерии.

После этого вампиры сели в БМВ и укатили в неизвестном направлении.

СВИДАНИЕ

Я утром должен быть уверен,
что с вами днем увижусь я.

А. С. Пушкин.

Игорь Алексеевич с трудом разлепил веки и посмотрел в окно — мгла, метель. Подтащил к себе телефон и торопливым, сбивающимся пальцем набрал номер. На лице его изобразились ожидание и волнение. Наконец на том конце провода сняли трубку. Выслушав, Игорь Алексеевич вакричал:

— Ну слава Богу, ну наконец-то! Я буду готов к двум, как всегда. Договорились? Ну и чудесно!

Соскочив с кровати и напевая на какой-то среднеоперный мотив «договорились, договорились», Игорь Алексеевич полетел в ванную, где шумно умылся и плотоядно почистил зубы. Достал из гардероба свежую рубашку, свежее полотенце и нижнее белье, загрузил все это в саквояж и выбежал из подъезда, на ходу натягивая дубленку. Машина его уже ждала. Водитель, хорошо изучивший круг интересов шефа, коротко спросил:

— В бассейн?

— Да, Толик, жми!

Наплававшись, насидевшись в сауне, Игорь Алексеевич предался в руки массажиста. Массажист знал тело Игоря Алексеевича лучше, чем свое, дружески поприветствовал старинного клиента и наложил на него руки. Когда, истомленный приятной процедурой, Игорь Алексеевич отдыхал в кресле, расслабившись, полуприкрыв веки, его ногами занялась педикюрша Ниночка. Она преклонялась перед ним в прямом и переносном смысле.

— Игорь Алексеевич,— шептала она, поглядывая снизу вверх,— скажите что-нибудь умное.

Расслабленный клиент слегка улыбнулся и, поглаживая правый бок, сказал:

— Знаешь, Ниночка, что такое болезнь? Это когда один орган умирает быстрее, чем все остальное тело.

Ниночка уважительно закивала.

В кресле парикмахера, куда Игорь Алексеевич попал минут через двадцать, он уже не выглядел слишком расслабленным. Взгляд посвежел, внутри как бы медленно взводилась некая пружина, он выглядел куда моложе себя утреннего. Как будто бритва парикмахера соскоблила не только щетину со щек, но и усталость с души.

Когда же он сел в машину перед последним рывком, то напоминал собою медленный взрыв. По губам блуждала влюбленная улыбка, губы шептали ласковые прозвища.

Поворот, поворот, вот они, заветные двери. Швейцар издали узнал его и почтительно отворил тяжелую створку, выпуская на улицу клуб пара.

— Милости просим, Игорь Алексеевич!

Посетитель небрежно бросил на руки гардеробщика свою дубленку, отдал портфель и стремительно взлетел по ковровым ступеням к огромному зеркалу. Он понравился себе — моложав, упитан, костюм сидит как влитой, запонки сияют. Мгновенно рядом оказался мэтр.

— Ну?! — Игорю Алексеевичу почти уже не удавалось скрывать нетерпеливое волнение.

— Все как всегда, я позаботился лично, и кабинет тот же самый.

— Ну что ж, пошли.

Они пересекли полупустой зал ресторана. Мэтр замер у двери кабинета, пропуская гостя вперед, оставляя его один на один с предметом страсти. Игорь Алексеевич уже задыхался, ноги стали ватными, слушались плохо. Одним взглядом он охватил всю картину. Великолепно сервированный стол на одного — рыба, икра и все, что положено. А посередине, невинно отсвечивая холодным стеклом, она. Он взял ее за нежное горлышко, поднес к губам и осторожно поцеловал в угол этикетки:

— Вот и снова мы вместе, любимая!

«Я ЗНАЮ СИЛУ СЛОВ...»

Знакомство с этим человеком перевернуло мою жизнь. Узнал я о его существовании случайно. Однажды в малознакомой компании при мне рассказали историю о чудаке, влюбленном в числа. Посмеявшись вместе со всеми, я поинтересовался зачем-то, где обитает этот оригинальный безумец. Оказалось, живет он в глухомани, в лесу, работает, кажется, лесником и на лоне природы предается своей странности. Причем, как оказывается, ради этого образа жизни он расстался с московской квартирой, своею семьей и довольно престижной работой.

Для чего-то я записал точные координаты этого чудака. Странно, но наутро я встал с мыслью об этом человеке, интерес мой все сгущался, очаровательная ненормальность этой истории меня волновала. Склад моей профессии (я журналист) позволяет мне потворствовать неожиданным влечениям, и вскорости я отправился на розыски любителя цифр.

Жил он действительно в глухомани. После поезда была попутка, потом версты три пешком.

Дом в три окошка, куст сирени, куст жасмина во дворе, огородишко, далее лес. Более того — бор. Встретила меня собака. Лаем. Своевременно образовался и сам. Облик мне его понравился сразу. Одет просто, но чисто, сапоги, косоворотка, затаенная улыбка мудреца в глазах. Единственное, что напоминало о прежней жизни, — дорогая трубка. Он был мне, кажется, рад. Я объяснился и попытался сформулировать свой интерес. Вышло сбивчиво. Арнольд Иванович (так его звали) пригласил меня войти в дом. Более того, предложил переночевать. Время стояло уж позднее, приглашение можно было принять без смуще-

ния. Сели мы с ним пить чай с вареньем. Да. На столе настоящий самовар. Хозяин чаек потягивает, на меня посматривает лукаво так, по-хорошему. Я не удержался и спрашиваю, как же это у него совмещается столь русский дух во всем с таким абстрактным предметом, как число. Арнольд Иваныч трубку вытащил изо рта и даже крякнул, вроде как от азарта какого.

— У меня часто,— говорит,— гости бывают, особенно последнее время, так вот вопрос такой обязательно зададут.

Я покраснел, плохо начинать с банальности разговор с оригинальным человеком. Но он меня успокаивает, ничего, мол, давай, мол, к делу. А какое у меня дело? Сам ведь не знаю. Духовную жажду ощущаю, истины алкаю, а чтобы так вот сразу, вынь да положь, это уж простите.

Улыбнулся Арнольд Иваныч затаенной улыбкой, погладил бороду, отхлебнул чайку с блюдца и повел рассказ. Начал несколько издалека. Мол, жил он раньше, как и все городские, жизнью суетной, нервной, для души истребительной. Зарабатывал деньги да тут же изводил их на водку и баб. На разврат, одним словом. Жил во лжи по веки глазны, жене не муж, детям не отец. И не было бы этому конца, когда бы не один случай. Как-то раз, поздним утром, с сильного похмелья ехал Арнольд Иваныч в таксомоторе, будучи обуреваем мучениями, и телесными и нравственными. Собирался попить пивка для начала и вдруг, вязко озираясь, обратил внимание на номер маячившего перед машиной автобуса. 71-96. Что-то поразило воображение Арнольда Иваныча, как вспышка света в сознании произошла, вспышка истины. Он понял ту безусловную гармонию, что звенела в этом числе, четырехгранную взаимосвязанность и гармоничную же зависимость от десятиричного контекста и многое другое. Я не в силах воспроизвести этот миг в действительных словах, Арнольд Иваныч говорил и образнее, и научнее как-то. 71-96: семерка больше единицы ровно на шесть, если единицу отнять от десяти, то будет девятка, и если к последней шестерке прибавить общее количество цифр, входящих в число, то получится десять, главная мера нашего числового порядка...

Скоро, скоро будут опубликованы многочисленные труды Арнольда Иваныча, и настоящие его дигесты заменят мои аляповатые формулировки. Мне бы только дать хоть самое общее понятие о сути.

Дальнейшая история величайшего ученого может поразить воображение любого, самого черствого человека. Сначала его увлечение радовало домашних, ибо теперь он беспрерывно сидел дома и проверял действие своего метода на бесчисленных, совсем простых или специально заковыристых четырехзначных числах. Он прекрасно помнил день, когда к нему явилась мысль о том, что можно использовать числа не только четырехзначные, но и сколь угодно другие. Нет никаких пределов для творческой свободы... Сначала он проверил, как поведут себя под воздействием слов семизначные телефонные номера, они повели себя прекрасно, не обнаружилось ни одного примера, выпадающего из общей картины. Описывая словами числа, Арнольд Иваныч создавал настоящие поэмы. Это была захватывающая работа, забирающая человека целиком. Приходится повторять банальности, свойственные всем биографиям крупных ученых, — наш герой почти не спал, забывал вовремя поесть, оставил все другие занятия. Жена поняла, что теряет мужа. «Уж лучше бы ты пил!» — в сердцах воскликнула она. Но он уже не мог обращать внимание на такую мелочь, как отношение домашних. Развод настиг его в тот момент, когда он принялся за титанический труд — описание числа с двадцатью шестью знаками после запятой. Произведение заняло два тома и около полугода и приобрело окончательный вид уже здесь, на лоне природы. За прошедшее с тех пор время (годы и годы) Арнольд Иваныч осуществил еще несколько грандиозных проектов. Он одолел, например, последовательность из сорока четырех абсолютно случайных цифр. Он никогда, прошу заметить, никогда не жалел о выбранном поприще. Любопытно, что здоровье Арнольда Иваныча за время его подвижнической деятельности весьма укрепилось, он избавился от всех вредных привычек, трубка его оказалась чистой декорацией. Табак Арнольд Иваныч считал особенно вредным для мозговой деятельности. Душевное равновесие он обрел полное, непочатый край интереснейшей работы являлся тому залогом. Тем более что только человек недалекий может счесть его жизнь и деятельность монотонной, она полна своеобразных приключений. Вот недавно Арнольд Иваныч сделал колоссальное открытие: понял, что борьба с большими, многосложными числовыми массивами вещь хоть и важная, но не важнейшая. Есть задачи и сложнее и выше. Это постижение отдельного, отдельно взятого, как бы на первый взгляд элементарного числа. Сложность простоты. Так он полгода бился с девяткой, столь же тяжело дались ему восьмерка, шестерка и пятерка. А чего стоила эта как бы квадратная четверочка! Сейчас у Арнольда Иваныча в стадии разработки цифра три, уже заполнено около трехсот страниц предварительными исследованиями.

Единственная бытовая неурядица, до известной степени нарушающая совершенную картину этого отшельничества,— проблема топлива. Директор соседнего торфозавода со странным дикарским упорством отказывает Арнольду Иванычу в выписке торфобрикетов, а в лютые холода, что царят здесь каждую зиму, дрова истребляются слишком быстро, и слишком много времени уходит на их заготовку, что при занятиях Арнольда Иваныча, учитывая огромность его свершений, крайне прискорбно.

Есть, есть еще в нашем отечестве косные, нищие духом люди! Это до какой же степени дикости надо дойти, чтобы отказывать в топливе гению, который находится в стадии разработки цифры «три», который, может быть, уже на следующий год свалит цифру «два» и, страшно подумать, голова кружится, может прикоснуться к самой единице!..

Я еще допивал чай, а Арнольд Иванович, извинившись самым деликатным образом, уже удалился к себе в рабочую каморку, откуда вскорости послышался скрип его неутомимого пера.

ДОЛГОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Молодой человек провинциального вида открыл дверь купе и поздоровался, просовывая внутрь свой обшарпанный чемодан. В купе находились две женщины, похоже, что мать и дочь, капитан Советской Армии и ребятенок лет, наверное, двух. По разговору можно было понять, что происходит сцена семейного прощания. Саша, так звали молодого человека, вышел в коридор, чтобы не мешать. Наконец капитан расстался со своим семейством и удалился, поезд тронулся, за окном поплыли московские виды. По коридору ходили люди, неизбежно толкаясь, но Саша был настолько погружен в себя, что не обращал внимания на эти неудобства. Дело в том, что сегодня утром он увидел свою фамилию в списке зачисленных в Литературный институт и все еще находился под впечатлением этого события. Какой-то неопределенный восторг бродил внутри. Он представлял себе лица поселковых маловеров и безбожно ехидничавших учителей, отвергнувшей его робкую любовь красавицы. Он уже отправил домой победную телеграмму и радостно представлял себе тот фурор, который произвела новость в поселке.

Из приятного оцепенения Сашу вывел проводник, хитрый, черный, улыбающийся тип, он потребовал рубль за белье.

Расплатившись, Саша вернулся в купе и невольно пригляделся к попутчикам. В них не было ничего особенного. Старуха как старуха, дочь лет двадцати двух, довольно миловидная. Они хлопотали, раскладывая припасы на столе. После долгих препирательств они заставили Сашу взять кусок колбасы с хлебом. Рядом возился мальчишка, сынок миловидной. Чувствуя себя все более неловко и неуютно, Саша решил выйти в коридор, но не успел. Ребенок схватил его за штанину и стал теребить, приговаривая:

— Папа, папа, ты папа...

Надо сказать, что молодой писатель терпеть не мог детей, особенно таких вот маленьких, и попытался отстраниться, но сделал это не совсем решительно. Неловко было отпихивать мальца, жуя колбасу его родственников. Маленькие ручки держали его штанину на удивление крепко. В голосе мальчишки послышались слезливые ноты, и он продолжал настаивать на своем чудовищном предположении:

— Папа, папа, ты мой папа.

— Ну что, вам трудно, что ли,— вмешалась старуха,— скажите, что вы папа, а не то он еще разревется.

Скрепя сердце Саша признался этому отвратительному карапузу, что да, он его отец. На этом испытание не закончилось. Миловидная мамаша тут же попросила взять Костика на руки, пока она постелит постель. Костик охотно пошел на ручки к новому папе. Когда молодой писатель стоял в коридоре с неожиданным приобретением на руках, мимо пробежал черный проводник и подмигнул страдальцу.

Избавившись от Костика, Саша взял полотенце и пошел умываться. Поезд летел очень быстро, за окнами вечерело. Когда Саша посмотрел на свое отражение в мутном туалетном зеркале, оно ему чем-то не понравилось. Может быть, налет раздражения так его исказил, может быть, убогое освещение?

По возвращении в купе он застал большие перемены. Старуха лежала на нижней полке и издавала звуки явно предсмертного характера. Возле нее суетились дочь, проводник и кто-то в белом. Пахло больницей, причем запах был какой-то застарелый. Вонзилась игла в дряблую руку, раздался мучительный хрип. Молодой писатель отвел взгляд от этого зрелища на притаившегося в углу купе Костика. Мальчик сидел прямо, не плакал, не капризничал и был неприятно, не по-детски серьезен и от этого казался старше своих двух лет, причем значительно старше. Сашу почему-то затошнило, как если бы поезд взлетел над рельсами. Молодой писатель медленно отступил в коридор и отвернулся к окну. Там уже полностью стемнело, проносились на огромной скорости отдельные огоньки, и горящие окна, и прочие освещенные нелепости. Там же дрожало и плавало его собственное отражение. Саша попытался в него всмотреться, потом повернулся, вновь направился к туалету. К зеркалу. Сзади снова раздался старушечий хрип.

Столкнувшись с проводником, Саша попросил его, почему-то шепотом, перевести его в другое купе. Проводник, улыбаясь самым дружелюбным образом, сказал, что не советует, да и мест, собственно, нет.

Зеркало не лгало. «Кажется, со мной что-то действительно произошло»,— ощупывая щеки, думал писатель. Пошатываясь, он отправился на свое место, ибо больше ему было некуда идти во всем этом поезде. Там он застал конец истории со старухой. В том смысле, что увидел ее плачущую дочь. В коридоре у окна. Саша остановился рядом, невольно краем глаза заглянул в купе. Пусто. То есть совсем пусто, даже Костика нет. Он не нашел ничего лучше, чем спросить:

— Что случилось?

Миловидная женщина промокнула глаза платком.

— Я теперь одна, совсем одна, совсем,— внезапно произнесла она.

— Вас же, насколько я понимаю, провожал муж,— сказал Саша, чувствуя, что лезет не в свое дело.

— Провожал,— всхлипнула женщина,— но он уже год как погиб в Афганистане.

Встречая новый прилив тошноты, Саша глубоко вздохнул. Женщина, улыбнувшись горько и загадочно, вошла в купе и осторожно притворила за собой дверь. Саша принялся растирать виски, он физически ощущал, как запуталось все, но одновременно знал, что эта путаница для него спасительна.

В коридоре появился хитрый проводник. Странно, почему это не видно никого из пассажиров, ни к селу ни к городу подумал Саша.

— Что же вы здесь стоите? — весело спросил проводник писателя.— Нехорошо бросать женщину одну в таком положении. Идите, идите, Костик у меня, мы с ним в очко гоняем, очень шустрый парнишка,— проводник снова подмигнул Саше и куда-то улепетнул. Несколько раз вздохнув, чувствуя наплыв непобедимой тоски, писатель положил свою воспаленную волнением руку на холодную ручку купе и стал открывать дверь.

Когда Александр Александрович наконец вернулся в купе, расчесывая на ходу огромный седой кок, поезд уже подходил к станционному перрону. Жена сидела у окна, поправляя очки, вглядывалась в собравшуюся на перроне толпу.

— Саша, а тебя любят на родине,— проскрипела она неприятным старушечьим голосом. Совсем старуха, от ее былой миловидности не осталось и следа.

— Еще бы,— хихикнул Костик, одергивая рукава своего пиджака,— прй нобéль есть прй нобель. А потом еще это заявление — классик приехал домой умирать.

Александр Александрович продул расческу и спрятал в карман.

Поезд уже почти остановился, за окном были непрерывные цветы, плакаты и прочие признаки всеобщего воодушевления.

Загремела дверь.

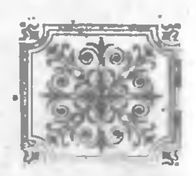
— Умоляю,— на пороге стоял юноша самого восторженного вида, он просил автограф.

— Вы что, запрыгнули на ходу?

— Конечно, иначе к вам просто не добраться.

Александр Александрович достал ручку и медленно расписался на титульном листе.

— «Долгое возвращение домой» — ваша лучшая книга,— бормотал юноша, не веря своему счастью.



ЕВГЕНИЙ КУРДАКОВ



И ДАР, И БОЖИЙ ЗОВ

* * *

Вначале казалось — словечки, забава,
Где слава — направо, налево — успех,
А жизнь из-под слова сочится кроваво,
И надо б не так, да увиливать грех.

И поздно уже поступаться призваньем,
Пусть даже случайным, нечаянным
пусть,
Когда оно стало планидой, дыханьем,
Затверженной страстью, тоской
наизусть, —

Когда, просыпаясь, уж слышишь, как
рядом
Не утро вздыхает, не женщина спит, —
А жизнь бесконечно прощальным
обрядом
Тебя поднимает, торопит, томит, —

Когда уж себе и другим непонятен,
Юрод ли, чудак ли, влачишь чуть живой
Свою оболочку под тени распятий
Предтеч своих дальних, распятых
толпой, —

Тогда вдруг поймешь, что и это
изгойство
С глухой отчужденностью этих и тех, —
Все той же толпы первородное свойство,
И время принять на себя ее грех, —

Тогда уж не важно, не важно, не важно,
Что жизнь низвелась утомленно в юдоль,
Чтоб в горькой свободе ее непродажной
Свободно принять эти муки и боль, —

И только порою себя озадачив,
Спугнешь вдруг в немыслимо дальней
дали
Тоску по успеху, печаль по удаче,
Что, словно затменье, пришли и ушли.

КУРДАКОВ Евгений Ввсильевич родился в 1940 году в Оренбурге. Автор книг стихотворений «Из первых рук», «Мой берег вечный», «Сад мой живой», книги очерков «Ветер пролета». Член Союза писателей. Живет в Алма-Ате.

* * *

В кругу хмельных друзей,
Похожих на врагов,
Забудешь в смраде дней
И дар, и Божий зов.

И в гулевой глуши
Под треп и пустословь
Пропьешь мечту души,
Продашь свою любовь.

Чтоб на изводе сил
Шепнуть пропитым ртом:
«Я тоже русским был, —
Не плачьте о пустом...»

Переделкино

Спят писательские дачи
Под созвездьями небес.
Поезда и лай собачий
Оглашают хвойный лес.

В этой даче застрелился
Жизнерадостный жилец,
В этой даче насмерть спился
Наших праздников певец.

А под этой страшной крышей
Натянувшей провода,
Кто-то пишет — и напишет,
Не сопьется никогда...

Лает сумрак, ночь искрится,
Мчится поезд напроход.
Недалекая столица
Озаряет небосвод.

Озаряет лес собачий,
Где витает вой ли, стон, —
Над смердящей ночью дачной
Под российский темный сон.

* * *

Камень ли, ветку ли тронешь рукой,
И на мгновение сблизившись с малым,
Вдруг ощутишь подсознаньем усталым
Если не смысл, то хотя бы покой, —

Тайный покой узнаванья того,
В чем, растворенный,
пребудешь безвечно, —
Этой трепещущей веткою встречной,
Камнем, глухое таящим родство.

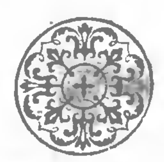
* * *

Скушна, беспола и распутна...
И. Бунин. «Поэтесса».

Все то же полвека спустя, и все та же
В писательском баре, глупа и дурна,
Сидит поэтесса в густом макияже
В привычном кругу за стаканом вина.

О Бродском бормочет, о метафоризме,
О том, что не знает, не видит, не ждет...
— Бессмертна, — шепчу я, — бессмертнее жизни, —
Планета погибнет — она не умрет.

И будет все так же с привычным юродством
Картавить, глумясь, у беды на краю
О метаболизме, фонизме, о Бродском, —
В блузоне с плебейским клеймом — «Ай лав ю»...



ПРОЗА

НИКОЛАЙ ШИПИЛОВ



СКОРБНЫЙ ЛИСТ

СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ

1

Человек он, Гарин, был как человек, а можно, зная его хорошенько, сказать, что являлся он личностью незаурядной, но ростом не удался. Соседи по коридорным пенальчикам малосемейки могут подтвердить, что когда он мыл поллитровую банку на общей кухне, то кулачок его с зажатой в нем клетчатой тряпицей без притирки входил в горловину той банки и свободно драил сосуд изнутри. При этом Гарин пел без слов сквозь стиснутые зубы, а по выражению его скуластенького лица не каждый сосед мог понять: гримаса ли печали на этом лице или же выражение лютой радости.

Почему же речь пошла о его малом росте и силе духа?

Известно, что страх неведом дуракам — по их судьбе — и героям, по факту их посмертного молчания.

В свои тридцать семь лет Гарин женился на молоденькой коренастой женщине с неизвестными в этом городе штрихами догаринской биографии. Женился настолько бесстрашно, что большинство знакомых его постановило: Гарин — дурак. Малый их круг решительно заявлял: Гарин — герой. Редкостные третьи хранили выжидательное молчание.

И выждали.

Но — по порядку, если получится, об этой скорбной истории.

Всяко бывает с женитьбами, но когда говорят, что браки совершаются на небесах, то забывают: речь идет не о загсе, а о венчании в церкви. Гарин же хоть и носил нательный крестик, но в церковь ходил весьма и весьма редко: помянуть погибших товарищей да усопших родителей, коих он уже и в лицо позабыл, воспитывался-то в Суворовском. Женка его — та вообще к православному крестику относилась как к бижутерии, которую можно держать в шкатулке вкупе с дешевыми колечками, рассыпанными бусами, сломанными запонками, булавками, часиками без стрелки, с бигуди, брошками, стеклярусом и мулине.

ШИПИЛОВ Николай Алексеевич родился в 1946 году. Окончил высшие литературные курсы. Автор книг «Ночное зрение», «Пятый ассистент», «Шарабан», романа «Весы». Живет в Москве.

Некогда Гарин уже был романтически женат на фронтовой по Афганистану подруге, но детей им Бог не дал, а вспомнить — так и долгого счастья тоже; жена запила и Гарина, бывшего своего командира, ввергла в бучило постных запоев. Года через четыре супружеской жизни она застрелилась вследствие тайных печалей и страстей.

Гарин был привязан к ней, как умеет привязываться к желанной ласке только сиротская душа, и пережил погибель ту в глубочайшей аскезе и воздержании. Год держал он обет молчания и даже не играл на трубе, а потом убрался в этот малочисленный городок, раздарив все немногие вещи и трофеи: с собой взял лишь несколько пар белья, бритвенный прибор да свои с женой боевые награды. В деревянной музшколе он учил детей игре на трубе, а их родителей — играм в покер, в бридж, в монопольку. Женщин сторонился и стеснялся приводить в свое жилище анахорета, одну стену которого оклеил цветными репродукциями любимых и нераздражающих его вкус картин, а часть другой укрывалась большим портретом жены-самоубийцы, не удостоенной заупокойной службы, и верхний левый угол того неулыбчивого, печального портрета наискось пересекала черная креповая лента.

И вот — женился к сорока годам.

Молодая взяла его в оборот, да так, что он сделался еще меньше, лысей, и только умение свести дело к шутке и размякшее от перекала и переделок житейских русское сердце длили этот мезальянс до определенных пор. В городе поговаривали, что женка бьет майора.

Однажды Гарин воротился из музклассов, а портрета на стене и духа нет. Он с вопросом к суженой: где, мол, портрет? Та ему в ответ:

— Ночевал да скочевал!

Надо сказать, что фронтовик Гарин был терпелив, неприхотлив, но вспыльчив и, к чести его будет сказано, не владел языком семейных склок: чтение книжек да трудные, честные дела научили его уважать сказанные слова и фильтровать их.

— Фильтруй базар, — примерно мог ответить мещанин Гарин. — Может, я чего не понимаю: где портрет?

— Хватит! Сначала-сперва застрелилась, потом повесилась! Хва, нависелась... Не Зоя Космодемьянская! — было ему ответом.— Герои, ёкалэмэнэ!

Тогда экс-майор Петр Иванович Гарин своим небывало маленьким кулачком звезданул женке в подглазье, а та не промах: тут же в милицию на экспертизу.

Что же участковый?

Он хорошо знал, каков человек Петр Иванович, помнил, как майор один пятерых квартирных воров топориком гонял. Однако пришлось снять сначала форменную фуражку, а потом уж и протокол с Петра Ивановича. После допроса, один на один за чашкою чая, участковый говорит:

— Ты, Петюня, блаиш ей сотворил — это пройдет, это пустое... А вот она тебе три года зоны может сотворить... Ты притворись, повинись, затихни... Она заявление заберет — и дуй ты подальше от нее, гляди по обстоятельствам! Я тебе, Петя, как благородный человек говорю, а мой прадед был не то граф, не то князь, не то черт знаешь что: сживет она тебя со свету! Не ты ей нужен — кунура твоя нужна вот эфтая... Эти стервы, Петя, по молодости налетят на самосвал, подлецы их намучают, а обиды свои они на благородных вымещают, кикиморы... А я про нее, паскуду, все могу разузнать, запрос разошлю — хочешь?

— Не надо, капитан,— отвечал Петр Иванович.— Меньше знаешь — дольше живешь,— мудро так ответил, отпив холодного уже чаю, и отчего-то после этого глотка его шибануло ознобом. Тихий стон издал он сквозь стиснутые зубы.

Участковый жадно и пытливо зыркнул на покрывшийся испариной большой лоб Петра Ивановича, на ставшие вдруг бледными мощные носогубные складки, на чашку с чаинками на донышке. Он приблизил эту чашку к своему коротенькому носу, а потом утер нос и губы платком:

— Вот, говорит, она тебе сковородой голову промяла — и ей закон

не закон: оборонялась. А отравит тебя — скажет: из ревности. И додумается. Они ж до чего додумываются! Недавно ко мне жалоба поднялась: одна на другую пишет, что та якобы пришла к ней почаевничать, а после от клопов жизни не стало... Якобы та клопов в своем общежитии отловила в спичечный коробок, а у нее на хате — на волю их отпустила. Поди, додумайся? А посреди конфликта — мужик! Так что, Петя, поостерегись: больно уж у твоей зазнобы глазоньки медвежачьи... Я пошел, а ты ложись в койку да температуру замерь...

Петр Иванович говорит:

— Да куда она без меня? — и тоже чашку нюхнул.— Дитя она еще... А смертушки я не боюсь, не на того напали...

2

Месяц спали супруги манерно, в разных постелях.

Комнатка маленькая, и Петр Иванович маленький: провел себе свет на антресоль, матрас с подушкой взволок туда по стремянке. Свернется там калачиком и спит-блаженствует — война позади.

Жена же со строгим лицом на полуторке раскинется и во сне-то не улыбнется, а все шипит, будто из нее горячий пар выпускают, — для нее война не кончается. Петр Иванович тайком перекрестит ее, думает: может, оборотень, может, исчезнет. Куда там: сам исчез после того, как женка наняла наемника и, несмотря на галопирующую инфляцию, тот прибил Петра Ивановича за тысячу Петра же Ивановича рублей. Молча.

Надо думать, душе Петра Ивановича сделалось обидно, когда дешевый убийца пропил венгерскую трубу с лунными камушками на помпах, которую он взял у жертвы.

Когда хоронили майора Гарина с обученным им же духовым оркестром, играли и Шопена, и «Убит из-за угла...». Несли его боевые награды на траурных подушечках, а жена сильно шмыгала носом и выбивала его содержимое в платочек с вензелем «П.И.Г.», который вышила фронтовичка. Шла женка, шмыгала носом, стреляла острыми глазами по сторонам, как разведчик. А люди говорили, что она и мертвому дала Петру Ивановичу пощечину, крича: на кого ты меня, сироту, скотина, бросил?

Но тут уж Петр Иванович ничем ей ответить не смог. Однако все до поры до времени.

3

Была у молодой вдовы задушевная, простите за выражение, подруга Зоя. Не то вдова, не то разведенная, но брала иногда, еще при живом Петре Ивановиче, ключик для интимных встреч. Работала она в городском театре реквизиторшей, а лет ей было за тридцать, а смотрелась на все двадцать. Не то макияж, не то секрет знала, но липнул к ней мужик, как муха на свежий навоз. Вот она сильно плакала на похоронах майора. Слеза снег под ногами плавила. Так за ней тропа талого и ложилась. Так она плакала, что со слезою вместе и слухи по городу растеклись: любила она-де тайно маленького нашего героя за его чудную игру на трубе и отчаянную привычку идти напрямик по лужам, вовсе не замечая их.

— Эй, Петр Иванович! — кричала она из окна, когда, бывало, еще живой он шел в музклассы.— Что ж вы по лужам, а? Вы ж насморк схлопочете! Вас что: не учили в детском садике лужи огибать, а, Петр Иванович? Жена молодая — здоровье беречь надо!

Петр Иванович, хоть и особенно маленьким виделся с пятого этажа, самого высотного в городе, но останавливался среди лужи и улыбался Зое смело и открыто.

— Сильному,— отвечал он,— и море водки до колен! — или что-нибудь в этом роде.

— Ах! — многозначительно качала Зоя головкой своей красивой. — Тогда обознатки-перепрятки! — и следовал маленький светский разговор ни о чем с передачей слушков и приветов. В конце его Зоя обычно и как бы в шутливой форме просила Петра Ивановича сыграть ей «Караван». Он вынимал трубу, подымал ее к небу и наяривал «Чижика-пыжика». Люди вокруг улыбались.

— Что же вы мне «Танец маленьких лебедей»-то играете? — будто бы сердилась Зоя.— Да ну вас, Петр Иванович!

— Ах, вам Минкус не нравится?! — смущался и возмущался будто бы Гарин.— Обознатки-перепрятки...— и прятал трубу в черный с алым суворовским рантом футляр.— Пока, мадам!

— Ах! — прощалась с ним Зоя и закрывала створки окна.

Вот эта-то Зоя и плакала горше всех на пути к городскому кладбищу, таинственно говоря в горемычных паузах:

— Нет-нет-нет!.. Я человек дела!..

4

Вдова выскочила замуж, не износив и пары башмаков. Во-первых, башмаки в наше революционное время стоят бешеных в галопе денег. Во-вторых, она, в отличие от Петра Ивановича, по лужам не шаствла, а в-третьих, для нее авторитетов и чужих мнений на свой счет не существовало. В городе говорили, что вышла она за наемного убийцу. Психолог Х. утверждал, что женщины с криминальной устремленностью частенько влюбляются в унизителей или убийц своих бывших избранников. Возможно, в основе слухов и лежало это его утверждение, но только в доме Петра Ивановича с появлением нового хозяина стали твориться всякие нечистые штучки.

То керосином запахнет, так что тараканы пасовали и мухи издыхали, но обязательно скрещивали крылышки на головогрудке; то отваливалась с потолка люстра, а на ее месте вбивались спинками друг к другу два крюка, как бы намекая: смелей! намыливайте веревки-то, ну! А то и находилась пачка дореформенных сторублевок, и молодые супруги оклеивали ими стены поверх гаринских репродукций, а потом глядь — а сторублевки-то ходовые... Бывало, средь ночи трубач неумело и невидимо начнет гонять гаммы, а соседи стучат кулаками в стены, и трубач-неумеха замолкает, но долго еще слышится детское шмыганье носом и продувание мундштука.

Она, бывшая вдова, обессилела терпеть беспорядки и прошествовала к священнику, отцу Леониду, но тот отказался освящать жилище, поскольку самозваные хозяева являлись нехристями.

Он, предполагаемый убийца, кинулся к психологу Х., но психолог, стирая в ванночке свою кошку, между делом объяснил, что имеет место явление полтергейста, а как с этой дьявольщиной бороться — одному лукавому известно.

Тогда эта парочка, баран да ярочка, решили менять жилище на другой город и поменялись было с кем-то простодушным, и узлы увязали, и обнялись крепенько, чтобы спать, и уснули, а тогда с антресольки спустился клуб зеленого дыма и прошел над их буйными головами. Они разом закашлялись, как солдаты на русско-германской войне, и пробудились.

Продрав глаза, они увидели, как из клубящегося зеленого дыма образовался маленький человек в парадной майорской форме. Рядом с ним произошла из ничего стройная женщина с черной крепповой лентой на левом предплечье. Она указала пальцем на бледную щеку майора, и на той щеке алым пламенем вспыхнул след пощечины. Тем же пальчиком дева погрозила остолбеневшей в ужасе парочке, взяла из ниоткуда канистру и облила ее содержимым портьеры, а майор чиркнул фронтовой зажигалкой...

5

В городке говорили, что новый хозяин по пьянке уснул с сигаретой. Улыбаясь, шла за похоронным грузовичком реквизиторша Зоя. Она курила дорогую сигарету, пускала дым вслед грузовику с двумя гробами в кузове. Красавица, каких поискать по Руси.

— Я человек дела,— едва ли не напевая, говорила она.— Я, Петенька, человек дела...

И, когда проезжали мимо ее дома, над городком вдруг разнесся чистейший звук трубы, играющей «Караван» грустно и величаво.

ПОЭЗИЯ

ВЛАДИМИР УРУСОВ



МИР РАЗРОССЯ, ВРЕМЯ СЖАЛОСЬ...

* * *

На теплых стеклах вымерших контор
в сплетениях теней, в скрещенье веток
угадывать движенье, сброд и сбор
чиновников, дельцов, марионеток.

Застой перекидных календарей,
лиловые печати на доносах —
трепещет под эгидой фонарей
болтливая эпоха девяностых.

Преследователь, следователь, шут
и босс у сейфа — призрак ясной ночи,
уже готовы шесть его зануд
к рывку на финиш ярмарки сорочьей.

Здесь мог бы жить сантехник или врач,
детей плодить — но тут не коммуналка,
и грозный коминтерновский палач
надежен, как двутавровая балка.

Настанет день, сведут в полуподвал
наперстников, матрешниц, шкуродранцев.
Массовка, пой! — предвидели финал
и друг народа, и учитель танцев.

* * *

Среди тайги, в Сибири дикой
стоит барак, висит замок,
копейщик бродит с вострой пикой
и вдалеке грохочет ГОК.

Всю ночь лелеет сторож странный
венки из проволочных игл
и дым над ягодной поляной,
и сон заброшенных могил.

Напуганные мертвым лаем
на кровь натасканных собак,
здесь до рассвета мы гуляем
и не расстанемся никак.

УРУСОВ Владимир Глебович родился в 1947 году в Калининградской области. Окончил Московский горный институт, работал геофизиком на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. Автор пяти сборников стихотворений, в том числе «Три любви — три степени свободы», «Всплеск живой воды», «Медленный ветер». Член Союза писателей. Живет в Москве.

Вот села ты, расправив платье
и ты согрелась у костра,
когда наколкой на запястье
кварц обозначил пять утра.

Желтками лиц по мутным окнам
скользнул и ожил древний мир.
Смотр, перекличку миллионам
затеял грозный бригадир.

Они прошли, росы не тронув,
без памяти и без следа.
Но дремлет в насыпях огромных
золотоносная руда.

И песней тешится бродяга,
и ты смеешься и поешь,
когда звенит цепями драга
так высоко, что в сердце дрожь.

* * *

От звонка и до звонка
жили мы — какая жалость,
гул пришел издалека,
мир разросся, время сжалось.

Цены вздулись — бейся лбом
в конверсированный ящик.
Вроде меньше водки пьем,
но зато гораздо чаще.

И сидишь как сирота,
проклинаешь альму мутер
или с пеною у рта
рекламируешь компьютер.

Потому что правит бал
не крестьянин с мелкой сошкой,
а такой большой амбал,
что не видит нас за ложкой.

* * *

Не воск, а слезы льнут вдоль свечки,
ты спишь и видишь в смутном сне,
как погибающие человечки
роятся в снежной простыне.

За далью — память полувека,
и там другие полусны,
и липкий слепок человека
на ледяных полях войны.

Какая ненависть косила,
гноила, их и вскользь, и вьюз
в оргазме бешенства и силы,
в переизбытке мощных чувств.

Кому-то грезится и счастье,
и свежий ветер перемен,
и власть, как бабу, рвет на части
живой и жадный супермен.

И не понять простое дело,
что нет отлички никакой
в угрюмых битвах тела с телом —
заупокой, за твой покой.

Домлеет свечка, догорая
в жестокой линии бедра, —
не надо мне другого рая
ни через век, ни до утра.

* * *

Английский негритос играет на трубе
в компании друзей
на празднике разлуки,
мне грустно оттого, что весело тебе,
что арендатор Эн твои целует руки.

Пусть догорит свеча и кончится фитиль,
окурок подложу как бомбу в Хайзабате,
и дворник подметет полуденную пыль,
и яблочным гнильем запахнет на Арбате.

В такие вечера сквозь вату тишины
слышнее хруст костей афганца-инвалида,
и выше грязных туч
возносит герб страны
воинственный костыль
таинственного МИДа.

И ясно, что судьба —
лишь тополиный пух,
разлет беспечных дней и детская забава.
И страшен говорок откормленных старух,
качающих права небесного Минздрава.

Но движется толпа студенток и бродяг,
прощаются грехи, сработанные чисто,
и катится звездой коричневый пятак
в зевающий портфель
безумного флейтиста.

* * *

Я пригляделся к извозу с подлета:
вечером травля, а ночью охота,
дремлет таксист — не зевай!
— За четвертак до кафе Пилорама! —
машет перчаткой приличная дама,
шкура — сплошной горностай.

Жиром лоснятся пятнашки, двадцатки, —
америкашка с вокзальной подсадки,
злой волкодав рэкетир
или матрешник с арбатской толкучки
уши прижмет в колпаке-нахлобучке:
— В аэропорт, командир!

Но повстречается вдруг бедолага,
драный треух и медаль за Отвагу,
будто свалился с луны.
Нам по дороге — Варшавка, Каховка,
греет ладонь золотая рублевка,
чистая — нет ей цены.

Иван-дурак

— Что есть народ и что есть
самовластье? —
спросил Иван-дурак у дуры Насти,
которая была навеселе,
чем шутит черт, на Пушкинской торгуя,
чтобы купить еду недорогую,
пока штормит и бунт на корабле.

Как в Мавзолей,
в «Макдональдс» хвост змеиный
тянулся, пахло гарью и резиной,
толпа зевала — нет свободных мест.
Смутив Настасью тяжестью вопросов,
о будущем задумался философ
на православный праздник Благовест.

— Плюющий в прошлое, — сказал он
глухо, —
плюет себе же в спину, слышь, старуха?
Но тетка ничего не поняла —
к лимонным водкам, трем ее бутылкам,
прицеливался взглядом и затылком
английский сакс, подвижный, как юла.

Прошел шахтер, облепленный капустой,
ограбленный студент, но тоже
шустрый,
пенсионер, мятежный патриот,
злой офицер — все выглядели странно
в четвертом измерении Ивана,
где власть была такой же, как народ.

И он вздохнул, стожильный, — таял в
венах
густой настой времен благословенных,
прокисший за полвека без войны.
— Сошли с ума!.. — и доругался
строго, —
опять мы, так-растак и в мать и в бога,
раздавлены копытом сатаны.

Случайно или как, но честь по чести
гром громыхнул, родил благие вести —
умчалась нечисть с улиц и дворов,
осела за чертою в диком поле,
заполучив заряд хорошей соли
за что про что — понятно и без слов.

Мечты и звуки. Если бы да кабы
лжецам державы — мужики и бабы,
по совести воздав и по уму,
витиям и химерам в лоб и хором
влепили бы клеймо: «Останься
вором!» —
чтоб стало неповадно никому...

Нет, это бред, дружище, ослепленье,
печать безумья в ликах поколенья —
и страшен ход теней на гиблый свет
мимо витрин, манящих лживым блеском
в колбасный рай за булкой и обрезком
из той страны, которой больше нет.

Поди узнай, за что наказан каждый
соблазном нищеты и жалкой жаждой
над книгой судеб и во злобе дня
пред пламенем святым Креста Господня,
вчера враждуя, — руки греть сегодня,
во всех грехах минувшее виня.

Но лишь за куполами вспыхнет
солнце —
к больной душе былинный дух
пробьется
с разгадкой тайны, неизвестно чьей, —
перо жар-птицы, молния на взлете
до холода в груди, в разрыве плоти
затмит полмира веером лучей.

Растает ночь, как сон, в пределах
темных
и станет чисто в храмах и на тронах.
Путь нечисти — до первого угла.
Всего превыше Русь — долги за нами,
смотри: звезда восходит над холмами
червонный блеск могучего крыла!

ВЛАДИМИР ЧОБАН-ЗАДЕ



ИМЕНЕМ ТВОИМ

* * *

От хлеба до хлеба
Простерта свободная жизнь.
Просторное небо —
И в небе так просто кружить.

И видим, и слышим,
И ясен любой человек.
Как жарко мы дышим!
Как легок во времени бег!

Просторное небо —
Сильнее волненье мое!
От хлеба до хлеба
Распахнуто нам бытие.

* * *

Над миром, где царствует ветер,
Чужую свободу поправ,
Ты мчишь в золоченой карете,
Сплетенной из веток и трав.

Пахучие волны взлетают
И падают вновь, и опять
К высотам тебя подымают,
Судьбой продолжая играть.

Летит и летит позолота,
Быстреет вращенье колес,
И видно: за шторками кто-то
Уже огорчился до слез.

До слез, что так мало, так мало
Осталось у осени дней,
Что царственным ветром сломало
Карету из трав и ветвей.

ЧОБАН-ЗАДЕ Владимир родился в городе Тбилиси в 1947 году. Окончил среднюю школу, служил в Советской Армии. Автор книг стихотворений «Белые лилии», «Обваженные сны».

* * *

И трав многолетних отрава,
И горькая радость с утра...
Настала пора ледостава,
Прощаться настала пора.

В просторах холодного неба
Мне трудно парить над землей.
Родная, я был или не был
Любимый, единственный, твой...

Речная вода леденеет,
По омутам прячет тепло,
И крылья мои тяжелеют,
И время полетов прошло.

Настала пора ледостава,
Что было — то было вчера.
И трав многолетних отрава,
И горькая радость с утра.

* * *

Тугие ветви дней раздвинуты,
Открыт безбрежный водоем.
Все жемчуга из сердца вынуты,
Все в ожерелии твоем.

Высоких трав тяжелый занавес
Уже далек, уже незрим,
И только вдаль летящий благовест
Волнует именем твоим.

* * *

Моя звезда в твоем созвездье,
В горящей бездне Гончих Псов,
В стальном мерцанье темных лезвий
В кругу бестрепетных часов.

Среди планет, во мгле пропащих,
Внутри померкших вечных лет,
Лишь яркий свет слияний наших —
Единственный вселенский свет.

* * *

Медленно лодка скользит и в тумане томительно тает.
Много мгновений прошло и волнений, и стало светло.
Предвосхищая печаль в небесах пролетающей стаи,
Белая лебедь разлуки легко поднялась на крыло.

Так незаметно со всеми прощаясь, пойму, что покинут
Берег моих одночестя и вновь путеводной звезде
Я возвращен и привечен, и счастлив, и вижу, как стынут
Перья упавшие в белой слепящей воде.

* * *

Ты помнишь начало весны? —
Сады еще в дреме,
И утро, крадущее сны
В нетопленом доме.

Ты помнишь, как день ото дня
Счастливее было?
Ты помнишь, любила меня?
— Я помню. Любила...

Воробей

Всегда взъерошен он и сер,
Чуть суетлив и чуть беспечен,
В своей несобранности вечен
И для потомков не пример.

Беззлобный, но отнюдь не кроткий,
Он очень мил и очень прост.

И рост его, как хвост, короткий,
А век его совсем бесхвост.

Не по годам к невзгодам стойкий,
Презрев мирскую слепоту,
Добудет счастье на помойке
И жизнь окончит на лету.



ПРОЗА

ВИКТОР ПОСОШКОВ



РАССКАЗЫ

О, АРБАТ!

Уваров назначил Насте свидание на Арбате. Расчет простой: место шумливое, веселое, от дома далекое, так что никому особенно на глаза не попадешься.

Настя опоздала на тридцать две минуты. И даже не стала оправдываться. Уваров хотел было разозлиться, сказать ей что-нибудь такое, чтобы она поняла, как нехорошо заставлять взрослого дядю ждать, но она обвила его шею руками, теплыми и мягкими, как летний воздух, и чмокнула в губы, и он сразу же остыл, обнял ее за талию и почувствовал столько счастья, что без труда смог бы пропеть до ди петто, ибо в груди была невиданная сила, а в сознании — неслыханная самоуверенность. Тем не менее петь он не стал, Арбат и без того переполнен музыкальными номерами всех видов. Возле шашлычной «Риони» солировал оборванный верзила, возомнивший себя Карузо, а чуть дальше, на подходе к Вахтанговскому театру, состязались в пассажах флейта и контрабас. Публика ела мороженое, глазела и кидала пригоршни мелочи. Чтобы Настя не сочла его за скрягу, Уварову пришлось раскошелиться.

Сколько мы не виделись? — спросила она, и он быстро сосчитал: восемнадцать дней, она как-то укоризненно вздохнула, а он поспешно добавил, что теперь, когда на носу лето, им будет легче, она рассмеялась и сказала: надо шить зеленое, да? — да, да, подтвердил он, сочно-кобальтовое, под цвет травки-муравки, ты пошляк, заявила она, к чему акцентировать? — а мне хочется акцентировать, сказал он, потому что рядом ты, а когда ты рядом, меня так и подмывает сделать что-нибудь мужское, почему «акцентировать» — это мужское, спросила она, удивившись, а ты сама подумай, произнес он глу-

ПОСОШКОВ Виктор Иванович родился в 1952 году в Москве, по образованию инженер-физик. Автор книг «Неподвижная точка», «Бадхызский марафон», «Знак внимания», «Супер», выходивших в различных московских издательствах. Член Союза писателей. Живет в Москве.

бокомысленно, расставлять акценты — признак мужской силы, разве нет? а вот и необязательно, сказала она свысока, это ваше заблуждение... чье — ваше? она пояснила: всемужское; сколько раз тебя надо просить, чтобы ты не намекала на свои прошлые связи? — вспылил он понарошку, за что и получил еще один поцелуй.

Они подошли к толпе, жадно смотревшей на то, как отплясывал безногий цыганенок, который делал сальто, перескакивал с рук на культи и обратно. Как только ему не больно, подумал Уваров. Настя потянула его за рукав в сторону: уйдем, у меня мурашки по коже бегут. Он ласково погладил ее по спине, и вдруг вспомнил Адлер, где они с Настей познакомились прошлым летом, и лютую ненависть Настиной подруги, которая однажды прямо так и заявила: не понимаю-де молоденьких дур, связывающихся с женатыми мужиками (потом, когда на танцах за ней стал ухлестывать седой летчик гражданского флота и причина ее нравственных мучений улетучилась, как дым, она уже не была столь строга и не смотрела на Уварова по-волчьи, хотя так до конца ему и не простила, что он вместо нее, замужней женщины, предпочел свободную студенточку: надо крутить любовь, прочла она ему на обратном пути в аэропорт лекцию, строго выдерживая уровень достигнутого, то есть женатому разрешается положить глаз только на замужнюю, тогда это не будет казаться вопиющей аморальностью; мысль интересная, согласился Уваров, а летчик гражданского флота предъявил справку из загса, прежде чем расстегнул брюки? Подруга зло фыркнула, отвернулась к окну, и Уваров понял, что нажил врага на всю жизнь.

Силою обстоятельств Уваров вернулся из Адлера на Арбат, за одно мгновение преодолев двухчасовой полет самолета. Они с Настей шли, взявшись за руки, а вокруг них царил дух торгашества и наживы. Видя засилье валютных матрешек, лаковых миниатюр и пасхальных яиц всех калибров, всякий раз он домысливал до афоризма: «Москва — провинция Европы», ибо нестерпимая фальшь натужного коробейничества, старавшегося подладиться под тугие кошельки туристов, не вызывала в нем ничего, кроме гадливого чувства стыда за то, что не для него развернут сей праздник жизни, что он попал сюда как бы незваным, по чужому приглашению, и что вскоре это вскроется и под издевательское улюлюканье толпы его погонят прочь. Почему это никогда не происходило? Что за глупое везенье? Уваров искренне недоумевал, но не ощущал исцеляющего облегчения.

Может, сфотографируемся, загорелась Настя, кивая на каменно-неподвижный кабриолет, возле которого прятался, словно раскинувший сети и караулящий свои жертвы паук, фотограф. Желающих почему-то не было, быть может, потому Уваров и дал согласие, а когда они уселись, паук тотчас пришел в ажитацию, забегал, запрыгал, добыл откуда-то широкополую, николаевских времен, шляпку, которую надел на Настю, раскованней, еще раскованней, еще, умолял он их, и лишь затем, поняв, что артистизм этой парочки на пределе, два раза в упоении щелкнул затвором. По почте, или зайдете сами? Я могу забрать, поспешно предложил Уваров, ругая себя за то, что оставил улику, но Настя сказала, что хочет получить фотографии почтой, и продиктовала пауку свой адрес, и Уварову показалось, что она проделала это с тайным умыслом — только сейчас Уваров заметил масляные глазки фотографа, какими он заглядывал в вырез ее кофточки, скользил по фигуре вниз и плотоядно щурился на наиболее рельефном участке, который он никак не мог преодолеть, и после наглой пробуксовки поднимал затуманенный взор вверх и начинал все сначала. «Дать ему в морду?» — подумал Уваров. В нем вскипел гнев, но прежде чем он перетек через край, паутина, которую так тщательно сплел паук, порвалась, и Настямушка вылетела на волю. Когда они отошли шагов на двадцать, он, не выдержав, обернулся; паук уже занял прежнюю позицию и сторожил новые жертвы. Совершенно инстинктивно Уваров погрозил ему кулаком, но тот не увидел или сделал вид, что не видит.

День был по-летнему тепел и с непривычки, после долгой зимы, утомителен. Пробующее силы солнышко напекало выстриженные затылки панков, отчего ребятки балдели не меньше, чем от пива, которое сосали из бутылок, ставя потом опорожненную посуду на мостовую, присаживаясь рядом и всячески демонстрируя свое презрительное отношение к обходившим их стороной бюргерам.

Много странного люда на Арбате. Во всей России столько не сыщешь. Здесь — кто во что горазд. Крутят наперстки, танцуют, читают крамольные стихи, продают книги, изданные за свой счет, пьют, едят, рисуют. Здесь — парад вычурных одежд и неправдоподобных причесок. Обделывают свои темные делишки валютчики, играя в кошки-мышки с переодетыми сотрудниками «конторы». Ищут знакомств профессионалки, ловят удобный случай извращенцы, спасаются от одиночества забытые и заброшенные. И в этом волнующемся море страстей и переживаний, взявшись за руки, блуждают люди лунного света — влюбленные... О, Арбат! Кто выдумал тебя? Кому на потеху или на чью погибель?

Что ты сказал? — спросила Настя, нет, ничего, это я так, вслух мыслю, а о чем, поинтересовалась Настя, да ни о чем, ты лучше скажи, есть хочешь? не особенно... так, разве что посидеть вдвоем за столиком, ну тогда, предложил Уваров, зайдем в «Русские пельмени», а ты был там? ни разу; Настя поморщилась: что-то название не внушает доверия, искусственное какое-то, правда? ага, но все равно зайдем, посмотрим — не понравится, тут же повернемся и уйдем.

Крепко сжимая ее руку, Уваров повел Настю за собой. По стуку двери за ними остро ощутилась отрезанность улицы, той самой улицы, которая манила и отталкивала, была так красива и безобразна. Иной шум — ресторанный, тугой — скатывался со второго этажа, ничуть не заставляя напрягаться, чтобы услышать и понять, что происходит там, на верхотуре. Там, без сомнения, шла гульба. Положа руку на сердце, Уварову нравились обеды в ресторанах: пришел, увидел, заказал — и если бы не вокругсидящий люд, в основном фарцовщики и барыги, если бы не удручающее однообразие меню, если бы не проколы в обслуживании, он бывал бы здесь чаще. Почему нет? Нынешняя зарплата сотрудника совместного предприятия — спасибо тебе, Гельвеция! — позволяла это небольшое удовольствие. Это раньше, будучи работником безвестного конструкторского бюро, он считал копейки. Теперь счет пошел на «штуки». Жизнь, правда, тоже дорожала не по дням, а по часам, но, кажется, гонка цен и доходов завершалась в пользу Уварова.

В зале было темно, даже темнее, чем требовалось для антуража. Стоял коромыслом дым, звякали бокалы, закатывались в чувственном смехе подвыпившие женщины. Сыто щурились плечистые парни, то ли спортсмены, то ли рэкетиры, а может быть, и то и другое. Оплывшие жиром и посеребренные сединой боссы в наслаждении пищей выуживали из глиняных горшочков клубчатые пельмени. Обычный ресторан, обычная по нынешним временам публика. Уваров никак не мог понять, откуда же в нем тогда возникло чувство режущего беспокойства, характерное для той породы мнительных людей, кто в каждом повороте судьбы видит худшее, а улучшения, иной раз выпадающие на его незавидную долю, относит к категории временных и случайных? Он отнюдь не был подобным прорицателем-пессимистом, тем более странно, что, когда они с Настей вошли в следующий зал, Уваров с парализующим ужасом увидел, что дурное предчувствие его не обмануло: за столиком на двоих, в профиль, прекрасная в чрезмерном выражении счастья на лице, сидела его разлюбезная супруга, а напротив какой-то тип, жуир из жуиров, нежно глядел ей в глаза и улыбался... Так вот отчего ты нервничала, когда я собирался уходить! Так вот почему в последнее время ты все чаще светилась задумчивым молчанием! Так вот откуда в тебе бодрая наигранность поцелуев и безразличное недовольство чувственных утех, все более редких и скоропалительных... Уварову стало холодно. Он все крепче и крепче сжимал Настино запястье, а она, не понимая, почему он встал как вкопанный, пыталась выдернуть руку и не могла. Что с тобой, Уваров, спросила она, почему ты так побледнел, сердце, да? Сердце, Настюша, сердце. Здесь очень душно, просто нечем дышать. Ну, так уйдем, мы же договорились, что уйдем, если не понравится. Уйдем, уйдем, конечно. Отвратительное заведение. Клоака. Шалман. Смотри, сколько гнусных рож! Сколько жестоко смеющихся ртов и глаз, бесстыдных движений рук и откровенного, до цинизма, блаженства! Невыносимо. Как тебе вон тот пожилой гусь, поглаживающий по щеке увядшую блондинку? Ну и парочка! На что они оба рассчитывают, а? Жизнь кончена, осталось протянуть по инерции десяток-другой лет, осталось

только подвести кое-какие итоги — и с чистой совестью предаться воспоминаниям. Так нет! Они разыгрывают влюбленных. Уйдем отсюда! В Уварове что-то неприятно дернулось, он сделал оборот и направился к выходу, натуживая волю, чтобы не вернуться и не наделать глупостей. Его душевное равновесие было основательно нарушено. Нанесенное ему оскорбление задело за живое, но не раскрыло глаза на главное: насколько приемлемы измены с точки зрения изменника, настолько же они вульгарны, если изменяет партнер.

На улице он кое-как пришел в себя. Планы мщения, один другого грандиознее, зрели в его растревоженном сознании. Сегодня же он объявит о разрыве. Только не надо показывать вида, что он знает все. Это его решение уйти, его собственное. Он давно уже жил с ним и не осуществлял потому, что жалел ее, увядшую блондинку, родившую ему двоих детей, которых он любил и любит больше всего на свете. Но теперь кончено. Дети стали взрослыми, они поймут, кто прав, кто виноват. Он будет помогать им материально, но жить будет с другой женщиной. С Настей. Настя, ты пустишь меня к себе? Ты сошел с ума, Уваров. Ты вообще сегодня какой-то странный. На тебя определенно действует весна. Уж я-то знаю, что ты никогда не уйдешь от своей благоверной... А вот и уйду!!

Арбат — узкая колея между Смоленской и Арбатской площадями — блестел как ни в чем не бывало самоцветами свежевыкрашенных низеньких домов. Ему не было никакого дела до разгуливавших по его брусчатке людишек, он жил сам по себе, для себя и благодаря себе. Он снисходительно терпел и тех, кто занимал его бордюры дешевой мазней и аляповатыми поделками, и тех, кто приходил сюда пялиться на эти «шедевры». Вытерпел он и Уварова с Настей, которые еще раз прошли через него, но в обратном направлении. Арбат ко всем милостив!

Пойдем, дернем за ручку, отбрасывая неприятные думы, предложил Уваров; а где?—спросила Настя, в Новоарбатском гастрономе, на втором этаже, испытаем фортуну, а? Настя весело наморщилась: думаешь, повезет? сколько в Адлере просадили — ужас! пустяки, зато сколько удовольствия, когда выигрываешь, на моей памяти это было всего один раз, подколола она его, стрельнув синими, косо жмурившимися от солнца глазами, я еще в аэропорту выиграл, похвастался Уваров, сто двадцать монет, и тут же не спустил их? не поверила Настя, честное слово, соврал Уваров, хотя на самом деле она угадала: самолет задержали на два часа, и от нечего делать он опять подобрался к аппарату и просадил и свой временный выигрыш, и оставшиеся деньги, и заначку на такси.

У игровых автоматов толпился народ. Наибольшим успехом пользовался покер — на каждый аппарат приходилось по пять-шесть человек, которые по очереди бросали монеты, нажимали на клавишу пуска, мгновенно оценивали выпавшую комбинацию и, заменив плохие карты, делали еще одну попытку получить выигрышный вариант. Когда Уваров с Настей появились там, кто-то как раз сорвал крупный куш и автомат с пулевым свистом щедро рыгал монетами в металлическую чашу. Ого, с завистью произнес Уваров, кому-то подфартило. Счастливчик уже рассовывал деньги по карманам; а как насчет шампанского, настоятельно напомнили из его окружения, пожалуйста, мне не жалко, отвечал счастливчик, продолжая прятать деньги, ну-ка гони монету, почти угрожающим тоном потребовали у него, ради Бога, только не давите на психику, я сам, как же, от тебя дождешься, выкручивая везунчику руку и отбирая часть выигрыша, поставил в этом споре точку алчущий шампанского. В толпе злорадно засмеялись. Ну и манеры, покачал головой Уваров, как на Клондайке, вон свободный автомат, сказала Настя, показывая на последний в длинной солдатской шеренге «одноруких бандитов», я пойду займу его, а ты меняй деньги, хорошо, сказал Уваров, прикидывая в уме, сколько требуется проиграть, чтобы, с одной стороны, игра не выглядела скоротечной, а с другой — не нанесла существенного удара по его финансам. Ибо по опыту знал, сколь ненасытен бывает азарт.

Он заметил сына возле автомата, который стоял рядом с разменной кассой. Среди своей «команды» сын был самый молодой. Когда он тянулся посмотреть, что происходит на экране, из-под джинсовой курточки, купленной ему прошлым

летом, выпирали ключицы. Он ужасно волновался и казался чужим. Тоже мне, игрок, подумал Уваров, пятнадцать лет всего, а туда же! Словно доказывая, что он здесь не просто так, отпрыск вдруг сердито заорал: дайте мне, теперь моя очередь! Пустите Митьку, пробасил кто-то, у него счастливая рука. Сын протиснулся меж двух амбалов, опустил в щель монету и нажал пуск, после секундной паузы все стали крикливо подсказывать, какие карты оставлять, а какие нет (да не даст она после бубновой пятую пику, сам знаю, не маленький), а потом ажиотаж схлынул (козел ты, Митька, не умеешь нажимать), и из темной гущи вертикальных тел понуро вылезла джинсовая курточка и повернулась к Уварову спиной, а к автомату пуговицами. От этого зрелища у Уварова даже защипало в глазах. Он потер их кулаком, подумал, надо ли подходить к чаду, и решил, что — нет, сейчас не стоит, он лучше потом поговорит с ним, дома, в более спокойной обстановке, когда рядом не будет ни Насти, ни Митькиного окружения, которые безусловно мешали бы отцовским наставлениям, к тому же сейчас он и сам станет грешен тем же грехом, вспомнил Уваров, бочком подходя к кассе и разменивая четвертак.

Потом они играли — по пяти линиям,— но восторженного состояния не было даже тогда, когда выпало три колокольчика. Уваров меньше всего думал об игре, и, быть может, поэтому им везло, вслед за колокольчиками явились три вишенки, надо сматываться, сказала Настя, но он не внял и продолжал всовывать в аппарат монету за монетой, и этот алчный зверь глотал их, словно больной булимией, изредка выплевывая поощрительные мелкие подачки, которым глупые людишки радовались.

Разумеется, машина вышла победителем, и в конце концов Уваров обнаружил в кармане пустоту, однако он расстроился вовсе не этому, а тому чувству бессмысленности окружающего и всего того, что он до сих пор делал, чувству, которое не покидало его ни на секунду. Разменять еще? спросил он Настю, довольно, я же говорила тебе, когда надо было уходить, мало ли что ты говорила, умница, раздраженно отмахнулся он и пошел к кассе (джинсовая курточка с выпирающими ключицами все еще толклась и на что-то надеялась), а когда вернулся к автомату, Насти не было, и какие-то три пацана уже кормили их монстра своими монетами. Уваров кинулся догонять ее. В Адлере так тоже было: однажды они поссорились, и пока он охлаждал пыл в Черном море, она собрала манатки и ушла. Только на другой день они помирились. Детский сад, сказал тогда Уваров, а ты, значит, плохой воспитатель, парировала она, и эта фраза больно кольнула его (при чем здесь возраст?), но он промолчал, чтобы не сеять новый раздор, потому что путевка заканчивалась через четыре дня и времени для размолвок не оставалось. Зато сейчас его было навалом, и, подумав так, Уваров резко сбавил ход; ему расхотелось быть в роли догоняющего, ибо тому, кто всегда догоняет, никогда не суждено вырваться вперед. Уваров вдруг повернул вправо и вновь оказался на Арбате. Зачем? Что еще он хотел увидеть там? Вряд ли он смог бы ответить на этот вопрос, если бы кто-нибудь его задал. Он просто шел куда глядели глаза, а глаза смотрели на круглые розовые плафоны уличных фонарей.

Арбат по-прежнему был запружен самой разномастной публикой. Длинноносый молодой человек с черными завитками волос, собрав вокруг себя довольно густую толпу, травил еврейские анекдоты. В десяти шагах правее другой массовик-затейник показывал фокусы. Парочка старшеклассников играла поперек улицы лохматым мячиком в теннис, ничуть не тушуясь прохожих, через головы которых они забавлялись. Никому, казалось, никакого дела друг до друга — и в то же время все делалось напоказ, на продажу. Каждый творит что может, и никто — то что надо. Вот принцип, по которому скроен Арбат! Сделав это маленькое открытие, Уваров почувствовал, как в нем успокаивается раздражение, тихо и мужественно, как, должно быть, укладывается в своей келье спать отшельник, произнесший на ночь молитву и, стало быть, подведший итог сегодняшнему дню.

Уваров взял в ларьке порцию сосисок и, макая в кровавую лужицу соуса, со смаком съел и запил ехидно шипящей пепси-колой. Быстро, сравнительно дешево и почти вкусно, констатировал он, тщательно вытирая губы платком.

Что ли, прошвырнуться еще раз по Арбату? Пошиваться возле «Русских пельменей», глядишь, удастся кое-кого подловить... Хотя — зачем? Чтобы увидеть, как дражайшая супруга моментально пойдет пигментными пятнами испуга? Удовольствие ниже среднего. Все и так ясно, как Божий день. Странно — он перестал испытывать к ней злобу, совершенно перестал, чувствовалась только легкая печаль по двадцати трем совместно ухлопанным годам: их было слишком много, чтобы бесславно выбросить из памяти, а посему их надлежало помнить всегда, а значит, они отравят дальнейшее существование, как пить дать отравят. По какому, спрашивается, праву? Почему именно с ним такое приключилось? В чем его конкретная вина? Он жил как большинство: вовремя женился, когда надо отслужил в армии, потом не без помощи родного дяди устроился на неплохую работу и честно зарабатывал деньги, из которых определенную толику отдавал матери, произвел на свет сына (азартного игрочишку, как выяснилось) и затем дочь, любимицу... Дочь — вот почему его тянуло сюда! Сбылось, сбылось-таки еще одно недоброе предчувствие! Вот она! Поглядите! Юная потаскушка сидела на коленях у какого-то патлатого сального акселерата и, обняв его голой рукой, бесстыдно целовала на виду у всех окружающих. Уваров зажмурился, потом открыл глаза (надеясь, что наваждение исчезнет), грустно поглядел на обвитый кожаным обручем лоб девушки, так похожей на его дочь, повернулся и, шаркая, как старик, ногами, стал удаляться в неизвестном ему направлении, ибо все вокруг вдруг потемнело, как перед грозой, пропали звуки и запахи, и все мысли тоже, и все, что было до этого, — потерялось, сгинуло, провалилось в тартарары, и идти было некуда, да и незачем, разве что купить где-нибудь лимонку, выдернуть чеку и пустить катиться веселой кеглей по этой погибельной улице... Но даже этого, честно признаться, не хотелось.

Раздирающая пустота в груди, съеденный зубами стон, больно бьющее в грудь сердце... Улица каким-то обманным образом все тянулась и тянулась, идти по ней Уварову было трудно, но он старался изо всех сил, двигал поочередно ногами, делал отмашку руками, дышал часто и глубоко; откуда все эти дома, безусловно, арбатские, но такие неузнаваемые? И почему не приближается площадь с круглым красным зданием метрополитена? Все это мираж? как и та старушка, похожая на мать, которая просит милостыню, сидя жалким нахохлившимся комочком у дверей аптеки: это ты, мать? почему ты здесь? как ты сюда попала? Старушка безмолвно подняла голову и поглядела на него пустыми, блеклыми глазами, и Уваров в ужасе отшатнулся, и помчался по бесконечной улице, спотыкаясь о выщербленную брусчатку, не замечая, что дорога круто пошла вверх, так что вскоре ему пришлось уже карабкаться, как скалолазу, но он лез, упорно преодолевая притяжение грешной земли, чувствуя, что для него это единственный шанс спасти душу, он задыхался и едва не терял сознание, он боялся оглянуться, он видел только свет над головой, и этот свет был для него спасением...

СТАРУХА И БРИГАДИР

— Я на своем веку достаточно повидал,— начал бригадир рабочих Митинского кладбища Егор Жеребцов, пригубив из граненого стакана портвейн, взятый у барыги для аппетита,— можно сказать — знаю жизнь во всех ее подробностях. Один вопрос открыт: как оно там,— он показал глазами куда-то наверх, — какие порядки? Лично я, конечно, в вечную загробную жизнь не особо верю. Кому мы там нужны? Ну, посудят, само собой, дадут какое-никакое наказание, а после снова жить отправят. Не исключено, что на другую планету. Мне один сказывал: Земля — это штрафбат для никудышных душ. Самое отребье к нам направляют. Потому и жизнь тута скотская. Ну, а если кто умудрится прожить праведником, тому вдругорядь получше планетку подыщут. Так вот.

Он допил портвейн и передал стакан рябому рабочему, слушавшему бригадира разинув рот. Третий собутыльник не мешкая наполнил емкость до края.

— Так ежели Земля — штрафбат, может, ну ее к лешему? — высказал предположение рябой.— Взорвать со всеми потрохами, тогда и присылать будет некуда!

— Пей, придурок, — гаркнул третий. — Землю ему взорвать... Они тебя за это в такую планету определят — кровью харкать будешь!

Бригадир, хитро сощурившись, закурил папиросу.

— Не, мужики. За всех решать невозможно. Некоторые очень даже приспособились, к штрафбату нашему...

— Паханы,— согласно кивнул третий.

— Вот-вот... Для себя вопрос решить — это пожалуйста. Закрыть, так сказать, свое персональное дело имеет право каждый!

— Это как? — не понял рябой.

Бригадир приставил палец к виску и произвел языком кокающий звук, заставивший всех призадуматься.

— Хотя не исключено, что там,— он снова показал глазами вверх,— это может считаться за побег. И обратно сюда, в кого похуже...

Все засмеялись. Рябой залпом опорожнил стакан, крякнул и передал тару третьему. Тот сразу же налил и махнул сам. Наступила пауза, в которой, казалось, было слышно, как расходится по желудкам огненная жидкость. До обеда оставалось минут двадцать, торопиться было некуда, настроение располагало к разговорам.

— Мда,— задумчиво проговорил бригадир, пыхая папиросой,— был у меня однажды такой случай. До сих пор мурашки по коже бегут, когда вспоминаю. Никому не рассказывал — боялся, привлекут. Но сейчас, думаю, можно. За давностью простят, если чего.

Устроившись поудобнее, рабочие приготовились слушать своего бригадира.

— Получили мы, значит, задание на седьмом участке могилу вырыть. Участок старый, плотно заселенный, там, как вы понимаете, надо сначала посмотреть, годится ли он, есть ли место для нового жильца, а потом уж ковыряться. Приходит хозяйка — старушонка, еле душа в теле держится. Показывает. Место неудобное, развернуться негде. Крест один-одинешенек стоит, на нем надпись — Федор Лукич Лазейкин. Судя по дате, отдал Богу душу шестнадцать лет назад, так что все в порядке, подселять можно. Мы, естественно, артачимся, чтобы цену набить, на ясень тычем, который неподалеку растет, дескать, корни будут мешать, в общем, обычная обработка клиента. А старушка и не думает спорить. «Сколько, говорит, ироды, просите за все про все?» Тогда цены, естественно, были другие, намекнули мы на полста, а старушка улыбнулась так загадочно и говорит: «Ладно. Сделаете все хорошо, еще и бутылку поставлю».— «Не волнуйся, говорим, мать, все будет в ажуре. Разделяем твое горе, и все такое...» — «Да, может, это никакое не горе, а радость»,— отпускает она и вовсе загадочную фразу и ковыляет с кладбища прочь.

Поплевали мы на руки и взялись за лопаты. А у меня все из головы нейдет: как это, смерть — в радость? Кого же это она собирается хоронить, думаю, чтобы ей было в радость? Наверное, супруга ненавистного. Опостылел ей пьяница окаянный, дрался небось каждодневно, безобразничал, а побаливать стал — весь изнылся, искапризничался, требовал ухода и внимания. От такого избавиться — одно удовольствие. Чем не награда за мучения — пожить хоть остаток лет в свое удовольствие? В общем, картина ясная.

А потом думаю — нет, не то. Здесь же мужик захоронен, вот он, наверное, ей супругом и был. На второго она вряд ли сподобилась, не тот коленкор. Стало быть, что-то здесь не так.

Вечером у смотрительницы Наташки поинтересовался: «Кого это на седьмом завтра хоронят?» А она: «А тебе очень надо?» Очень, не очень, а любопытно! Наташка меня знает—если пристал, ни за что не отстану. Характер такой. Про меня все кладбище знает — со мной лучше не спорить. Пришлось ей в списки глянуть. А там указано: Марфа Лукинична Лазейкина. Стало мне тут все ясно-понятно. Золовка! С этим народом, скажу я вам, ужиться тяжко. А если еще и старая дева — невозможно. Словом, этот вариант тоже знаком.

Ладно. На другой день стоим у могилки, дожидаемся. Жара, как сейчас помню, адова, поэтому все наши помыслы — о пивке, за которым мы, кстати, одного уже послали. Да хозяйка, коли не соврала, бутылку даст. Нормальный разгон! Да еще полтинник на четверых... По тем временам приличные деньги.

можно было в шашлычной хорошо посидеть, вина попить. В общем, ждем, как ждет любовник молодой минуты верного свидания. Эти стихи такие, не помню только, кто написал, в школе учили.

Является старуха. «Что, спрашивает, ироды, готово?» Готово, отвечаем, мать, сама видишь — старались не за страх, а за совесть. «Ну раз вы, говорит, о совести заговорили, смотрите, не обманите. Вот вам сто двадцать пять рублев, последние деньги, вот вам бутылка на помин души, все бумаги...» — «А бумаг нам не надобно,— говорю я ей,— бумаги у душеприказчика оставаться должны». Старушка глянула на меня, да так, что у меня, ей-Богу, мурашки по спине побежали, и прошамкала: «Вот ты и будешь моим душеприказчиком!»

Я сначала не врубился. С чего это вдруг меня чьим-то там душеприказчиком сделали? Но когда четверо парней, скорее всего студентов, сосновый гроб принесли пустой и молча, словно призраки, исчезли, до меня как сквозь туман дошло, что затевается не совсем обычное захоронение, однако кого именно будут хоронить, в тот момент я еще не понял. И никто из ребят не понял. Стоим мы, значит, зенками лупаем, а старушка между тем достает из сумки простыню, ленту христианскую на лоб и говорит: «Подсобите, ироды, в гроб влезть!»

Тут мы наконец скумекали. «Да ты что, мать, очумела? — заорал Санек, а у самого из рук лопата выпала — от страха, должно быть,— неужель ты думаешь, мы тебя живехонькую в землю зароем?!» А старушка кротко так вздохнула и сказала: «Да помру я сей момент, последнюю минутку воздухом дышу. Видение мне было о дне и часе кончины. А кто позаботится о похоронах? Одна век куковала, брат был, да шестнадцать годов назад помер, а больше родственников никаких нет. Вот я и надумала сама все хлопоты соблюсти. Вплоть до могилки. А уж землицей вы меня как-нибудь забросаете».— «А отпеть?» — спросил я, с трудом отлепив язык от гортани. «Отпела я себя, не волнуйтесь,— говорит старушка, ласково улыбаясь.— И поминовение заказала. Бог поймет, примет. Вы меня в гроб сейчас положите, и покуда я преставлюсь, бутылочку-то и охмурите. Закуску я вам припасла, в сумке лежит».

То ли жара на нас так подействовала, то ли просто выпить хотелось, короче, положили мы старуху в гроб, а сами сели поодаль, откупорили бутылку и разложили на газетке бутерброды. В кончину ее никто, само собой, не поверил, однако почему бы не опрокинуть по стаканчику, коли предлагают? А тут и Серега подоспел с пивом. Совсем хорошо стало. Тянем мы пивко и вполголоса разговариваем, будто рядом и вправду покойник лежит. О старухе не вспоминаем. И сколько так просидели, сказать трудно, но прибегает тут Наташка, и давай браниться: совсем, говорит, офонарели, алкаши хреновы, вместо того чтобы дело сначала сделать, они ханку жрать затеяли!

А Санек тоже разозлился. «Да кого хоронить-то?— кричит.— Я не нанимался, чтобы живых закапывать!» Наташка глаза вытаращила. «Как это — живых? Вы что — с ума посходили? Всех уволю к такой-то матери!» В общем, базар-вокзал.

Не помню, кто первый решил на старушку посмотреть, не я точно, только вдруг завопил этот любопытный во все горло: «Эй, мужики, валите сюда, старуха сандали откинула!» Тут, естественно, свара прекратилась, кинулись мы к гробу, а в нем лежит, скрестив на груди руки, наша бабушка — мертвее не бывает, и на лице у нее такая благодать, какая снисходит на всех покойников, умерших счастливо и без мучений.

Лично с меня хмель моментально соскочил. На остальных, наверное, подействовало так же. Забегали мы, засуетились. Серега зеркальце притащил, чтобы проверить, есть ли дыхание, я предложил вызвать врача, а Наташка говорит: «Не дурите, мужики! С того света еще никого не возвращали. Что ее, в анатомичку тащить? И потом опять сюда же? А кто будет с ней возиться? Бы, что ли? За похороны уплачено, нечего тянуть киску за пипиську! Закапывайте ее, и дело с концом». Взглянул я на Наташку и понял, что старуха и ее тоже хорошо забашляла. Повязала нас упокойница своими деньгами! Что ты будешь делать? Не выполнить последней просьбы нельзя, и выполнить тоже как-то... ну, не совсем нормально, что ли. Почесали мы репу, покочевряжились маленько, а затем накрыли гроб крышкой и...

На этих словах Егор Жеребцов замолк, предоставив слушателям, людям в похоронах искушенным, самим дорисовать в воображении конец истории. Время обеда уже наступило. Было видно, как в безветренной голубой вышине таял столбик белесого дыма. Словно чья-то душа устремилась вверх, к освобожденью.

— А вдруг она еще живая была, а, Егор? — тихо спросил рябой.

— А вдруг мы все уже мертвые, а? — раздраженно возразил бригадир, свирепея на глазах.— Умник выискался... Посмотрел бы я на тебя тогда! Чё нам с ней было делать, как не в землю?!

Поняв, что спорить бесполезно, рябой успокоился. Третий рабочий встал, с хрустом потянулся.

— Ну что, пошли в столовку? — Рассказанная история ничуть его не тронула: на его лице было написано полнейшее равнодушие.

— Пора,— сухо скомандовал бригадир, тоже поднимаясь.

Жеребцов шагал тяжело, крупно. На выходе с кладбища он остановился и, ни к кому особенно не обращаясь, произнес не без удивления:

— И вот сидит эта история во мне, как лом в голове — и ни туда ни сюда!

ПОЭЗИЯ

Русский Вийон

О Франсуа Вийоне мы знаем: французский поэт (год и место смерти неизвестны), воспитывался приемным отцом, убил в драке священника, сидел в тюрьмах, связал свою судьбу с воровскими шайками, участвовал в кражах и ограблениях, был приговорен к повешению. Биографы отыщут совпадения с поправкой на прогрессивность эпохи: кражи личного и государственного имущества, торговля живым товаром, шантаж респектабельных совлюдей (под угрозой заражения сифилисом), съемки порнофильмов, тюремные «психушки» — наша, отечественная помойка.

Русского Вийона зовут Сергей Чудаков.

Да возможно ли это? Жизнь посвятил стихам и был равнодушен к их судьбе. Писал на чем попало — на оберточной бумаге, на уворованных (у приятелей или из «Ленинки») книгах, а то и просто диктовал их по телефону кому-нибудь из благополучных знакомых. Стихи отправлялись в путешествие, наподобие записки, которую терпящий кораблекрушение запечатывает в бутылку и без особых надежд бросает в море. Знаю, что часть стихов могла сохраниться у кинокритика С., другая же до недавнего времени была у меня. Показательно, однако, что, хотя к услугам тонущего были комфортабельные плавсредства в образе многочисленных газет и журналов, выходивших «за бугром», Чудаков не сделал ни одной попытки воспользоваться ими (но охотно дал крутое телеинтервью Би-би-си, кажется, в 1971 г.).

Пора сказать, кого мы проиграли.

Чудаков рано понял, что его дар, его жадно поглощавший знания о мире мозг были не нужны совобществу, которое отторгло его. На третьем курсе факультета журналистики МГУ, будучи профоргом, он сумел провести студенческое собрание, потребовавшее отстранить от чтения лекций наиболее бездарных преподавателей, и с волчьим билетом был изгнан из альма матер. На этом казенное его образование завершилось. Он сделался завсегдатаем редакций газеток и тонких журнальчиков, осаждал и солидные издания. Стоило поглядеть, как он сидит на подоконнике, забрасывая незнакомого посетителя тучами маленьких глупостей, и вдруг в ответ на серьезное замечание затыкает ему рот чем-то таким, после чего и пошевелиться нельзя, не порезав язык. Талант его изредка проблескивал, прорываясь, например, в «Московском комсомольце» (без преувеличения, замечательная рецензия на убогий фильм — «Вместо Сурикова» или интервью с Ильей Эренбургом), но чаще подавлялся на уровне рукописи (не пошедшая по воле боссов «Юности» — престарелых чиновников Преображенского и Железнякова статья о нашем мрачном телевидении «Зрачок гиганта»).

Чудаков тогда уже не контачил с совлюдьми.

Помню, привел я его в благополучный журнал «Вопросы литературы» и неосмотрительно оставил в коридоре на четверть часа. Мы писали в те поры с ним обзор поэзии за 1959 год (любители древностей могут найти эту статью, появление которой, даже в усеченном виде, тотчас же вызвало грубо-барский окрик в «Правде»). Когда я вернулся от любезной Кацевой, которая руководила в «Воплях» отделом совлитературы, то узрел, что мой девятнадцатилетний герой схватился в жаркой перепалке. И с кем? С самой Тамарой Лазаревной Мотылевой, несгибаемым борцом за соцреализм и чугунные принципы коммунистической морали. Я не успел даже приступить к роли миротворца: Мотылева резко повернулась от Чудакова и, стремительно сокращаясь в размерах, брызнула прочь по коридору.

— Что ты ей сказал? Чем ты ее напугал? — подступился я.

— Ничего особенного, — несколько манерно растягивая слова, отвечал Чудаков. — Я просто объяснил ей, как отношусь к так называемой «советской литературе». А она возмутилась: «Молодой человек! Вы никогда не были за границей! И поэтому не знаете, что существует два лагеря...»

— Ну, и что?

— Я только возразил: «Вы знаете, я никогда не был за границей. Но я прожил восемь лет в Магадане. И видел там не два лагеря, а значительно больше».

Да, Чудаков родился в Магадане, в семье начальника лагеря, и прожил там до восьми лет. Он помнил, как зеки убили его пятилетнего сверстника, держали трупик в проруби и, регулярно упражняясь в каннибализме, спасали свою грешную плоть. Видимо, оттуда, из детских лет, рвался, не прерываясь, в стихах безответный вопль к Небу:

Остались мы с носом, — остались вдвоем,
Как дети, к дадошке — дадошка,
Бессмысленность — принцип, в котором живем,
И жизнь — составная матрешка.

Заманят, заплатят, поставят к стене —
Мочитесь и жалуйтесь Богу.
О, брат мой, попробуй увидеть во сне
Убийцу и труп понемногу.

Писал ли Чудаков политические стихи? Нет, он презирал политику и политиков, хотя многие его строки нашими полуинтеллигентами (жертвами образованщины, если воспользоваться словцом Солженицына) могут прочитываться именно сквозь политическую амбразуру. Да вот хотя бы начало сонета «Вниз по матушке», посвященное путешествию по Волге одного выдающегося россиянина, которого мы обозначим литерой «П» и который свой вояж начал с Симбирска:

Ильич отсель, наш агнец лысоватый.
Был вундеркинд, а ныне экспонат.
Висел в петле его мятежный брат.
Играла мать кучкистские сонаты.

Чудаков был воистину юродом нашего века, соединявшим в себе плутовство, талант и сумасшествие. Хитроумие позволяло ему до времени выскальзывать из расставленных на пути силков и крысоловок. Он обладал замечательным даром возвращать слову его докадаврную первородность. Однажды, когда мы шли через Москворецкий мост, Чудаков схватил меня за рукав и с ужасом неподдельным воскликнул:

— Гляди, какая страшная надпись! — он сделал движение, словно раздирая что-то руками: — «От-де-ле-ни-е свя-зи»!

В романе «Час разлуки» я попытался поймать какие-то его черты на кончик пера, назвав Смехачевым. Где он сейчас? Бог весть! Жив ли, а если жив, то на свободе или в очередной Сычевке? Но пусть эта публикация по памяти (папку со своими стихами он отобрал у меня, и она, наверно, погибла) будет ему приветом. А стилистические неточности исправят время и люди.

Олег МИХАЙЛОВ.

СЕРГЕЙ ЧУДАКОВ

* * *

В Министерстве Осенних Финансов
Черный Лебедь кричит на пруду
о судьбе молодых иностранцев,
местом службы избравших Москву.

Вся Москва, непотребная баба,
прожигает свои вечера.
На столах серпуховского бара
отдается ее ветчина.

Франц Лефорт был любитель стриптиза:
«всье дела» он забросил в сортир,
и его содержанка актриса
раздевалась под грохот мортир.

Табакерка не выдаст секрета,
охраняет актрису эмаль.
Музыкальная тема портрета
до сих пор излучает печаль.

В Ассамблею, на верфь и на плаху
не пошлет маркитанки рука.
Отчего же я морщусь и плачу,
не вдохнув твоего табака?

Муравейник

Этот бред, именуемый миром,
рукотворный делирий и сон,
энтомологом Вилли Шекспиром
на аршин от земли вознесен.

Я люблю театральную складку
ваших масок, хитиновых лиц,
потирание лапки о лапку,
суету перед кладкой яиц.

Шелестящим, неслышимым хором,
в мраке ночи средь белого дня
лабиринтом своих коридоров
волоки, муравейник, меня.

Сложим атомы в микрокристаллы,
передвинем комочки земли —
ты в меня посылаешь сигналы
на усах Сальвадора Дали.

Браконьер и бродяга, не мешкай,
сделай праздник для пленной души:
раскаленной лесной головешкой
сумасшедшую кучу вспаши.

* * *

Я тебя не ревную.
Равнодушна со мной,
ты заходишь в пивную:
сто знакомых в пивной.

В белых сводах подвала
сигареточный дым,
без пивного бокала
трудно быть молодым.

Вне претензий и штучек,
словно вещи в себе,
морфинист и валютчик
и сексот КГБ.

Кто заказывал принца?
Получай для души
царство грязного шприца
и паров анаши,

заражение крови,
смерть в случайной дыре
выражения, кроме
тех, что есть в словаре.

Я не раб, не начальник,
молча порцию пью,

отвечая молчаньем
на улыбку твою.

Я — убийца и комик,
опрокинутый класс.
Как мы встретились, котик,
только слезы из глаз.

По теории Ницше
смысл начертан в ином —
жизнь загробная нынче,
а реальность — потом.

В мраке призрачных буден
рванувшись цвести,
мы воскреснем и будем
до конца во плоти.

Там судьба без подножки,
без депрессии кайф,
и тебя на обложке
напечатает «Лайф»,

словно отблески молний,
мрак судьбы оттеня:
это действует морфий
в тебе на меня.

* * *

В истории много пропущено,
но видится в ней интерес,
когда в камер-юнкера Пушкина
стреляет сенатор Дантес.

Не как завсегдатай притонов,
за честь, а отнюдь не за чек,
прицельно стреляет Мартынов,
честняга, простой человек.

Нет, это не мальчик влюбленный
и даже не храбрый Мальбрук,
а просто поручик Соленый
с особенным запахом рук.

Внизу мелкота копошится,
под нею белеет гора,
в истории всюду вершится
убийство во имя добра.

Пусть это пройдет в отголоске,
какой-то вторичной виной:
расстрелян в советском Свердловске
один император смешной.

И вот уже новая школа,
строкою в поток новостей:
расстрелян наследник престола.
Почаще стреляйте в детей!

На площади или в подвале,
в нетрезвом матросском бреду,
мы раньше людей убивали,
теперь убиваем среду.

Как сказочно гибнет принцесса,
реальная кровь на стене.
Смертельные гены прогресса
трепещут в тебе и во мне.

* * *

Когда я заперт в нервной клинике,
когда я связан и избит,
меня какой-то мастер в критике
то восхваляет, то язвит.

Направо — стиль, налево — образы,
сюда — сравненье, там — контраст.
О Боже! Как мы все обобраны!
Никто сегодня не подаст.

* * *

Мы с вами повстречались на коктейле
в посольстве слаборазвитой страны.
Мои манеры были так корректны,
а ваши ноги дьявольски стройны.

А тут еще бесплатные напитки,
бесплатная зернистая икра,

а тут еще бесплодные попытки
достать до завтра полтора рубля.

И сразу страсть безумная объяла
меня и захлестнула, будто плеть.
Ваш муж, меня приняввши за нахала,
вовсю меня пытался оттереть.

А я представил ночь и солнце юга,
вина со льдом приносит нам стюард,
и ты лежишь, прекрасная подруга,
в купальнике с отделкой «леопард».

Ваш муж ушел и с кем-то он вернулся,
и этот кто-то сделал строгий знак.
Рванул я на балкон и завернулся
в довольно пестрый иностранный флаг.

Вас увезли в большом автомобиле.
Меня рвало. Не находил я слов.
Как будто бы в живот ногами били
десятки слаборазвитых послов.

Провал в любви — причина недовольства.
Отныне — черный цвет в моей судьбе.
С тех пор я больше не хожу
в посольства
и не ищу конфликта в КаГэБэ.

* * *

Ипполит, в твоем имени камень и конь,
ты возжег в чреве Федры, как жженку, огонь.
И разбился, как пьяный, свалившийся в лифт,
персонаж неолита, жокей Ипполит.

Колесницы пошли на последний заезд.
Зевс не выдаст, товарищ Буденный не съест.
Только женщина сжала программку в руке,
чуть качнула ногою в прозрачном чулке.

. . . .

— Я люблю тебя, мальчик, — сказала она, —
вожделением к мертвому я сожжена,
мне осталось напиться в ресторане «Бега»,
мне осталась Россия, печаль и снега... *

---

* Стихотворение печатается в сокращении. Пропущенную строфу редакции восстановить, к сожалению, не удалось.





ЮРИЙ КОЗЛОВСКИЙ



РАССКАЗЫ

ПАВОДОК

Панин последний раз крутнул лоток, выплеснул из него воду с остатком песка, и в углублении деревянной посудины тускло блеснули четыре желтые крупинки. Негнущимися, застывшими в ледяной воде пальцами он с трудом извлек золото и спрятал в плоскую металлическую коробочку, где уже позвякивали десятка два таких крупинок и парочка мелких самородков. Панин сунул лоток под мышку и пошел к Трофимычу, который ковырялся в трещинах черной скалы выше по ручью.

— Ну, что у тебя? — спросил он, присев на камень.

Трофимыч открыл коробочку, такую же, как у Панина, и показал несколько маленьких, со спичечную головку, самородков.

— Хорошее место,— тихо сказал он, глядя мимо Панина, будто разговаривал сам с собой.— Паводок нужен. Паводок сойдет — пойдут дела.

Панин знал, что поток паводковых вод смоет с бортов распадка тонны породы, пронесет их по руслу ручья и оставит в бесчисленных трещинах черного скального ложа золотые песчинки, которые им останется только собрать. Но, как назло, уже две недели над дикими горами, обступившими угрюмую Индигирку, нещадно палило солнце, и только холодные ночи напоминали, что это Крайний Север. Они с Трофимычем пятый день ковырялись в распадке, добыли

КОЗЛОВСКИЙ Юрий Николаевич родился в 1952 г. в Бобруйске (Белоруссия). В этом году он закончил Литературный институт. Публикуемые рассказы—его дипломная работа. Как и всякий природный прозаик, Ю. Козловский пишет о том, что хорошо знает. Его проза естественна, как когда-то говаривали, натуральна. Она сурова по своей общей тональности, как сурова колымская земля, на которой живут и автор, и его герои. Я знаю Ю. Козловского пять лет по семинарским занятиям в институте. Все эти годы подающий большие надежды прозаик шел, что называется, по восходящей. Хочется пожелать ему того же и на всю грядущую творческую жизнь.

(Семен Шургаков).

уже около двухсот граммов, и Панин рад был бы смыться отсюда, пока не застукали, но не осмеливался и заикнуться об этом напарнику. Днем они мыли золото, а ночевать уходили через сопку в соседний распадок, где от старого, заброшенного стана старателей сохранился один полуразрушенный балок с законопаченными мхом бревенчатыми стенами и проржавленной печуркой, сделанной из железной бочки. Печь они не топили, пищу готовили на маленьком костерке. Хотя жгли его из самых сухих дров, которые почти не давали дыма, все равно, соблюдая осторожность, разводили его под самой сопкой, где дымок сливался с серыми, покрытыми лишайником камнями.

Место, где они промышляли, находилось под самым перевалом, а внизу, всего в пяти километрах, лежал поселок приискового участка, хорошо знакомый Панину — он прожил там полтора года. Это еще больше усиливало не оставляющее его в последнее время чувство нереальности, абсурдности происходящего. Там, внизу, было человеческое жилье, знакомые люди, он же прятался от них, боясь встречи, ночевал на голых досках, вздрагивая от каждого шороха. А теперь, после того, что произошло два дня назад, боялся Панин и своего напарника Трофимыча.

Они ковырялись тогда в ручье, когда вдруг Трофимыч насторожился, словно почуявший что-то пес, и быстро увлек Панина в нагромождение камней. Осторожно выглянув, Панин увидел двух человек, медленно идущих вверх. До них было не менее полукилометра, и Панина поразило, как Трофимыч смог почуять их на таком расстоянии. Сам он ничего не видел и не слышал.

Когда люди подошли ближе, Панин узнал одного из них — это был Харченко, электрик из поселка. На плечах у него висели монтерские когти. «Совсем не изменился за эти годы!» — отметил про себя Панин. Второго, совсем молодого паренька, он не знал.

Они остановились метрах в тридцати от того места, где прятались Панин с Трофимычем. Харченко надел когти и полез на покосившийся столб, на котором были натянуты телефонные провода. Панин затаил дыхание: если снизу их не было видно за камнями, то со столба Харченко мог их заметить.

Слева послышался тихий щелчок — Трофимыч взвел курки двустволки и навел ее на Харченко. Ружье было не простое — в одном из стволов была нарезная вставка, позволяющая стрелять патронами от карабина. На таком расстоянии не промахнешься... А в том, что Трофимыч будет стрелять, Панин не сомневался, увидев его глаза. Обычно блеклые, невыразительные, сейчас они хищно сузились и застекленели. Панину стало страшно и жалко Харченко — неунывающего весельчака и безропотного работягу. Трофимыч почти касался прикладом его плеча, и он решил — если тот попытается стрелять, он ударит по стволам снизу, а там будь что будет...

Но Бог берег Харченко. Он полез на столб с внешней стороны наклона, спиной к наведенной на него смерти. Долез до проводов, подцепил к ним полевой телефонный аппарат, крутнул ручку:

— Алло, телефонка! Нина! Как слышишь? Нормально? А прииск не отзывается... Наверно, дальше обрыв. Будем смотреть... За перевалом, видно... Слышь, Нин, ты моей скажи, что поздно вернусь. Что? Ага, ладно... Ну все, пока.

Харченко отцепил провода и слез со столба. Когда он оказался внизу и не мог уже их видеть, Панин перевел дыхание и почувствовал, что рубашка на нем стала насквозь мокрой от пота. Трофимыч опустил ружье на камень, но в глазах его все еще был тот испугавший Панина блеск. Панин вдруг вспомнил, у кого он видел такие глаза. Это было несколько лет назад, в следственном изоляторе. С ним сидел парень лет двадцати пяти, высокий, крепкий — мышцы так и играли на нем. Его обвиняли в убийстве трех человек. Те трое тайком мыли золотишко, так же как теперь они с Трофимычем. Парень выследил их, перестрелял из ружья и забрал золото. Он был похож на викинга — со светлыми золотистыми волосами и ярко-голубыми, но какими-то стеклянными глазами. Его приговорили к расстрелу...

Харченко с напарником покурили, сидя у столба, и пошли вверх, к перевалу. Поднимались они долго, около часа, и все это время Панин с Трофимы-

чем лежали за камнями. Потом, когда те скрылись за седловиной, они быстро вскарабкались на сопку. Панин думал, что Трофимыч поведет в балок, но наверху тот велел остановиться. Они просидели на вершине до позднего вечера, пока не убедились, что те двое вернулись назад.

После этого случая они стали еще осторожнее. Поминутно оглядывались по сторонам, не выходили на места, откуда был виден поселок. Хотя было далеко, Трофимыч сказал, что их могут случайно заметить в бинокль. Уходя из балка на промысел, мешок с продуктами и вообще все, что могло выдать их присутствие, прятали в камнях.

Панин знал, что эта встреча, в общем-то, случайность. Только лишь из-за того, что где-то оборвалась телефонная линия, сюда забрели люди. Место глухое, прииск — в тридцати километрах за перевалом, а в самом поселке жили всего полторы сотни человек, которым некогда разгуливать по горам: в разгар промывочного сезона они работали по двенадцать часов в день. Не заглядывали сюда даже вездесущие мальчишки, у которых летом было другое развлечение — наполненный водой неглубокий котлован. В жаркие дни вода в нем прогревалась, и его называли «купалкой».

На поселок Панин посматривал с тоской. Все-таки те полтора года, которые он прожил там, были хорошим временем — друзья, охота, рыбалка. И, наверно, дело дошло бы до свадьбы с Верой, дочерью участкового бухгалтера, если бы не арест... До чего же глупо все получилось! Молодой,— приехал на Север после армии, подзаработать, — неугомонный, жертвуя отдыхом, он облазил все сопки в окрестностях поселка. И однажды наткнулся на это место. Наковырял в трещинах самородков граммов на двадцать общим весом, положил в кошелек. Призадумался уже в поселке. Сдать самородки в золотоприемную кассу, по рублю за грамм — себе дороже обойдется. От опытных людей Панин не раз слышал: нашел — лучше выброси, потому что начнется — зачем ковырял, все ли сдал, сколько себе оставил. Затаскают... Но выбросить было жалко. Так и протаскал в кошельке с месяц примерно, пока не обронил кошелек в столовой. Взяли его быстро, и, как он ни доказывал, что не собирался присваивать золото, три года получил. Выпустили через два, условно-досрочно, но дальше опять не сложилось, будто черт какой взял Панина под свою опеку. Работал в дорожном управлении, ходил отмечаться в милицию, и надо же — как-то прилег вздремнуть после работы и проспал, не явился вовремя. Так инспектор примчался в общежитие, забрал, продержал всю ночь. Чем-то, видно, не понравился ему Панин, потому что сказал тогда:

— Все равно в зону пойдешь. Уж я тебя приловлю!

И сдержал слово. Панин тогда познакомился с Тоней, поварихой из столовой. Она была на несколько лет старше его, не очень красивая, но чем-то пришлась ему по душе. Встречаться из-за постоянных проверок, из-за того, что после десяти вечера Панин должен был находиться в общежитии, было трудно, но выкручивались. Как-то он остался у Тони на ночь, думал — пронесет, но просчитался. И инспектор упрятал-таки его обратно в лагерь как злостного нарушителя режима.

Ух, и злой же тогда стал Панин! И в первый-то раз посадили ни за что, а теперь? За то, что ночевать не пришел? Что это за преступление такое? Кому он горе этим причинил или ущерб какой? И за это полтора года сидеть? Это со стороны кажется, что полтора года — срок небольшой, а попробуй-ка, выброси их из жизни!

А тут еще беда, да пострашнее. Когда Панина во второй раз посадили, в Тамбове умерла мать. Больная была, вот сердце и не выдержало. Панин был осужден, комнату в коммуналке, где они с матерью жили, отобрали, и ему некуда и не к кому стало возвращаться, потому что отца своего он никогда не видел.

И тут Панин сорвался с катушек. Сначала отказался от работы, за что его сильно избили. Когда с ним стал разбираться начальник отряда, Панин распсиховался, обматерил его и был определен за это в штрафной изолятор. Там боль стала притупляться, вытесняясь злобой. Он ведь старался жить честно, а его за глупую случайность — в тюрьму! А почему не посадить того инспектора, что определил его сюда? Ведь избил он Панина хуже любого уголовника. Да бил-то как — спокойно, с передышкой, будто делал привычную, надоевшую работу. Он работал на них, а они убили его мать, оставили Панина бездомным.

Кто «они», Панин представлял себе смутно. «Они» сливались в абстрактный образ Начальства, тут был и начальник участка, вызвавший милицию, когда нашли его кошелек с золотом, и следователь, что вел его дело, и инспектор, и начальник отряда, и много, много других... И Панин решил: все, хватит! Больше он работать на них не будет!

Хотел жить честно, не поддавался на обработку, которую проводили в зоне со многими осужденными за золото. Еще когда сидел в первый раз, к нему подкатился один, из авторитетных, объяснил, почему он был дурак и почему попался. Объяснил, что в одиночку такие дела не делаются, а с умными людьми можно иметь хорошие деньги. Панин тогда отмолчался, ничего не обещал. В шизо, после всего, что случилось, злость и отчаяние изменили его. Ему просто некуда было деваться. А раз так, решил Панин, то нужно сорвать хорошие деньги, а потом сбежать, уехать, спрятаться от всех. Может, и наладится еще жизнь...

Выйдя из шизо, Панин сам подошел к Круглому, большому человеку на зоне. Круглый все знал про Панина, и того, первого, который его обрабатывал, знал, и какие разговоры вели. Именно он и нужен был теперь Панину, решившему выложить главный козырь — то самое место, где он нашел золото. Когда подошло время освобождаться, Круглый дал ему адресок, Панина свели с Трофимычем, под видом рыбаков довезли на моторной лодке по Индигирке и высадили на берегу, договорившись забрать в условленный день.

Ни имени, ни фамилии напарника Панин не знал: Трофимыч — и все. Лет около пятидесяти, был он не очень разговорчив и на первый взгляд неказист и невзрачен. Но как он преображался, когда шел по горам или управлялся с лотком! Наверное, человек живет настоящей жизнью, бывает самим собой именно в те минуты, когда занят делом, которое умеет делать хорошо. Ни одного лишнего движения не делал Трофимыч, отчего, кажется, никогда не уставал. Панин, будучи вдвое моложе его, не обиженный силой и здоровьем, с трудом поспевал за ним. А до чего он был чуток! Малейший подозрительный звук не ускользал от внимания Трофимыча, он сразу весь подбирался, настораживался, чем напоминал Панину осторожного и опасного зверя. Недаром для таких, как они, придумали название: хищники...

На что уж было жарко последние дни, сегодня — и вовсе настоящее пекло. Распадок внизу весь колыхался в струях горячего воздуха. Чуть уловимо пахло дымом от начавшегося где-то лесного пожара. Трофимыч достал несколько сухарей и плитку шоколада, половину отдал Панину. Молча перекусили, запили ледяной водой из ручья. Горячий ужин будет у них вечером — котелок каши с банкой тушенки и чай. Здесь костры они не разводили, чтобы из поселка не заметили дым.

После еды Панина разморило. Чтобы стряхнуть дремоту, он стал на четвереньки, опустил лицо в ручей и стал втягивать ломящую зубы воду. Вдруг Трофимыч толкнул его:

— Скорее!

Панин не стал ничего спрашивать, подхватил лоток и побежал за Трофимычем, пригибаясь за камнями. Они быстро достигли ложбины, заросшей кедровым стлаником, и спрятались в ней за каменной осыпью. Не понимая причины поспешного бегства, Панин недоуменно крутил головой, но ничего подозрительного не видел. Трофимыч железной рукой грубо прижал его к земле.

— Не дергайся! Вон там, видишь?

Панин посмотрел в указанную сторону и увидел далеко вверху, почти на самом перевале, три маленькие фигурки, медленно спускающиеся по склону. «С прииска идут»,— подумал он. Трофимыч достал бинокль и замер, приложив его к глазам. Потом опустил и глухо сказал:

— С карабинами. Менты. Ну-ка, посмотри...

Панин взял у него бинокль, и, многократно увеличенные, люди оказались совсем рядом. Вроде незнакомые... хотя... конечно, тот, рыжий, это он! Панина зазнобило.

— Тот, рыжий, это мент, из ОБХСС! Он мое дело вел!

— Чего задергался? — презрительно процедил Трофимыч.— Видеть они нас не могли, мы за скалой были. Уйдем. Дело только, суки, сорвали.

— Так надо уходить! Чего мы ждем? — подскочил Панин.

— Заткнись! — оборвал его Трофимыч.— Заткнись и сиди смирно!

Панин посмотрел наверх и понял, почему им нельзя высовываться из ложбины. Она доходила только до середины сопки, а дальше шли голые камни, на которых их бы сразу засекли. Вниз — тоже нельзя, там поселок. Оставалось одно — переждать. Может, пройдут, пронесет...

Через двадцать минут трое были уже недалеко. Шли они, озираясь по сторонам, и понятно было, что идут они не просто так, а кого-то ищут. Да не кого-то, а их, именно их! Но как узнали? Ведь так таились!

Дойдя до места, где они мыли золото, рыжий остановил своих спутников, присел на корточки и стал внимательно смотреть на землю. Потом поднял что-то, показал другим.

— Ты сигарету бросил? Пришить тебя, гаденыша, мало! — зло прошептал Трофимыч.

Панин втянул голову в плечи. Это действительно была его промашка. Ведь сколько раз говорил Трофимыч, чтобы не бросал окурки!

Рыжий поднялся и посмотрел в их сторону. Они затаили дыхание. Трофимыч держал ружье на взводе. Рыжий снял с плеча карабин и, сделав несколько шагов вперед, крикнул:

— Денисов, выходи! Я знаю, что ты тут! Все равно не уйдешь!

«Какой Денисов?» — подумал Панин. А Трофимыч прохрипел:

— Знает, ментяра, все знает! Продали, сволочи! — и, уже не таясь, крикнул: — Не уйду, говоришь? Уйду!

Грохнул выстрел и рыжий осел на камни. «Убил!» — ужаснулся Панин. Но рыжий зашевелился и, волоча за собой карабин, пополз в сторону, оставляя на камнях пятна крови. Двое его спутников залегли и открыли огонь. Пули щелкали по осыпи, не причиняя вреда Панину и Трофимычу. А когда те двое попытались продвинуться вперед, Трофимыч снова выстрелил. Пуля выбила каменные брызги рядом с преследователями, и они снова залегли. Рыжий дополз до них, и видно было, как ему перевязывают раненую ногу. Когда перевязка кончилась, рыжий приподнялся и крикнул:

— Денисов! Зря ты это сделал! Все равно не уйдешь!

Трофимыч молчал, держа ружье на взводе. Милиционеры посовещались, и рыжий снова крикнул:

— Ладно, мы уходим! Слышишь, Денисов? Не стреляй!

Трофимыч не отвечал. Панин посмотрел на него и увидел обнажившиеся в довольной ухмылке желтые, но крепкие, с выступающими клыками зубы.

Преследователи, подхватив под мышки раненого, стали отступать за скалу. Хотя они старались прятаться за камнями, но были хорошо видны, и при желании Трофимыч мог легко перестрелять их. Но он этого не сделал. Переместившись к другому краю расщелины, он проследил за отступающим противником и, убедившись, что они действительно отходят в сторону поселка, быстро полез в гору.

Никогда еще Панин не поднимался на гору с такой скоростью. Сердце стучало так, что удары его со звоном отдавались в ушах, в глазах темнело от напряжения, тошнота подступала к горлу. Несколько раз ему казалось, что еще чуть-чуть, и он потеряет сознание. Но Трофимыч лез вверх, не снижая скорости, и Панин, боясь отстать от него, из последних сил переставлял отказывающиеся повиноваться ноги.

Когда они почти достигли вершины, Панин заметил — что-то вокруг изменилось. Все так же палило солнце, было тихо, но в воздухе повеяло каким-то напряженным холодком. Вот они, наконец, оказались на хребте, за которым лежал узкий распадок с бегущим посередине маленьким ручейком — и остановились, ошеломленные открывшейся картиной. Из распадка наползала густая

стена мрака, изредка прочерчиваемая яркими вспышками, от которых тьма становилась еще чернее. Нижний край этой невероятной, невиданной тучи закрывал вершины гор. Ветра не было, но в лицо потянуло сырым, будто подвальным холодом. Панин представил себе, что сейчас начнется, и понял, что им не уйти. Теперь, после того, как Трофимыч ранил милиционера, на них устроят настоящую охоту. В тайге не укрыться — продуктов надолго не хватит. Единственным местом, где они могли бы спрятаться, переждать, был райцентр, но и до него больше ста километров пути через горы. Лишь два способа сообщения существовало летом между райцентром и этим поселком — воздушный и водный, по реке. Первый исключался для них, как, впрочем, и второй — милиция обязательно перекроет Индигирку.

Так думал Панин, еле поспевая за Трофимычем, который не выказывал ни малейшего признака растерянности, а наоборот, весь подобрался, напружинился и стремительно ринулся вниз по склону.

Через несколько минут они были около своего балка, забрали рюкзак с продуктами и быстро пошли по распадку. Туча тем временем заволокла все небо, сомкнув сопки с обеих сторон распадка, нависая над самой головой, и казалось, что они идут по бесконечному туннелю с черным сводом. День стал темнее белой северной ночи. Шли в полной тишине, на деревьях не шевелился ни один листок, все замерло и оцепенело в предчувствии чего-то ужасного.

Отчаяние у Панина сменилось тупым безразличием. Целеустремленные действия Трофимыча подавляли его волю, и он, махнув на все рукой, во всем доверялся теперь напарнику.

Ручей, вдоль которого они шли, впадал в речку, текущую по широкому лесистому распадку, а та, в свою очередь,— в Индигирку, до которой им надо было шагать больше двадцати километров. Скоро Панин понял, что ему не выдержать темпа, заданного Трофимычем. Он еще не отдышался после подъема в гору и стал постепенно отставать. К его удивлению, заметив это, Трофимыч умерил шаг, не сказав ни слова в упрек.

Резкий порыв холодного ветра разорвал тишину, и следом за ним хлынул ливень, в несколько секунд не оставивший на них сухой нитки. Но это было еще не самое страшное, худшее ждало впереди. За жаркие дни верхний слой мерзлоты оттаял, набух влагой, ливень насытил его сверх меры, и вода потекла с гор. Ручей помутнел, вода в нем поднималась на глазах, подмывала берега и увлекала за собой сначала мелкие, потом и большие камни. Когда они добрались до устья, это был уже не тоненький ручеек, а ревущий поток, который с грохотом тащил огромные валуны и легко вырывал из берегов кусты и деревья.

В устье они свернули в широкий распадок и пошли вдоль него по склону сопки. Внизу бушевала вода. Лишайник на камнях намок и скользил под ногами, отчего Панин несколько раз падал и ушибался. Но чувства его, как и разум, притупились, и он почти не чувствовал боли. Мелькнула было мысль — зачем Трофимыч стремится к Индигирке? Лодки-то у них все равно нет. Мелькнула и затухла где-то в уголке придавленного ощущением беды сознания.

Через несколько километров изнуряющей ходьбы по камням на их пути встала преграда. Из тесного, сжатого между сопок ущелья, низвергаясь со скального уступа, хлестала вода. Не могло быть и речи о том, чтобы перейти этот взбесившийся поток.

— Пойдем вверх! — перекрикивая грохот камней, гаркнул на ухо Панину Трофимыч. — Может, там перейдем!

Они свернули в ущелье и стали подниматься вдоль ручья. Шли долго, наконец нашли то, что искали. В этом месте поток расходился на два рукава, образовав посередине маленький островок. Ширина рукавов была метра по четыре. Они притащили поваленное сухое дерево, перебросили его с берега на островок и, балансируя, хватаясь за ветки, перебрались туда. Не успели они перебросить свой мостик на другой берег, как тот, который они только что оставили, подмыло, и он с грохотом и плеском обвалился в воду вместе с деревьями.

Трофимыч перебрался первым, Панин последовал за ним. На середине бревна под ногой скользнула кора, и он оказался по пояс в воде, успев все-таки схватиться за ветки.

— Скорее! — услышал он отчаянный крик Трофимыча и стал быстро перебирать руками по стволу, стремясь к берегу. Но не успел. Вода слизнула островок, выдернула из-под рук бревно, и Панина потащило течение. Тяжелый рюкзак тянул вниз, камни больно били по бокам. Панину не удавалось даже вынырнуть, чтобы вдохнуть воздуха. «Это конец!» — подумал он, но тут железная рука схватила его за шиворот и поставила на ноги. Это Трофимыч догнал Панина по берегу, прыгнул в воду и, держась за кусты, выдернул его из потока. Как котенка он швырнул Панина на берег и стал выбираться сам. Он был еще по пояс в воде, когда Панин увидел несущееся по воде дерево с растопыренными корнями.

— Берегись! — крикнул он.

Трофимыч обернулся, но было уже поздно. Дерево с огромной силой ударило его комлем, и Трофимыч исчез под водой.

— Трофимыч! — отчаянно закричал Панин и побежал по берегу. Над водой несколько раз мелькали то ноги, то разбитое лицо. Панин уже почти догнал его, когда путь преградил древесный завал. Он скинул рюкзак и стал продираться через него, потеряв из виду попавшего в беду напарника.

Панин бежал до самой Индигирки, крича Трофимыча и осматривая берега. Но тщетно. Может быть, его тело затащило под корягу, а может, унесло в Индигирку. Эх, Трофимыч, Трофимыч... С ним было страшно, а без него еще хуже. На кого теперь рассчитывать? Без продуктов,— где теперь искать рюкзак? — без оружия, даже без спичек... Идти сдаваться? И снова в колонию?

Наступила ночь. Панин был мокрый насквозь и сильно замерз. Вспомнив, что на песчаной, поросшей тальником косе раньше была сколоченная рыбаками будка, он пошел туда, чтобы спрятаться от дождя. И вдруг недалеко от будки он увидел вытащенную на берег лодку. Угнетенное сознание снова заработало четко и ясно. Панин спрятался в кустах и несколько минут следил за будкой. Оттуда никто не появился. Тогда он тихонько подполз к лодке, отвязал веревку и стал толкать ее на воду. Шум воды заглушил металлический скрежет о гальку, а может быть, в будке крепко спали, но никто не помешал ему. Столкнув лодку, Панин перевалился через борт, и течение быстро вынесло его на середину реки. Сейчас, когда отнесет подальше, он заведет мотор, и не успеют еще организовать погоню, как он будет в райцентре. Вряд ли рыжий мент знал, кто был с Трофимычем. Может, его и искать не будут? У него есть немного денег, есть паспорт... Если удастся уйти, черта с два кто его найдет, ни милиция, ни те, кто отправил сюда! На этих Панин вдруг страшно разозлился. Еще бы! В них тут палят из карабинов, гоняют по тайге, как диких зверей, Трофимыч погиб, а они там на их золото шикуют, в ресторанах гудят. Все! Хватит! Из-за проклятого золота все несчастья в его жизни!

Панин перебрался на корму и там чуть не упал от неожиданности. В лодке не было бензобака... Разиня! Как он сразу не заметил этого? Видно, хозяин унес его в будку.

В лодке не оказалось не только бензобака. Не было там и весел. Панин беспомощно осмотрелся по сторонам. Течение несло лодку со скоростью двадцать километров в час, будка давно скрылась за поворотом, и теперь вокруг были только отвесные скалы на одном берегу и полого уходящий вверх пустынный склон на другом. Дождь утихал, в облаках появились разрывы, но Панина это уже не радовало. Надо было как-то выбираться на берег. Он знал, что километрах в пятнадцати вниз по течению есть якутский поселок, а за ним — огромные безлюдные пространства. Но... Стоп! Ведь за поселком — непроходимые пороги на реке! Если он не выберется до них, то — все, гибель! Панин представил, как его бьет головой об огромный камень, и ему стало по-настоящему страшно. Он оторвал доску от спинки сиденья и, действуя ею, как веслом, стал выгребать к берегу. Но при таком течении справиться дощечкой с тяжелым «Прогрессом» было невозможно. Лодку все время прижимало к неприступным скалам. Поселок промелькнул мимо. Панин кричал до хрипоты, но шум воды заглушал его крик, и ни один человек не вышел на берег в этот предутренний час. А через некоторое время впереди послышался грозный рев — это были пороги. И Панин решился. Сбросив сапоги и штормовку, он мысленно взмолился: «Господи, спаси!» — и прыгнул в ледяную воду.

От холода перехватило дыхание, сводило мышцы, но он плыл из последних сил. Пороги ревели уже совсем рядом, когда рука натолкнулась на крупную гальку дна. Все еще не веря в спасение, Панин карабкался, полз на четвереньках по гальке, стараясь уйти подальше от страшной реки. Когда дополз до травы, руки ослабли, подломились, и он потерял сознание.

Очнулся он утром. Лицо щекотала травинка. Панин открыл глаза и перевернулся на спину. Вокруг ярко зеленели омытые дождем кусты, солнечные блики играли и переливались на реке. Он с трудом встал на ноги и, шатаясь от слабости, медленно побрел по зеленому берегу. Поселок был недалеко, но Панин шел совсем в другую сторону.

ОДИН НА ЗЕМЛЕ

События последних дней происходили так быстро, что Савельев перестал удивляться необычному. Он принимал его теперь как должное, придя за несколько дней к мысли: в этом краю необычно все. Люди, разговоры, одежда — все вроде бы такое же, как везде, но не такое. Шофер, который вез его, тоже выглядел необычно. Лицо шофера состояло из одних прямых углов, подбородок, нос, лоб — все было квадратным или прямоугольным. Даже голос, которым он не переставая клял дорогу, дорожников, начальство, машину и все на свете, и тот был какой-то угловатый. Савельев слушал его, смотрел на негусто припорошенные снегом сопки, плавно сменяющие друг друга, и думал о стремительности, с которой менялась его жизнь. Всего четыре дня, как его провожали в Москве, где на площади аэропорта Домодедово толпы людей месили ногами серую кашу из мокрого снега, а сейчас он уже едет с направлением в кармане на дальний колымский прииск, и за окном теплой кабины — сорок градусов мороза. В эти четыре дня вместился и Магадан с его строгим зданием управления Северовостокзолота, и контора горнодобывающего комбината в поселке. За эти же дни, не имея привычки опускать уши у шапки, Савельев умудрился обморозить ухо.

Там, в Домодедово, мать охала и причитала, что его туда, куда он едет, раньше по своей воле не ездили, что там холодно, нечего есть. Савельев, сам еще не определивший свое отношение к такому повороту жизни, мать тем не менее успокаивал: ничего страшного, везде сейчас люди живут нормально. Да и он вроде бы не по своей воле, распределение института — дело нешуточное, хочешь не хочешь, а три года надо отработать на Колыме. Было страшновато, но и очень интересно. Поэтому он даже обрадовался, что его не оставили ни в Магадане, ни в комбинате, а отправили в один из самых дальних поселков, где он наверняка увидит настоящий Север.

Он уже начался, настоящий, это видно даже по приисковой машине, в которой Савельев ехал. Самодельные двойные, проклеенные пластилином стекла кабины, за сиденьем торчат стволы ружья, лежат унты из густого собачьего меха, дверцы заделаны ватным одеялом. Едут уже четвертый час, а дорога пустынная, ни одного строения, никаких признаков человека.

От однообразия пейзажа Савельев стал клевать носом и, когда машина резко остановилась, чуть не ткнулся в лобовое стекло.

— Смотри! — шепотом сказал шофер, показывая пальцем куда-то на сопку.

Савельев ошарашенно закрутил головой, следуя взглядом за пальцем с грязным квадратным ногтем.

— Что — смотри?

— Не видишь, что ли? — нетерпеливо прошептал шофер.— Вон они!

Савельев увидел на склоне невысокой сопки несколько выделяющихся на снежном фоне пятен.

— Что это?

— Да бар-раны же! — отрывисто, будто загибая фразу на девяносто градусов, проговорил шофер и вытащил из-за сиденья двустволку.

У Савельева возбужденно забилось сердце. Вот это да! Где еще увидишь такое — охота прямо на дороге! Сейчас как бабахнет из обоих стволов! Но шофер, загнав патроны в стволы, вытащил унты и стал переобуваться.

— Стреляй! — не выдержал Савельев.

Шофер удивленно посмотрел на него, хмыкнул, вытащил из бездонного тайника за сиденьем валенки, бросил их Савельеву:

— Одевай. Сделаем так: ты поднимешься вон там,— он показал на пологий склон,— пугнешь их, ну а я уже встречу с той стороны.

Досадуя на себя, что сморозил такую глупость — в самом деле, до цели не меньше километра, кто же стреляет на такое расстояние! — Савельев сбросил ботинки и надел валенки, которые оказались ему большими и болтались на ногах.

— Постарайся быстрее: через полтора часа будет темнеть,— напутствовал его шофер, когда оба вылезли из кабины.— Ты парень молодой, здоровый, пробежишься!

Снега было совсем мало, и Савельев быстро поднимался по склону, покрытому обломками серого камня. Сначала он потерял баранов из виду: они скрылись за изломом сопки, но, выбравшись на террасу, снова увидел их, теперь гораздо ближе. Баранов было пять, один большой, с огромными закрученными рогами, и четыре поменьше. Они медленно двигались по хребту, не замечая опасности. Чтобы направить их туда, где должен был поджидать шофер с ружьем, Савельеву пришлось зайти в сторону. Стараясь не спугнуть животных раньше времени, он двигался пригнувшись, прячась за камнями.

Вокруг резко потемнело. Обернувшись назад, Савельев понял причину ранних сумерек — из противоположного распадка, подобно огромной распластавшейся медузе, наползала мгла тумана. Савельев заторопился. Увидев его, бараны упругими прыжками понеслись по склону. Впереди мчался круторогий вожак. Через несколько секунд они скрылись за хребтом. Савельеву понадобилось гораздо больше времени, чтобы добраться до вершины. Пока он лез, пошел снег, сначала мелкий, потом все гуще и гуще. Где-то далеко, за сопкой, едва слышно хлопнули один за другим два выстрела, через некоторое время еще два. Когда он достиг наконец вершины, сопок уже не было видно, все скрывалось за плотной пеленой снега. Держа примерное направление на звук выстрелов, Савельев стал спускаться.

Мгла сгущалась. Видимость ограничивалась двумя десятками метров, и Савельев забеспокоился. Спустившись на ровное место, он пробежал в одну сторону, потом в другую, непрерывно крича: «Э-эй! Э-ге-ей!» Никто не отзывался. Поняв, что шофера ему не найти, Савельев решил выбираться к дороге. Заходил он на сопку справа — значит, теперь надо держаться левей, обойти ее, и тогда он выйдет к машине.

Решив так, Савельев пошел, держась поближе к склону, чтобы не потерять направления. Стало еще темнее — наступали настоящие сумерки. Он пошел еще быстрее и скоро увидел, что дорога круто забирает вверх. Савельев взял правее, но и там был подъем. «Значит, надо снова переваливать через сопку»,— решил он.

Затяжной подъем длился так долго, что перевал Савельев одолел уже в полной темноте. Снег все шел, и Савельев тщетно вглядывался вдаль, надеясь увидеть фары. Вот спуск перешел снова в подъем, а дороги все не было. Он повернул назад, прошел налево, направо — дорога исчезла! Савельев заметался, полностью потеряв направление.

Всю ночь он блуждал по горам, то поднимался, то спускался, а к дороге так и не вышел. Утро застало его в узком распадке, прихотливо петляющем между сопками. Снег перестал, небо очистилось, и Савельев решил подняться на самую высокую сопку, чтобы оттуда осмотреться. Долго лез, с трудом переводя дыхание, а когда оказался на вершине, сердце его оборвалось — вокруг, насколько было видно, в угрюмом безмолвии дыбились горы. Вершины тех, что повыше, были слегка позолочены прячущимся где-то за горизонтом солнцем, остальные лежали в тени. И никаких признаков дороги...

Погибать Савельев не собирался. Осмотревшись, он заметил, что с одной стороны сопки снижаются, а между ними виднеется краешек долины. Может быть, дорога там?

Дороги не оказалось и в долине, тогда Савельев пошел по ней, увязая в глубоком снегу. Как ни странно, усталости он не чувствовал, только сосало в желудке. Понимая, что останавливаться на морозе нельзя, он шел и шел, пока снова не наступил вечер. Он твердо знал: погибнуть он не может. Не может, и все! Поэтому, когда далеко впереди над сопкой скользнул луч прожектора, Савельев даже засмеялся торжествующе — вот так! Иначе и быть не могло!

На фоне звездного неба с узеньким серпом молодого месяца четко выделялся излом сопки, взятой им за ориентир. Луч, скользнув по небу еще несколько раз, исчез, но это Савельева не очень волновало: место он засек.

Поднимался медленно, вершина сопки оказалась гораздо дальше, чем предполагал Савельев вначале, мешал снег, не слежавшийся еще, не уплотнившийся ветрами, без корки наста. Временами Савельев проваливался по пояс, падал, пробивал дорогу грудью, но упрямо шел вперед, не обращая внимания на набивающийся в рукавицы и валенки снег, шел к цели — зубчатому гребню с торчащими на нем, как пальцы, выветренными камнями. Дыхание распирало грудь, легкие с трудом справлялись с нагрузкой, но Савельев не останавливался, знал: присядет — нападет усталость и сонливость, и тогда он может навсегда остаться на этом склоне. Вершина приближалась медленно, чтобы ускорить бег времени, Савельев шептал про себя все стихи и песни, которые только мог вспомнить, считал шаги. Когда он выбрался на гребень, наступило сумрачное, серое утро. Безоблачное, но тусклое небо висело так низко, что казалось: его царапают причудливо торчащие на вершине каменные пальцы. Теперь уж силы совсем оставили Савельева, и он сел в снег, отвернув лицо от дующего здесь, наверху, обжигающего ветра.

Хребет был узкий. Всего несколько шагов отделяли Савельева от противоположного склона, но он сидел, не решаясь сделать их. Если внизу окажется такая же снежная пустыня, как позади, он не сможет уже сдвинуться с места. Только когда промокшее от пота белье стало охватывать тело ледяным панцирем, он поднялся и шагнул вперед. Внизу лежал поселок...

Но радостный вопль, вырвавшийся из его груди, быстро замер. Впереди был почти отвесный склон. Савельев осмотрелся. Слева спуск был более пологим, но дорога туда была перекрыта нагромождением огромных камней. Справа же крутизна тянулась насколько хватало взгляда. Пришлось пробираться через завал. Это было нелегко: приходилось нащупывать каждый шаг, и все равно он несколько раз застревал между камнями.

Выйдя к небольшой седловине, сразу посмотрел вниз. Поселок лежал на дне ущелья — а это было именно ущелье, потому что противоположный склон был так же крут — неясно видимый из-за покрывавшей его какой-то серой дымки. Четыре длинных, стоящих попарно здания, обнесенных изгородью с непонятными сооружениями по углам, и около десятка домиков поодаль — вот и весь поселок. Но какая разница, велик он или мал, главное, что там, внизу, спасение!

Сначала Савельев спускался очень осторожно, боясь сорваться вниз вместе с лавиной снега, поэтому, когда дошел до узкой полки, лежащей на полдороге, ноги гудели от напряжения. Дальше крутизна казалась заманчиво гладкой. Решившись, Савельев оттолкнулся и, набирая скорость, заскользил вниз в туче снежной пыли. Остаток пути он преодолел в две минуты, но вдруг, когда до подножия было уже совсем близко, увидел на пути огромный камень. Тормозить уже не было времени, поэтому Савельев успел только напрячь все мышцы и закрыть глаза. Удар пришелся по правой ноге, которую пронзило резкой болью: Савельев перевернулся и кубарем летел оставшиеся несколько метров, пока не застрял с головой в глубоком снегу. Поднялся и с ужасом почувствовал, что почти не может ступать на поврежденную ногу. До поселка было еще далеко, и Савельев даже застонал от отчаяния. Неужели придется замерзать в двух шагах от людей? Какая нелепость... И он заставил себя идти, превозмогая боль, ставя ногу всей ступней, постанывая от боли. Когда становилось невмоготу, полз, увязая в глубоком снегу.

Поднялся ветерок, несильный, но ровный и тягучий, разогнал стелющийся по поселку туман, и тут в сознание Савельева закралась тревога. Над поселком не было ни одного дымка, ни малейшего движения не просматривалось впереди, в ущелье царила полная тишина. Чем ближе подходил он к поселку, тем сильнее

становилось подозрение. Поселок был засыпан девственно-чистым снегом, не тронутым ничьими следами.

Изгородь, окружающая бараки, оказалась из колючей проволоки, сооружения по углам — сторожевыми вышками. Проволока была ржавая и местами оборвана, доски на вышках обвалились. Савельеву стало жутко. Что это? Поселок-призрак? Ни одного человека...

Держась подальше от колючей проволоки, он обошел бараки и поковылял к домам, стоящим за оградой. Они были засыпаны нетронутым снегом, деревянные, с облупившейся штукатурной, выбитыми кое-где стеклами. В первом доме, к которому подошел Савельев, дверь висела на одной петле. Он разгреб снег, морщась при каждом неосторожном движении, приоткрыл дверь и с опаской заглянул в маленький коридорчик. Он был пуст, с потолка свесился лист полусгнившей фанеры и торчали концы каких-то тряпок, на полу лежал снег. Следующая дверь была полуоткрыта. Савельев вошел туда и увидел длинную, вытянутую наподобие вагона комнату, разделенную кирпичной печью на две неравные части. В первой половине стояли пустой деревянный стол и два табурета, во второй — ржавая кровать без сетки. В углу валялись старая телогрейка, тазик с двумя ручками и алюминиевая кружка. Больше в комнате ничего не было. Савельев даже открыл дверцу печки, будто надеясь найти там что-то, но ничего, кроме старой золы, не обнаружил.

Он вышел из дома и огляделся по сторонам. Никогда раньше ему не приходилось видеть места более мрачного, чем это сжатое между крутыми склонами, похожее на туннель ущелье, полностью лишенное растительности. Загадочная пустота поселка так гнетуще действовала на сознание, что, когда невдалеке метнулся горностай, Савельев испуганно шарахнулся в сторону. Боль в подвернутой ноге привела его в чувство, и он начал осознавать свое положение. До сих пор оно было понятно: в поселке спасение. Теперь надежда рухнула, и пришла простая и страшная мысль: он здесь один, вокруг на многие километры никого нет. Вряд ли кто-нибудь будет искать его именно в этой стороне, ведь он ушел от дороги черт знает куда. Поселок, судя по всему, давным-давно заброшен. Идти он не может, да и куда идти? Кругом одни заснеженные сопки... Все, что у него есть,— это пачка сигарет, коробка спичек и складной нож, а голод уже сводил спазмами желудок, и мороз кусал за щеки.

Давя в себе подступающие приступы отчаяния, Савельев со смутной надеждой зашел в следующий дом, потом в другой, третий... Всюду царила заброшенность и запустение. На полу, на грубых деревянных полках валялось всякое тряпье, помятые миски, кружки, кастрюли. В одном доме он нашел ржавый топор, прихватил его с собой,— это могло ему пригодиться. Один небольшой домик, почти на краю поселка, в две комнатушки, с хорошей печью и невыбитыми стеклами, приглянулся Савельеву. Здесь стояли две койки, на одной даже лежал рваный матрас. И он решил растопить печь, согреться, а потом уже думать, что делать дальше. Дров в доме не было, и Савельев, взяв топор, вышел на улицу, направился к соседнему зданию, имеющему вид хозяйственной постройки. Дверь в нем была открыта настежь, через нее и маленькие зарешеченные оконца без стекол на полу намело сугробы снега. Наверно, раньше здесь был какой-то склад, потому что вдоль стен тянулись стеллажи в три яруса. Посередине стояла металлическая бочка. Савельев толкнул ее — на дне что-то тяжело плеснулось. Попробовал открутить пробку, но она приржавела и не поддавалась. Тогда он обстучал ее обухом топора, пробка пошла с противным скрипом, из бочки пахнуло чем-то прогорклым. Савельев положил бочку на бок, вылил на снег несколько капель мутной, тягучей жидкости. Это оказалось растительное масло, и он воспрянул духом, хотя смутно представлял себе, как можно им питаться.

Решив вернуться потом с какой-нибудь посудиной, он принялся отдирать топором доски с ближайшего стеллажа. Старые гвозди выдергивались легко, и за несколько минут Савельев дошел до угла, бросая доски на пол. На полу было много снега, и Савельев держался около стены, где его было поменьше. И тут под ноги ему попался какой-то круглый предмет. Сначала Савельев машинально оттолкнул его в сторону, потом опомнился, сбросил с предмета снег и увидел большую жестяную банку. У него учащенно забилось сердце. Может

быть, что-то съестное? Он долго открывал банку ножом, плохо держащимся в негнущихся от холода и волнения пальцах. Банка была наполнена желтым порошком. Савельев послюнил палец, подцепил немного и осторожно попробовал. Яичный порошок! Спасен!

Может быть, здесь есть что-нибудь еще? Он взял доску и стал разгребать снег на стеллажах, под стеллажами и скоро наткнулся еще на одну банку. Радостный и возбужденный, взял под мышку несколько досок, прижал к груди найденные банки и пошел в свой домик, перестав даже обращать внимание на боль в ноге. Наломал и нарубил досок, ножом настругал тоненьких щепок, сложил их горочкой и полез за спичками. Открыв коробок, он вдруг с ужасом увидел, что спички отсырели, головки расползлись в кашицу. Когда катился с горы, в карман набился снег, подтаял, и вот результат! Савельев высыпал спички на ладонь, перебрал, нашел несколько более-менее сухих, чиркнул одной о коробок. Спичка зашипела, изошла дымком и погасла. Со второй случилось то же самое. Третья загорелась. Савельев медленно, не дыша, присел на корточки и зажег щепки. Когда они разгорелись, стал подкладывать обломки досок, сначала мелкие, потом покрупнее.

Дым почему-то полз из печки в комнату, заставив Савельева закашляться. Поняв, что дымоход забит, он вышел на улицу. На железной трубе торчала снежная шапка. Обойдя по колено в снегу вокруг дома, Савельев обнаружил сзади навес, с которого можно было выбраться на крышу. Он вернулся в комнату, взял доску, через завалинку вылез на навес, оттуда на крышу и осторожно, чтобы не свалиться, подошел к трубе. Сбил снег, но дым не появился. Тогда он постучал по трубе доской, в трубе что-то ухнуло, и над ней появился легкий дымок.

Дрова трещали вовсю, дым из комнаты быстро вытянуло, и Савельев повеселел. Набив полную печь дров, он снова прошел по поселку, собрал кое-какую посуду: тазик, несколько мисок, кружку, набрал полный таз снега и поставил на плиту. Пока снег таял, попробовал открыть вторую банку, но нож не лез в нее, там было что-то замороженное. Можно было, конечно, подождать, пока банка оттает, но Савельеву не терпелось. Он сделал топором две насечки, отогнул уголок жести и отбил кусочек коричневой ледяной массы. Это было повидло.

Настроение стало еще лучше. Страх прошел, и теперь Савельев смотрел на свое положение как на интересное приключение, о котором потом можно будет рассказывать друзьям. С ними-то такого никогда не приключится! Он даже засмеялся от мысли, как быстро меняется настроение в зависимости от обстоятельств. И вообще, как разнообразна жизнь, как чередуются в ней черные и белые полосы. Диалектика!

Натопив в тазике снега, Савельев вымыл посуду, намесил яичной массы и зажарил в миске что-то вроде омлета. Без соли было невкусно, но съел все без остатка. Потом вскипятил в кружке воды с кусочками повидла и с удовольствием выпил это сладкое месиво. По телу разлилось приятное тепло. В комнате тоже стало теплее, иней, покрывавший стены и потолок, начал оттаивать. Савельева разморило, и он задремал, чуть не свалившись с табуретки. Тогда он поднялся, подкинул в печь обломков досок потолще, поставил банку с повидлом к плите, туда же положил спички, чтобы подсохли. За окном смеркалось. Савельев передвинул кровать поближе к печи, снял валенки, подложил под голову шапку и моментально уснул.

Когда проснулся, в комнате было темно и прохладно. Савельев полежал несколько минут, соображая, ночь сейчас, утро или вечер. Когда сон окончательно ушел, он резко спрыгнул с кровати, забыв про поврежденную ногу, и тут же поплатился за это. Если вчера он кое-как еще мог ходить, то сегодня каждый шаг причинял сильную боль. Стараясь наступать на пятку, Савельев с трудом добрался до окна. За ним чуть заметно серело. Шаря перед собой руками, проковылял к печке, открыл дверцу. Огня не было, печь была чуть теплой. Пошарил рукой по остывшей плите — где же спички? Наткнулся на кучку, рассыпавшуюся под пальцами, и понял: спички лежали слишком близко к железной плите... Ошеломленный, не желая верить этой догадке, он прощупал каждый сантиметр плиты, стола, долго рылся в карманах...

Савельеву стало холодно от озноба. Как он мог проморгать? Он сунул руку в печь и трясущимися пальцами принялся разгребать теплую золу. Внизу она была горячей, тогда он взял длинную щепку, пошевелил в глубине печи. Около задней стенки показался тусклый уголек. Савельев изломал щепку, положил ее сверху и дул, пока не появился вздрагивающий язычок пламени, робко осветивший закопченное нутро печи. Савельев схватил кусок доски и, не замечая, что загоняет в пальцы занозы, стал отдирать от нее щепки, подбрасывая их в огонь. Успокоился, только когда набил печь битком. Теперь ему было жарко. Савельев вытер пот со лба и подумал: «Что, если бы проспал еще час-другой?..»

Пока спасал огонь, боль забылась, теперь Савельев снова почувствовал ее. За окном светало, и он смог осмотреть ногу. В щиколотке она заметно распухла. Вывих или растяжение, решил он. Набрав у порога полный тазик снега, поставил его у кровати, сунул туда ногу и держал сколько мог. Когда кости заломило от холода так, что на глазах выступили слезы, выдернул ногу и пошевелил пальцами. Боль утихала. Савельев повторил процедуру несколько раз, потом снял надетую под свитер футболку, разорвал ее и туго обмотал ступню и щиколотку, потоптался на месте — терпеть можно.

Теперь, когда спичек у Савельева больше не было, надо было позаботиться о топливе, чтобы не дать огню угаснуть. Сделав несколько заходов в склад, он натаскал досок, но они горели слишком быстро, тогда он выломал толстые балки, на которых держались стеллажи. Они были слишком длинные для печи, и Савельев здорово попотел, пока перерубил одну из них на несколько чурбаков. Если бы у него была пила! Надо поискать, может быть, где-нибудь и валяется.

Прежде чем отнести дрова, он облазил все полки в надежде поживиться чем-нибудь съестным, но безрезультатно. Тогда он собрал чурки в охапку и, пыхтя, отнес их в дом. Печь прогорела, в комнате было жарко. Чертыхнувшись — не отойти от этой печки! — Савельев натолкал в нее толстых чурок, и тут до него дошло — ведь он не закрыл заслонку! Когда дрова затрещали, он задвинул ее и приготовил себе завтрак. На этот раз он сварил налепленных из порошка шариков, поел и отправился на разведку.

Тщательно обшарив поселок, Савельев натаскал кучу ватных курток и брюк, нашел молоток, лом, две лопаты. Пилы нигде не было. Неисследованными оставались еще бараки за колючей проволокой, и, прихватив с собой лопату на случай, если двери будут завалены снегом, он пошел туда. Увязая в снегу, преодолел сотню метров, отделяющую поселок от бараков, и подошел к угловой вышке. Колючая проволока местами была оборвана, и Савельев беспрепятственно проник на территорию лагеря. Зрелище было довольно мрачное. Серые стены бараков, серое небо над ними, холод и пронизывающий нескончаемый тягучий ветер навевали тоску. За лагерем ущелье было все изрыто, изъязвлено канавами, выработками и отвалами, конец ущелья терялся в туманной серой дымке. Ни малейшего движения, ни одного звука, казалось, что он, Савельев, один на тысячи километров среди гор и снегов. Холодная, мертвая земля...

Вдруг боковым зрением Савельев уловил, как что-то черное мелькнуло около барака. От неожиданности он даже присел, но тут же поднялся. Над головой кружил огромный черный ворон. Он громко каркнул, уселся на крышу барака и в упор уставился на Савельева, недовольный, что кто-то осмелился нарушить его уединение. Савельев сплюнул в сердцах, стряхивая наваждение, и пошел к входу в барак. Отбросил снег, открыл с трудом поддавшуюся дверь. Внутри было темно, тусклый свет из маленьких зарешеченных окошек едва освещал нары в два яруса и две железные печки-буржуйки в проходе. Савельеву почему-то не захотелось заходить внутрь, и он пошел к следующему бараку. Так же — через проем двери — осмотрел его и увидел: поживиться нечем.

Зато, когда обходил один из бараков, нашел штабель дров, частью колотых, частью напиленных толстыми чурками. Это была удача, теперь можно было обойтись без пилы. До темноты Савельев натаскал в дом изрядную кучу дров. Сначала носил их охапкой, это оказалось неудобно, уставали руки, а приносил помалу. Потом догадался прихватить найденный в одном из домов большой мешок, и дело пошло быстрее. Когда стало смеркаться и снова разболелась нога, приготовил еду, сел около печи, уставившись на всполохи огня, и задумался.

Сейчас он в относительной безопасности — есть крыша над головой, запас дров, пищи хватит недели на три-четыре. Его наверняка ищут, а раз ищут то должны найти. А не найдут — пойдет сам, иога к этому времени заживет. Должны же быть где-то неподалеку люди, если только свет прожектора ему не померещился!

Оттого, что в печке постоянно поддерживался огонь, стены прогрелись и в доме стало жарко. Савельев разделся до пояса и прилег на кровать, но долго не пролежал, принялся, несмотря на боль в ноге, ходить из угла в угол по темной комнате. Было еще рано, спать не хотелось, а впереди — бессонная ночь. Всю жизнь он был окружен людьми, особенно последние годы в студенческом общежитии, где иногда так хотелось побыть одному. Бывало, даже соседи по комнате, с которыми Савельев дружил, глухо раздражали его, и он дорого бы дал, чтоб хотя бы на несколько дней остаться без посторонних глаз. Теперь он совершенно один, и, оказывается, как это тоскливо! Он ходил, ложился, снова вставал, подкладывал дрова, промаялся допоздна, наконец уснул. Казалось, что проспал совсем немного, а все-таки чуть не проворонил огонь, который снова пришлось спасать.

Савельев решил спать понемногу, по два-три часа. Как в армейском карауле — бодрствующая смена, отдыхающая смена, смена на посту. Для начала, натопив печь, он лег днем, заснул на удивление быстро, проснулся часа через полтора. Через четыре часа лег снова, но сна не было ни в одном глазу. Он долго считал про себя до тысячи, потом в обратном порядке. На седьмой сотне начал сбиваться, появился откуда-то квадратный шофер. «Почему ты не стрелял? — спросил его Савельев.— Если бы ты стрелял, я нашел бы дорогу!» «Все дороги ведут сюда!» — ответил шофер, превратился в циркуль и принялся вычерчивать на снегу вместо круга квадрат. Квадрат потемнел, зазеленел и стал лужайкой, покрытой мягкой травой, над ней висело темное жаркое солнце. Савельев растянулся на траве, но она стала горячей; он дернулся и проснулся — в комнате было темно и жарко. Болела голова, во рту был какой-то неприятный привкус.

Привыкнуть к такому режиму оказалось непросто, организм не желал подчиняться. Чтобы не спать подолгу, Савельев снял с кровати матрас и ложился прямо на сетку. Несколько дней ушло на то, чтобы научиться просыпаться вовремя. День и ночь смешались. В светлое время он ходил за дровами, вымачивал их в корыте с водой и выносил на мороз. Так они дольше горели и давали меньше жара. Нужда заставила быть изобретательным. Ночью сидел у печи при свете коптилки, которую сделал из кружки с маслом, опустив туда тряпочный фитиль. Ночные бдения оказались самым тяжелым временем. Это было невыносимо — сидеть в бездействии в полной тишине, нарушаемой только потрескиванием горящих поленьев и собственным дыханием. Время останавливалось, замерзало в этом снежном ущелье, отрезанном от мира горами и холодом. Чтобы заставить его кое-как двигаться, Савельев вспоминал когда-то прочитанные книги. При этом ему открылись свойства памяти, о которых он раньше и не подозревал. Например, он вспомнил наизусть несколько выученных в школе, но давно забытых стихотворений, детально прошел за две — или три? — ночи «Капитанскую дочку», читанную в школе из-под палки. Зато из «Трех мушкетеров» вспоминались лишь отдельные эпизоды, никак не связывающиеся в единый сюжет. Когда дошел до Гоголя — «Вия» и «Страшной мести»,— в темных углах комнаты зашевелились тени, стали поскрипывать и потрескивать старые деревянные стены. Савельев подобрал под себя ноги и переключился на «Золотого теленка», что удалось ему с большим трудом.

Когда тишина становилась невыносимой, он начинал размышлять вслух, но обычно быстро умолкал: за звуками собственного голоса начинали мерещиться какие-то посторонние звуки. Он умолкал — пропадали и они, начинал снова — звуки возобновлялись. Савельев прислушивался — вокруг стояла плотная тишина.

В один такой момент он, желая удостовериться, что вокруг тихо, вышел из домика. В небе висела половинка луны, заливая мертвенно-голубоватым призрачным светом поселок и горы, выглядевшие совсем иначе, чем днем. При дневном свете все как-то сглаживалось, стушевывалось, сейчас же изломы сопок были выпуклы и рельефны, будто стесанные гигантским ножом. От тишины

звенело в ушах, и Савельев вдруг особенно остро почувствовал свое одиночество. Ни шевеления, ни огонька, все замерло и оцепенело на этой мертвой земле, и лишь бесстрастная луна наблюдала за его возней.

Вздрагивая от холода, Савельев вернулся в дом. Теперь здесь ничего не трещало и не скрипело, но зато пришла совсем другая мысль. Почему его до сих пор не нашли? Ведь не может быть, чтобы человека вот так, запросто, бросили! Есть ведь вездеходы, авиация. А за все время, что он провел здесь,— ни одного звука мотора! Кстати, сколько дней прошло? Он вдруг понял, что сбился со счета. Десять? Или двенадцать? А может быть, пятнадцать? Разве уследишь за сменой дня и ночи при таком ненормальном режиме, когда, просыпаясь, с трудом разбираешь время суток! Почему же не ищут? Может быть, что-то случилось? А что может случиться такое, из-за чего могут отказаться от спасения человека? Война? Стихийное бедствие? Катаклизм? Но если это так... если так... значит, напрасно он ждет спасения? Его не будет! Значит, время его жизни определено остатком содержимого банок! А запас еды медленно, но неуклонно тает...

День разгонял ночные страхи, днем они казались нелепыми, но на всякий случай Савельев ограничил норму питания, что, впрочем, не причинило ему больших неудобств: двигался он мало и голода не чувствовал. Но наступала бесконечная ночь, и Савельев снова погружался в пучину своих мыслей, то беспорядочно скачущих, то мрачных и тягучих, как сама ночь.

Сбившись со счета дней, он попытался начать новый отсчет, снова запутался и махнул на это дело рукой.

Потом Савельева заняла почему-то одна мысль, совсем не вяжущаяся с его отчаянным положением. Пришла она в голову незаметно, по какой-то странной цепочке ассоциаций, где, казалось бы, ничем не связанные друг с другом понятия цеплялись одно за другое незаметными крючочками, и цепочка тянулась, тянулась до бесконечности. Эта мысль родилась, когда он стал, коротая время, вспоминать алфавит и считать в нем буквы. Получалось то тридцать две, то тридцать три. Пришло удивление — ведь из этих всего трех десятков букв складываются слова, которыми можно описать все — что было, что есть, что будет... Три десятка букв — в бездна, в которой все! Люди рождаются, живут, умирают, а слова, в которых все, остаются. Или остаются только записанные, зафиксированные? А как же тогда сказанные, просто подуманные? Что, они исчезают в небытии или все-таки оставляют какой-то след? Но где? А если ему, Савельеву, суждено остаться здесь навсегда — ничего от него не останется? Ни слов, ни мыслей, ничего, чем он жил? И все было зря? А эти угрюмые, бесстрастные горы, они останутся стоять так же, как и сейчас? Или пропадут, канут в ничто вместе с ним? А если вдруг не он один, а все, все люди...— Савельева зазнобило,— что будет тогда? Кому тогда нужно будет все записанное, сказанное, подуманное? Все было зря?

В эту ночь Савельев не сомкнул глаз, заснул только под утро. А проснувшись, пошел в лагерь за дровами. Усиливающийся с каждым днем мороз в этот день был особенно лют. Дым из трубы, смешиваясь с туманом, прижимался к земле, в воздухе висела серая мгла. Пар вырывался изо рта с тихим шелестом и тут же оседал на воротнике, покрывая его слоем изморози. На подходе к баракам Савельевым стало овладевать смутное беспокойство. Он не понимал, чем это чувство вызвано, старался подавить его, но в голове засело — что-то не так! Что? Он украдкой оглянулся, будто кто-то мог уличить его в глупых страхах. Вокруг все было по-прежнему, но тревога не проходила. Ему вдруг померещилось, что за бараком что-то мелькнуло. Он остановился, укрывшись за столбом с колючей проволокой. Движение не повторилось.

Савельеву стало страшно. Казалось, что он стоит, открытый для множества враждебных глаз, кто-то смотрит справа, слева, но стоило повернуть голову, как этот кто-то исчезал. Савельев заставил себя рассмеяться над лезущей в голову чушью, но смех так дико прозвучал в морозной тишине, что застрял в горле. Савельев постоял немного, не решаясь зайти в лагерь, страх пересилил, и, поминутно оглядываясь, он пошел обратно, все время чувствуя на спине чей-то взгляд. Войдя в дом, накинул крючок и долго стоял, прислонясь к печи, не в

силах унять озноб. Что это было? Человек? Зверь? Или начались галлюцинации?

Чтобы успокоиться, Савельев принялся обстругивать ножом полено — нужно было сделать новое топорище взамен расколовшегося. За этим занятием его застали сумерки. Протянув руку к столу, где у него стояла коптилка, он не обнаружил ее там. Удивленный, он посмотрел на стол, полки — коптилки нигде не было. Куда он мог ее засунуть? Случайно поднял глаза и увидел ее на печке. Как она туда попала? Его снова стало неприятно знобить. Торопливо зажег коптилку, осмотрел все углы, заглянул под кровать. Никого, конечно, не было, но им с удвоенной силой овладел безотчетный страх.

Вдруг сверху раздался какой-то звук. Савельев вздрогнул и поднял голову к потолку. Тихий, но отчетливо слышный звук повторился. Кто-то крадучись ходил по крыше. Савельев инстинктивно погасил язычок пламени и замер. Шаги прекратились, кто-то начал разрывать на крыше снег. Почувствовав, что не вынесет больше ни минуты, Савельев схватил топор и с диким ревом выбежал на улицу. С крыши метнулась темная тень и исчезла в ночи. Савельев успел заметить только длинное тело и короткие ноги неизвестной твари. Он стоял с видом победителя, держа в руке топор с обломком топорища, и смеялся над своими страхами. Это был всего-навсего зверь, пусть неизвестный ему, но зверь, а не призрак.

Неожиданно вокруг стало светлее. В небе появились далекие отблески, такие же, какие он наблюдал, блуждая в горах. Савельев радостно замер. В конце ущелья разгорался молочно-белый свет, но почему-то он стал переливаться всевозможными оттенками, заколыхался, в центре появилось красное пятно, выпустило изогнутый отросток, постепенно растянувшийся на все небо вращающейся объемной спиралью. Потом спираль ужалась и превратилась в яркое кольцо, из центра которого возникли четыре голубых луча. Лучи быстро выросли и образовали в небе огромный крест. Он повисел неподвижно, потом медленно, едва заметно, стал вращаться, повернулся ребром, сделал поворот на сто восемьдесят градусов, после чего завис неподвижно. Савельев почувствовал, как волосы его поднимаются дыбом. Только когда лучи медленно сошлись к центру круга и крест исчез, а следом погас и сам круг, он почувствовал, как сильно замерз, и вбежал в дом, едва сумев ухватить дверную ручку негнущимися пальцами.

Савельев совершенно отчетливо понял: это было знамение! Недаром в голову лезли дикие мысли, недаром! Что-то страшное произошло в мире! А он удивлялся, что его до сих пор не нашли... Да просто некому искать! Никого больше нет! Он, только он, и еще ходившая по крыше тварь — последние живые существа на земле! Савельева стало колотить крупной дрожью. Какие глупости! — пытался образумить он себя. А внутри кто-то шептал: «Да, это так! Ты один! И никого больше нет... И холод, холод на всей Земле...» Как он раньше не понял, что такого холода просто не может быть, это неестественно, так не бывает! А теперь с каждым днем будет становиться еще холоднее, пока Землю не окутает космическая стужа... И он, Савельев,— крохотная искорка мыслящей жизни — все, что осталось от огромного человечества. Но и он обречен: с неба льются невидимые убийственные лучи. А когда эта искорка погаснет, исчезнет все: горы, снега, моря, мертвые города, останется один вечный непроглядный мрак.

Савельев ничком упал на кровать, уткнув лицо в матрас. Грудь разрывалась сухими рыданиями — нет больше родных, друзей, никого нет, скоро не будет и его. Ужас сковал сердце, сжал его стальными тисками. В ушах начался гул. Савельев сжал их руками, но гул стал еще сильнее. Он вскочил с кровати, заметался по комнате, тычась в стены.

Всю ночь Савельев не спал, доведя себя до полного исступления, и только утром, окончательно обессилев, повалился на кровать. Он лежал, тупо глядя в потолок, и вдруг почувствовал, что начал стремительно расти, увеличиваться в объеме. Каждая клетка, каждый атом в нем росли с огромной скоростью. Он ожидал удара о стены, сейчас он проломит их, разрушит горы и будет расти до звезд! Но нет, все вокруг тоже росло, то, что измерялось сантиметрами, стало миллионами, миллиардами километров!

Савельев ощутил необыкновенный прилив сил — они тоже увеличились в миллиарды раз. Он взметнулся с кровати и выбежал из дома. Мороз не ослаб,

но он не чувствовал его, сейчас он был в состоянии одним дыханием растопить все снега. Он медленно брел в снегу, но ему казалось, что он несется огромными прыжками. Что это? Колючая проволока... Зачем? Зачем были зло и страдания, если все теперь потеряло смысл — жизнь и смерть, добро и зло! Обозлившись на нелепость уродливой изгороди, Савельев схватил проволоку обеими руками и рванул на себя. Ржавая, она легко поддалась, оторвалась от столба, и Савельев торжествующе засмеялся. Он рвал и рвал ее, не замечая, что колючки поранили ему пальцы и рукавицы набухли кровью. Он должен был сорвать всю проволоку, чтобы от нее не осталось и следа.

Вдруг что-то остановило его. Он замер и услышал в небе прерывистый свист и рокот. Из-за края ущелья появилось уродливое темное чудовище, размахивающее длинными конечностями. Вот настал и его час! Бросив проволоку, Савельев со всех ног кинулся к бараку, ища под крышей спасения, вбежал в дверь, но на пороге споткнулся и скова подвернул больную ногу. Боль пронзила его от пятки до плеча, молнией кольнула в голову и непостижимым образом привела в чувство. Господи, что же он делает! Ведь это вертолет!

Царапая пальцами снег, оставляя на нем кровавые следы, Савельев выполз из барака и с отчаянием увидел, что вертолет скрылся за сопкой. Превозмогая боль, он поднялся на ноги, что-то бессвязно крича и размахивая руками. Будто вняв этим крикам, вертолет вернулся из-за сопки, сделал круг и, скрывшись в туче снежной пыли, опустился на площадке около лагеря...

* * *

В больнице Савельев узнал, что искать его уже перестали, потому что со дня его исчезновения прошел почти месяц. Только совершенно случайно изменив маршрут, вертолетчики заметили дымок над заброшенным поселком... В переполненной районной больнице его долго держать не стали, выписали через четыре дня, признав здоровым.

Когда Савельев добрался наконец до места назначения, ему как спецналисту выделили отдельную комнату в общежитии, но он наотрез от нее отказался. Еще долго он не мог оставаться один даже на непродолжительное время. Но когда это прошло, он все равно так никому и не рассказывал, как ему довелось быть последним человеком на Земле.

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА



Вече

АНДРЕЙ АНДРЕЕВ

ТРЕТЬЯ СИЛА

Август 1991 года, как казалось вначале, поставил окончательную точку в противоборстве двух политических сил, определившем собой всю внутреннюю драматургию горбачевской «перестройки». Первая из этих сил — коммунисты — лишилась последних властных функций и материальных ресурсов. Вся разветвленная оргструктура КПСС была разгромлена. Вторая сила — «демократы» — после августа полностью овладела положением. Но вот прошло всего несколько месяцев, и «царство демократии» все более и более предстает перед нами в обличье настоящей «империи зла»: нищета миллионов, правовой беспредел, невиданный даже в годы «застоя» размах коррупции, стремительный рост организованной преступности, тотальная распродажа национальных богатств на фоне сказочно быстрого расцвета всякого рода криминальных дельцов. Типичный пример того, что называют иронией истории.

В свое время борьбу «демократов» против коммунистов активно поддержали средние слои, считавшие, что «демократы» действуют в интересах предпринимательства, с развитием которого в массовом сознании была теснейшим образом связана надежда на наполнение потребительского рынка товарами и искоренение до смерти всем надоевшего дефицита. Практические результаты деятельности «демократического» правительства, похоже, развеяли это убеждение. Разве российский капитал заинтересован в расчленении единого экономического пространства СССР, в непомерных налогах, поборах чиновников и, главное,—в постоянной угрозе социального взрыва? Выступив под лозунгом форсированного перехода к рынку, «демократическое» правительство фактически этот рынок разрушило, вынудив товаровладельцев вернуться к самой примитивной форме товарообмена — бартеру.

Почему же очередная «весна надежд» российской истории обернулась столь горьким разочарованием? Прежде всего потому, что, несмотря на показное неприятие советского строя и советского образа жизни, «демократы», по сути дела, происходят от тех же исторических корней, что и коммунисты. В сущности, и те, и другие являются преемниками российского большевизма. Только коммунисты ведут это родство по линии идеологической, «демократы» же, формально отказавшись от Маркса и Ленина, продолжают большевистскую традицию люмпен-интеллигентского революционизма, характеризующегося нетерпимостью, склонностью ставить широкомасштабные социальные эксперименты, оправдываемые заверениями в скором построении «светлого будущего» (не позднее чем осенью нас, как известно, обещали наконец привести к вратам рая — правда, уже не бесклассового, а рыночно-капиталистического).

Вот почему борьба «демократов» и коммунистов сама по себе не в состоянии вывести историю России из замкнутого круга уже проигранных вариантов, и ни одна из этих сил сама по себе не в состоянии вывести ее на восходящую прямую. Перспектива такого выхода может быть связана только с каким-то иным течением, с «третьей силой», генетически и идеологически не имеющей отношения к первым двум.

Такой «третьей силой», существование которой принципиально расширяет выбор возможных для России альтернатив развития, выступают сегодня движения и партии народно-патриотического типа [1].

Объединяющим все эти организации началом является государственничество, ориентация на сохранение и развитие тысячелетних традиций великой державы, которая при всех тех противоречиях, коллизиях и трагедиях, которыми была наполнена ее история (как, впрочем, и история любого другого крупного государства), изначально складывалась как общий дом многочисленных народов, группировавшихся вокруг восточнославянского ядра. Державы, выступающей в качестве станового хребта Евразии и обеспечивающей устойчивое культурно-политическое соприкосновение нескольких мощных циви-

[1] Основными из них являются: Российский общенародный союз (РОС), Российское народное собрание, Русский национальный собор, партии и группировки, представленные в Координационном совете патриотических сил.

АНДРЕЕВ Андрей Леонидович родился в 1947 г. в Москве. Доктор философских наук, председатель Московского отделения Российского общенародного союза (РОС).

лизаций, прежде всего христианской и исламской.

Духовной основой «третьей силы» является «русская идея» — как выражение особой судьбы России и ее назначения в мировой истории. Конечно, понимается она не совсем одинаково, и эти различия воплощаются в программах и платформах разных политических организаций. Скажем, существует «национальный уклон» в интерпретации «русской идеи» и российского патриотизма (с акцентом либо на собственно русское, либо на славянское) и концепции более широкого — евразийского — плана, связывающие самоидентичность России не столько с родством по крови, сколько с родством «по почве», с геополитическими факторами формирования нашего государства.

«Третья сила» формируется медленно. Это связано как с относительной сложностью ее идеологии (восприятие которой требует довольно высокого уровня общей культуры и знания истории), так и тем, что долгое время эта идеология была ориентирована главным образом ретроспективно — на восстановление основ и традиций.

Если присмотреться к тем социальным понятиям, которыми мы привычно оперируем, детально исследовать их на достаточно широком историческом и страноведческом материале, первоначальная ясность и четкость их очертаний очень быстро размывается. Так, скажем, социальные отношения в развитых странах Запада сегодня очень трудно однозначно определить как только капиталистические. Высокая степень обобществления, гибкие механизмы государственного регулирования макроэкономических процессов, «распределенный» характер значительной части собственности, участие наемных работников в управлении предприятиями, эффективная система социальной защиты и социальных гарантий — все это сближает их с тем, что мы привыкли именовать социализмом.

Видимо, капитализм и социализм в чистом виде — это теоретические фикции, абстракции, задающие крайние параметры промышленной цивилизации, которая в своем развитии приближается то к одному, то к другому из этих полюсов, но никогда не совпадает с ними полностью. Реально речь должна идти об оптимальности соотношений различных экономических элементов, учитывающих как задачу создания эффективной экономики, так и социальные потребности страны. В этом смысле социальным идеалом патриотического движения является не капитализм или социализм, а **народный экономический строй.**

Причем, учитывая исторические традиции России и психологию ее народа, «социалистическая компонента» этого строя должна быть достаточно внушительной. Важно только, чтобы связанные с ней ожидания достаточно равномерного распределения дохода не привели вновь к царству уравнительности, гасящей стимулы к труду и предпринимательскую активность.

Вписывается ли в эту модель частная собственность? Вписывается. Но совершенно ясно, что без мощного государственного сектора и государственных программ развития нам не выбраться из отсталости. Необходимо развивать и коллективную собственность, позволяющую совместить в одном лице труд и предпринимательство; заслуживает, в частности, внимания идея передачи значительной части госпредприятий в полномочное хозяйственное ведение трудовых коллективов, создание самоуправляемых народных предприятий.

Основным итогом послеавгустовского развития событий стала потеря «демократами» поддержки той части населения, которая способна на такие политические действия, из которых и складываются революции. Официозные собрания, проводимые в комфортабельных залах, собирают пока немало любителей послушать речи. Но улица, на которой «демократы» еще недавно царили практически безраздельно, похоже, перешла в руки их противников.

Стремясь стабилизировать положение пришедших ныне к власти сил, их идеологи активно отрабатывают идею создания «демократической» оппозиции (А. Янов). Однако план этот пока так и остался планом. Ибо для его осуществления нужны новые концепции и новые лидеры, а их «демократы» выдвинуть не могут. Формирование реальной, а не декларативной оппозиции пошло вне «Демократической России» и ДДР на базе организаций, с одной стороны, коммунистического, а с другой — патриотического, государственнического толка. Вряд ли изменит положение и альянс «руцкистов» и «травкинцев» с партией Обновления А. Вольского, который один из телекомментаторов остроумно назвал «неоппозиционной оппозицией».

Правительство пытается компенсировать размывание своей социальной базы формированием мощной и практически не контролируемой исполнительной власти. В условиях неизбежного сопротивления масс непрекращающемуся ухудшению своего положения это неминуемо оборачивается усилением репрессивных функций государства. Фиговый листочек защиты конституции, активно использовавшийся в августе и некоторое время после него, теперь отброшен за ненадобностью. В проправительственной печати усиленно пропагандируется идея устранения высших законодательных органов страны как якобы «мешающих» президенту проводить реформы.

Особенностью политической пропаганды «демократов» являются попытки заявить некую монополию на реформаторство; все, кто настроен по отношению к ним критически, безоговорочно объявляются сторонниками «возврата к прошлому». Однако такие пропагандистские приемы могут воздействовать либо на очень наивных людей, либо на тех, у кого не изжито еще характерное для тоталитарного мышления представление о том, что истина одна и обладать ею тоже может только кто-то один. На самом же деле монетаристские манипуляции правительства «демократов», даже в скорректированном виде, принципиально не способны обеспечить выход страны на магистраль исторического прогресса. Да, собственно, реально они и не ставят такой цели, а все более и более вытесняют Россию в ряды второстепенных государств, специализированных на обслуживании интересов мировых центров силы, и прежде всего США.

К весне 1992 г. зависимость администрации от зарубежного диктата, от Международного валютного фонда, принявшая прямо-таки унизительные формы, стала совершенно очевидной даже для тех, кто недавно еще видел в «народном президенте» нового спасителя нации. Резкое возрастание «фактора зависимости» вызвало изменение характера нарастающего в стране революционного процесса. Начавшись как антитоталитаристская, новая русская революция теперь перерастает в народно-освободительную, антикомпрадорскую и антиимпериалистическую.

В этой ситуации ее движущие силы неминуемо должны были сплотиться по типу Народного фронта, охватив все движения, партии и группировки с достаточно ясно выраженной патриотической направленностью. Включая, как это ни парадоксально, и такие, для которых неприемлемо или даже ненавистно само слово «революция». В народных акциях протеста, прокатившихся в начале 1992 г. по всей стране, бок о бок участвовали коммунисты, социалисты, христианские демократы, кадеты, монархисты, представители других течений. В начале марта была опубликована Декларация о создании объединенной (правой и левой) оппозиции. В начале апреля, в преддверии VI Съезда народных депутатов России, сложилась и объединенная парламентская оппозиция правительству.

Съезд депутатов в апреле, как в зеркале, отразил неустойчивый, переходный характер политической системы, политического режима, да и всего российского общества в целом.

Очень важно, что, несмотря на массированное давление «демократических сил» и контролируемой ими печати, съезд отказался открыть дорогу «свободному» расхищению нашего главного национального богатства — земли и легализовать уничтожение союзного государства.

Разумеется, и парламент, и администрация неоднородны. Скажем, в окружении президента и в правительстве наряду с такими одиозными фигурами, как Г. Бурбулис, Г. Попов, С. Шахрай, Г. Старовойтова, Ф. Шелов-Коведяев, есть немало способных, компетентных людей, стремящихся внести посильный вклад в дело возрождения России. И все же в целом (в тенденции) администрация, и в частности президентская власть в том виде, в каком она ныне существует, выступает и как центр притяжения, и как своеобразный питомник того слоя номенклатурных дельцов, который в данный момент в наибольшей степени тормозит историческое обновление России на путях ускоренного технологического прогресса. Напротив, парламент, как бы даже вопреки своей неоднородности и аморфности, тяготеет к тому, чтобы стать рупором настроений народных масс, недовольных бурной экспансией спекулятивно-посреднического капитализма и разрушением производительных сил страны.

Как известно, несмотря на критику положения дел в экономике и в обществе в целом, съезд оставил пока наших «реформаторов» у руля государства. Вероятно, в сложившихся условиях рассчитывать на что-либо иное было трудно. Однако ясно, что внесение корректив в проводимую этой командой политику не снимает стоящих перед страной острейших проблем, и искать для них новые решения все равно придется. В этой ситуации главной задачей патриотических сил становится формирование на самой широкой основе **правительства народного доверия.**

«Несущей конструкцией» политики Гайдара является теоретическая модель некоей абстрактной экономики, «экономики как таковой», чисто механически спроектированная на российскую действительность. Интегрирующим началом альтернативной политики должны стать не «модели», какими бы стройными в чисто логическом плане они ни выглядели, а анализ конкретного общества, взятого во всей полноте и целостности его бытия, и четко проработанная концепция российских национальных интересов. Такой концепции у нынешнего правительства нет, и ее необходимости оно, кажется, по-настоящему и не ощущает.

Приоритет должен быть отдан социальным вопросам. Необходимо также определить то место, которое новая Россия должна занять в мире. И уже затем под эти задачи разрабатывать адекватную им систему экономических реформ. Не плыть по течению, повинуясь неблагоприятным ветрам, а ставить цели и настойчиво добиваться их реализации!

Основные элементы экономической политики, альтернативной курсу Ельцина—Гайдара и ориентированной на перспективу выдвижения России в ряды передовых, технологически и социально развитых государств, уже достаточно отработаны и складываются в целостную концепцию. В главных своих чертах она разделяется представителями практически всех патриотических течений.

Так, концепция, предложенная экспертами Консультативного совета Российского общенародного союза (РОС) накануне VI Съезда народных депутатов (ситуация меняется настолько быстро, что любой проект необходимо постоянно обновлять и пересматривать), предусматривает трехэтапный переход к социальному рыночному хозяйству.

Первый этап — проведение экстренных антикризисных мер. На этом этапе предусматривается восстановить управляемость народным хозяйством, ныне пущенным, по сути дела, «на волю волн». Однако механизмы этой управляемости не предусматривают возврата к изжившей себя административной практике. Речь идет о введении индикативного (рекомендательного) планирования и разработке стабилизационных программ, об использовании в процессе управления естественным образом растущих снизу горизонтальных хозяйст-

венных структур, отраслевых и межотраслевых объединений, сфера деятельности которых нередко захватывает и предприятия, расположенные в других республиках распавшегося союзного государства. На этом этапе необходимы бо́льшая централизация банковской системы, приоритетное стимулирование инвестиций в производительных целях, восстановление государственной монополии внешней торговли и пресечение потока ценнейших материальных ресурсов, которые ныне нелегально или полулегально уплывают за границы России, оставляя без сырья и материалов наши заводы и фабрики. Главная ставка на этом этапе должна быть сделана на госсектор, и прежде всего на те наиболее технологически прогрессивные его структуры, которые при соответствующей кредитно-инвестиционной политике способны сыграть роль «локомотива», вытягивающего за собой всю экономику. При этом уже с первых шагов должна быть начата целенаправленная работа по созданию конкурентной экономической среды. В этой связи рекомендовано проведение «малой» приватизации и усиление государственной поддержки фермерству.

Результатом первого этапа экономической реформы должно стать наращивание товарной массы до размеров, способных обеспечить первичное наполнение рынка.

Второй этап — этап наращивания экономического потенциала и естественного, органического врастания рыночных структур в народное хозяйство. На этом этапе разворачивается структурная перестройка экономики, создание современной рыночной инфраструктуры, осуществляется переориентация экспорта на неуклонное повышение доли наукоемкой продукции, обеспечивается возможность естественной трансформации колхозов и совхозов в ассоциации фермерских хозяйств или иные эффективные формы осуществления хозяйственной деятельности. В рамках второго этапа предусматривается завершение процесса демонополизации и переход от «малой» к «большой» приватизации при сохранении в государственной собственности ведущих предприятий базовых отраслей и соблюдении социальных прав трудовых коллективов. Одной из возможных мер является распределение права на совладение госсобственностью путем выпуска именных инвестиционных чеков, в результате чего собственником средств производства станет практически каждый гражданин России.

Система этих мероприятий в сочетании с эффективной, а если надо, то и жесткой защитой интересов национального предпринимательства обеспечит реальную экономическую независимость России, что позволит постепенно заменить государственную монополию внешней торговли лицензированием и таможенным регулированием, а также обеспечить частичную конвертируемость рубля.

Наконец, на третьем этапе реформы завершается переход к ресурсосберегающей, экологически чистой экономике, к социально ориентированному рынку. Рубль становится конвертируемой валютой. В России формируются мощные транснациональные корпорации и банки, способные оказывать существенное влияние на развитие мировой экономики. Страна занимает прочное место на мировом рынке наукоемкой продукции и технологий.

Достижение приоритетных экономических целей не может быть пущено на самотек в надежде на то, что все отрегулирует «невидимая рука» рынка. Стихийная рыночная стабилизация, как показывает опыт ряда стран, а теперь уже и наш собственный, есть всегда стабилизация на существенно более низком уровне развития экономики и народного благосостояния. Вот почему основу экономического курса оппозиции должен составлять пакет государственных целевых программ. Другое дело, что проводить их в жизнь надо не методами администрирования, а посредством налоговых и кредитных преференций.

Особо следует сказать о культуре и образовании. Ведь именно они определяют способность страны к динамичному развитию. Нынешняя экономическая политика — это политика удушения культуры и образования. И всякое национально мыслящее правительство, несомненно, должно в первую очередь подумать об этой сфере. Такие предлагавшиеся в печати меры, как освобождение творческих союзов от налогов, необходимы, но все же это меры паллиативные. Нам нужно не только обеспечить благоприятные условия для творческой деятельности, но и резко поднять культурный уровень всего народа. А это ведь делают не только творческие союзы, но и скромные библиотекари, работники музеев, учителя, воспитатели детских садов и т. д. Необходима массированная материальная поддержка культуры, науки и образования, значительную часть которой должно взять на себя государство. Принцип здесь такой: Россия должна отчислять для этих целей не меньшую долю национального дохода, чем наиболее развитые страны Европы, США и Японии, а учитывая наши особенности, может быть, и несколько бо́льшую. При этом уровень оплаты труда должен быть не меньшим, чем в среднем по народному хозяйству и сфере управления.

Но можно ли найти средства на реализацию государственных целевых программ и финансирование отраслей, непосредственно не приносящих дохода? Надо решительно отвергнуть идефикс контролируемого Международным валютным фондом правительства — стремление любой ценой получить бездефицитный бюджет. В условиях нехватки самого необходимого и резкого падения жизненного уровня населения это стремление просто абсурдно. Разумно планируемый на известное время дефицит платежного баланса и соответствующая эмиссионная политика в современных условиях являются необходимым инструментом выравнивания резких экономических диспропорций, в том числе и диспропорций в доходах различных групп населения.

Концепция национальных интересов устанавливает органическую связь внутренней и внешней политики. Связь, которая в деятельности нынешней администрации резко ослаблена: сегодня внутренняя и внешняя политика находятся как бы в разных измерениях и пересекаются лишь тогда, когда возникает вопрос о демонстрации заморским кредиторам нашего «примерного поведения». Не долговременные, перспективные цели национального социально-экономического развития российская внешняя политика в настоящее время, по существу, не работает.

Национальные интересы России многообразны, и они не могут быть уложены в нынешнюю одностороннюю западническую ориентацию. Скорее, если перефразировать известную формулу де Голля, речь должна идти об ориентации «по всем азимутам».

При этом в качестве безусловного приоритета необходимо выделить отношения внутри СНГ и с другими республиками, входившими в состав СССР.

Несправедливым и (в политике это, может быть, еще более важно) ошибочным является запущенный «демократами» в обращение тезис, согласно которому развал Советского Союза оценивается как естественный распад «последней империи». Термин «империя», входивший в состав официального наименования нашей страны до 1917 г., не должен в данном случае вводить нас в заблуждение: по сути своей ни историческое государство Российское, ни СССР империей в общепринятом смысле этого слова не были. Отдельные элементы имперской политики действительно имели место. Но это грех не государства как такового, а отдельных политиков. В основе же своей Россия была естественно сформировавшейся геополитической структурой особого типа: это было государство-континент, отличающееся от собственно империй прежде всего тем, что оно создавалось не столько полководцами и правителями, сколько народами. Историкам и политологам еще предстоит разобраться в действительных причинах крушения СССР. Но совершенно ясно, что естественная структура, в отличие от неорганичной и искусственной, в той или иной форме неизбежно восстановится. Восстановится именно как государственное образование, а не просто как некая ассоциация государств.

В этой связи перед российской внешней политикой возникают по крайней мере два приоритета: во-первых, не дать пока еще достаточно условным границам внутри СНГ «затвердеть» и превратиться в линии, рассекающие еще живой организм огромной страны, и, во-вторых, гарантировать права русских общин во всех бывших советских республиках и исторические связи этих общин с Российской Федерацией, в частности через систему двойного гражданства.

По сути дела, речь идет о формировании на территории СССР принципиально новой многослойной геополитической структуры: Российская Федерация — русскоинонациональные государства (каковыми, в сущности, являются многие из входивших в состав Союза республик) — страны, тяготеющие к России в силу тех или иных исторических, экономических и политических мотивов.

Совершенно ясно, что в территориальном отношении эта структура не совпадет полностью с бывшим СССР, каким он был в 1945—1991 гг., но вместе с тем у нее могут появиться и новые звенья. Важнейшее значение для формирования этой структуры будет иметь активность и дееспособность русской диаспоры, которая в принципе способна играть ключевую роль в экономике и культуре государственных новообразований на территории СССР и стать ферментом сближения, а также связующей средой между ними. Но такую структуру нельзя сформировать чисто дипломатическими средствами. Необходимо создание многоуровневой инфраструктуры общения между русскими общинами и их культурными центрами, гарантировать существование которой может и должно Российское государство.

Итак, альтернатива и внутренней, и внешней политике нынешнего российского руководства имеется, и альтернатива серьезная. Но как она может проложить себе дорогу, как могут претвориться в жизнь хотя бы некоторые ее элементы?

Как показало заключительное выступление президента Российской Федерации на VI Съезде народных депутатов, к конструктивному восприятию критики ни он, ни его команда не готовы. Такой подход чреват усилением социальной напряженности, конфликтами и конфронтациями. Крупномасштабный социальный взрыв был бы для России трагедией, и долг всех подлинно патриотических сил состоит в том, чтобы, опираясь на авторитет бескомпромиссной оппозиции, способствовать в меру своих сил предотвращению такой перспективы. Необходимо переключить взрывные механизмы революционного процесса на режим политической изоляции и «выдавливания» представителей спекулятивного капитала, компрадорских кругов и капитализирующейся номенклатуры из властных структур всех уровней. На этой основе можно добиться действительной, а не декларативной корректировки реформ и их переориентации на интересы России, ее народа и народов, связавших или желающих связать с ней свою судьбу.

Пройдя через разрушительное горнило «перестройки», Россия утратила свою самоидентичность и пока еще не смогла обрести новой интегрирующей идеи, придающей высокий исторический смысл ее существованию. Сегодня уже ясно, что «демократы» такую идею дать не в состоянии. Нельзя отрицать, что выброшенные ими лозунги (обогащение наиболее приспособленных, абсолютный приоритет индивида над общностью, «общечеловеческого» над национальным, абсолютная привязка к Западу, разрушение «империи» и т. п.) нашли определенную поддержку в средних слоях, но не смогли овладеть народом как таковым. Духовная задача новой русской революции состоит в том, чтобы дать России новую национальную идею, способную сплотить, разбудить творческую энергию, дающую возможность вновь почувствовать свою страну великой.

Произойдет неминуемое выдвижение на первый план таких течений, идеология которых не столь непримирима к частной собственности и не привязана к какой-то определенной социальной модели. Такой идеологией располагает патриотическое движение в широком смысле этого слова. Она открыта для самых разных направлений социально-исторического творчества и непосредственно, без всяких промежуточных концептуальных «прокладок» нацелена на эффективный синтез традиций и современности, на построение общества, способного успешно конкурировать за лидерство с наиболее передовыми странами. Это делает патриотическую идеологию в наиболее современных ее вариантах естественной и наиболее последовательной идеологией предстоящей нам революции технологического обновления.

Неокоммунистическая волна, которая идет сейчас впереди общего фронта оппозиции,— это лишь первый накат исторических сил, призванных осуществлять такую революцию. За ней уже поднимается и крепнет новая волна, под иными знаменами и лозунгами. Процесс этот идет в глубине общества и зачастую скрыт от непосредственного наблюдения. Но социологические исследования уже фиксируют его симптомы и признаки прогрессирующей переориентации наиболее активных слоев молодежи на «русскую идею».

Государственничество и патриотизм выступают как реальный центр всей политической конфигурации (именно реальный, потому что претендентов на центризм у нас хватает). В этом смысле он несет в себе возможность общенационального политического компромисса, кладущего конец изнуряющим нас бесконечным конфронтациям. С одной стороны, возможен и желателен союз с патриотическим движением прагматически мыслящих коммунистов. С другой стороны, в эту часть политического спектра стали перемещаться и некоторые заметные политические фигуры, первоначально связанные с «демократами». Остается, правда, еще разумно никак не объяснимая, инфернальная ненависть некоторых наших деятелей к идее великой России (если не России вообще). Остается — уже с другой стороны — и узкий догматизм сталинистов. Но всем крайним следует задуматься вот над чем: если на гребне той волны, которую постепенно создает «третья сила», не будет достигнута окончательная стабилизация общества, из недр отчаявшегося народа поднимется иррациональная и не поддающаяся никакому контролю «четвертая сила» — сила стихийного русского бунта, бессмысленного и беспощадного, способного привести к власти таких оголтелых демагогов и тиранов, которых мир еще не видывал. Нужно ли вам это, господа?

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Разбитые иллюзии побуждают к размышлениям, к «разработке» идей и жизненных ценностей. Сегодня, когда вслед за мифами «развитого социализма» на протяжении всего лишь года рухнула вера и в горбачевскую «перестройку», и в явление нового «спасителя России», надо глубоко задуматься над тем, что же все-таки у нас происходит.

Процесс самоанализа идет интенсивно. Пресса всех направлений до предела насыщена размышлениями политологов, социологов, экономистов. И все же создается впечатление, что эти размышления даже у представителей одного и того же или близких направлений носят какой-то разрозненный характер и не укладываются в сколько-нибудь целостную картину ситуации и перспектив ее развития. Мы видим пока отдельные факты и процессы, рассуждаем о них, но еще не поднялись на уровень понимания того, куда идет История. А без этого трудно или даже невозможно овладеть ситуацией, которая принимает все более взрывной характер.

Разумеется, понять Историю не по силам одному человеку. Но кто-то должен сделать первые шаги. Одним из них и является статья «Третья сила». Ее автор — известный ученый, один из идеологов патриотической оппозиции разрушительному курсу команды «реформаторов», заведшей Россию в пучину тяжелейшего кризиса.

То, что происходит сегодня в России, автор статьи характеризует как революцию в самом прямом смысле этого слова. Революцию, динамика которой подчиняется классическим законам вызревания революционных ситуаций. Быть может, не все с этим согласятся. Но факты, похоже, свидетельствуют в пользу этой точки зрения. Когда официальные комментаторы успокоительно заверяют нас в том, что недовольство народа находится «в пределах допустимого», я лично всякий раз думаю: неужели события в Грузии и Таджикистане ничему их не научили?

Оппозиция стремится сохранить максимально конституционный, максимально парламентский путь нашего государства. В этом плане в статье выдвинут ряд интересных соображений, касающихся того, как ввести революционный процесс в русло мирного обновления общества. И вместе с тем оценка ситуации как революционной звучит как предостережение: если власть утрачивает способность конструктивно воспринимать критику, если она реагирует на оппозицию как на врага, события могут выйти из-под контроля. И тогда — трагедия. Дай Бог, чтобы она не произошла.

С. БАБУРИН

Контактный телефон РОС: 343-40-21 (звонить вечером). Адрес: 103051, Москва, К-51, абонементный ящик 60.



Вече

ВАДИМ ШТЕПА

ДЕПАРТИЗАЦИЯ

Эти строки пишутся в тот момент, когда стало известно, что судебное разбирательство по делу о запрещении КПСС перенесено на июль с. г. Ко времени, когда вы возьмете в руки этот номер журнала, оно, наверное, уже состоится. Однако нет никаких сомнений в том, что деятельность КПСС не только не будет вновь разрешена, но и партию — со дня ее основания — вообще признают «антиконституционной» — разумеется, по свежеиспеченным РФ-овским законам. Ловкость судей (совсем недавно еще, кстати, самих состоявших в КПСС) в этом вопросе обескураживает даже последовательных антикоммунистов, способных на непредвзятое восприятие: эти судьи сделали самого истца — группу депутатов, требовавших проверить законность ельцинского указа о компартии, — ответчиком за в с е деяния КПСС, чем нарушили даже нормы либеральной юстиции, в верности которым не устают клясться, и, таким образом, развернули предполагаемый наблюдателями ход процесса в сторону, выгодную ныне власть предержащим. Впрочем, это лишь малый штрих к картине сегодняшнего «прогрессивного» режима, в котором прогрессируют лишь рабство и подлость, измены и подмены...

Однако в поведении властей на процессе о запрещении КПСС и вокруг него отчетливо различима такая иррациональная черта — испуг и опасение перед тем, что партию могут вновь «разрешить». Эти чувства весьма наглядно демонстрируют ощущение ими самими собственной политической ничтожности перед тем историческим феноменом, которым была КПСС. Ведь в самом деле — с этим феноменом невозможно серьезно сопоставить ни одну из тех, большей частью опереточных, «партий», что всплыли на поверхность разливанного моря посткоммунистического плюрализма. Сегодня любому наблюдателю, обладающему хотя бы элементарным историософским сознанием, должно быть совершенно ясно, что режим авторитарной однопартийности, возникший на руинах традиционного мироустройства в России и являвшийся соответствующим тому времени Ответом русского менталитета на Вызов истории, будучи сам разрушенным, может смениться в свою очередь лишь адекватным по мощности и соответствию национальной ментальности режимом. Вполне очевидно, что такой насущный Ответ не воплощает собою ни одна современная «партия». И поэтому, прежде чем приблизиться к непосредственному анализу текущей политической жизни в России, необходимо выявить и обозначить те исторические закономерности, которые сопровождали установление и функционирование прежнего режима. Без такого выявления — причем не только в русской истории — любой современный анализ и прогноз политических событий будет поверхностным и количественным, тогда как мы сегодня вплотную приближены к новому качественному историческому скачку.

* * *

Непредвзятый аналитический взгляд на историю XX века среди множества прочих аналогий непременно должен выделить небывалую смуту начала столетия (точнее — его первой трети), потрясшую — можно без преувеличения сказать — весь евразийский континент. На политическом уровне эта смута выразилась в фатальном кризисе инерциально-буржуазного института многопартийности, что предельно ясно прослеживается в аналогии политических ситуаций в России конца 10-х годов и в Германии начала 30-х. После крушения традиционных монархий, являвшихся вековым оплотом евразийской стабильности, но серьезно утративших свой авторитет (а следовательно, возможности и способности для авторитарного правления) посредством допущения в легальную политическую структуру внетрадиционных, и даже — откровенно антитрадиционных сил, к власти в обеих странах приходят режимы, строящие свою политику исключительно на интересах «третьего сословия» — буржуазии, заменившей системы традиционных мировоззрений рационалистическими иллюзиями об общественном устройстве. Но ни «февральская», ни Веймарская республики принципиально не могли стать достойным историческим Ответом, поскольку совершенно не соответствовали глубинным ментальным энергиям своих народов, не брали в расчет всю

силу и значимость этих энергий, пытаясь подменить их поверхностным, количественным принципом либеральной многопартийности. Но выход этих энергий был неизбежен, причем уже тогда наметилось, что он пройдет по двум направлениям.

Россия начала XX века была поражена довольно глубоким социальным кризисом. Конечно, никакого «людоедства царских сатрапов», как сие изображалось в коминтерновском агитпропе, не было, но если все же не идеализировать эту ситуацию (как сегодня зачастую не совсем оправданно делается), то придется уяснить, что предпосылки для социального переворота, для торжества «четвертого сословия» — пролетариата, были, и были они наиболее сильны именно в России. Признаки вырождения (а как еще назвать англоманство или, например, вопиющий антипатриотизм, проявившийся во время русско-японской войны?) дворянского сословия, постепенная безвольная сдача им властных полномочий слоям городского, в основном финансового, капитала при трагическом срыве национальной агропромышленной столыпинской реформы — все это фатально вело к взрыву возмущения именно по социальным причинам. Неорганичную роль этого капитала было дано выявить, понять (а значит — победить) только представителям «четвертого сословия», хотя они и рассматривали эту роль уже не с точки зрения прежних ценностей, но — сквозь свою оптику «социального прогресса». Исторический парадокс заключался в том, что к реальному капитализму начала XX века, разъедавшему русское мироустройство и уничтожавшему его традиционный дух, наиболее бескомпромиссно, без всяких конформистских иллюзий, подошли представители именно рабочих, самого «молодого» и энергичного социального слоя, а не укорененных в этом мироустройстве сословий дворянства, духовенства или крестьянства.

Ситуация же в Германии имела типологически схожий характер, только основным сущностным отличием был жестокий национальный кризис. Версальский мир 1919 года нанес страшное оскорбление национальному достоинству немцев. По его условиям Германия не только лишалась обширных исторических территорий (в том числе и завоеванного еще Бисмарком Шлезвига), которые она должна была уступить Франции, Бельгии, Дании и Польше; не только вынуждена была выплатить огромные репарации, но и — что самое унизительное — теряла право иметь серьезные вооруженные силы, которые по условиям договора должны были быть ограничены стотысячной армией добровольцев, не иметь на вооружении самолетов, танков и подводных лодок, кроме того, Генеральный штаб подлежал роспуску. Естественно, что в этих условиях народное недовольство в Германии, усугубленное к тому же и социально-экономическим дилетантизмом правителей Веймарской республики, быстро зрело. Только если в России выход ментальных энергий народа осуществился посредством «крайне левых» сил, германский Ответ последовал с «правого края», но — от представителей нации, столь же бескомпромиссных и не склонных к конформизму. Ни простые «правые» консерваторы — юнкеры и сторонники правления Кайзера, ни либералы, ни тем более социал-демократы и откровенно антинациональное большинство коммунистов — не были способны на то максимальное проявление великого германского духа, которого насущно требовала эпоха.

На политическом спектре неизбежность исторического Ответа выразилась в фатальном перетоке популярности к «крайно левым» силам в России и к «крайне правым» в Германии. Аналогичность этого перетока можно продемонстрировать даже прямыми соответствиями. Так, от партии «Центра» в Германии и Конституционно-демократической партии в России властные функции и общественное внимание постепенно «перетекали» к Немецкой национальной партии (националистам) и Партии социалистов-революционеров (эсеров) соответственно, пока наконец различными способами, но с равной неминуемостью победа была не одержана: в Германии — Национал-социалистской рабочей партией (нацистами), в России — Социал-демократической рабочей партией (большевиков). Исторический Ответ в обеих странах на смуту начала века был дан, а с ним автоматически отпадала необходимость существования породивших эту смуту и порожденных ею иных политических партий, «не дотягивавших» до осознания воли истории. Новый уклад жизни настойчиво потребовал и новых способов политического управления, одним из главных атрибутов которого стало явление авторитарного Вождя, в глубине своей сущности преемствующего идеал традиционной монархии, но зиждящегося уже не на выхолощенной инерциальности прежнего уклада, а — на твердом и буквально заслуженном авторитете у новых социальных или национальных сил.

О становлении однопартийных авторитарных режимов невозможно говорить как о некой «аномалии» — более широкий взгляд позволяет проследить целую евразийскую тенденцию этого становления, а значит — вывести анализ на геополитический уровень. Рассматривая ситуацию с этого уровня, невозможно не заметить, например, что в неизбежности появления таких режимов в Евразии конкретные идеолого-политические формы играли не более чем подчиненную роль. Так, относительно легкая смена авторитарного режима Чан Кайши на идеологически противоположный, но столь же авторитарный режим Мао Цзэдуна в Китае свидетельствовала о глубинном соответствии самого этого способа управления китайскому менталитету. Высочайший личный авторитет Махатмы Ганди в Индии сыграл едва ли не решающую роль в освобождении этой страны от английской колонизации. Появление же и в Европе несомненных Вождей калибра Муссолини и де Голля, Франко и Тито, во главе однопартийных или близких к ним авторитарных режимов, вне зависимости от

конкретных идеологий, говорило, казалось бы, о новом проявлении единой евразийской традиции, о возможности совместного преодоления смуты начала века, к разжиганию которой приложил немало сил главный геополитический противник всех автохтонных народов Евразии — врожденно-антитрадиционный, банкократический режим Соединенных Штатов Америки и их атлантистских сателлитов.

Основные авторитарные однопартийные режимы в Евразии — германский и советский — не сумели прийти к органичному согласию именно оттого, что в их политике возобладала идеология: национальный принцип Крови в нацистской идеологии и общественный принцип Класса в советском коммунизме затмили собою геополитически интегральный, евразийский принцип Почвы. В сущности, именно идеологический тоталитаризм в обоих режимах повинен в жесточайшем геноциде против *своих* же народов. Он сыграл и роковую конфликтогенную роль между Германией и Россией. Тем самым он объективно послужил общему геополитическому противнику, издавна реализующему на *наших* землях свой принцип — «разделяй и властвуй».

Тотальную победу в Европе одержал именно атлантизм, сокрушивший германский авторитарный режим извне — руками режима советского, а последний, в свою очередь, изнутри — посредством «ценностей американской демократии», разложивших советское общество. И если коммунистическая идея, выраженная принципом Класса, в послевоенное время уже сама по себе постепенно переставала органично соответствовать русскому национальному и социальному сознанию (ввиду мощного патриотического подъема в годы войны и постепенного изменения социальной структуры общества), то главной *нашей* задачей становилась преображение этого принципа в традиционный, евразийский принцип Почвы. КПСС утратила свой авторитет и вырыла себе могилу тем, что так и не осмелилась твердо отстаивать этот принцип (заключавшийся прежде всего в решительной защите территориальной целостности страны), а значит, и не сумела выразить в новых условиях русский менталитет, залегающий гораздо глубже внешнего раскола в КПСС на ортодоксальных сторонников принципа Класса и откровенных в своей атлантистской ориентации демократов. К слову надо заметить, что механистическое, искусственное насаждение атлантистами у нас многопартийной системы является наиболее современной формой тоталитаризма, поскольку в ней идеологический фактор вновь затмевает или игнорирует геополитические константы.

Мы сами теперь оказались в положении Германии 1945 года: страна искусственно расчленена, усиленно подвергается экономической и политической американизации. А поскольку и в Европе ситуация не «лучше», ибо ее ныне форсированно превращают в новые «Соединенные Штаты» под чутким финансовым и политическим руководством из-за океана, то вывод здесь может быть однозначным: история вновь бросает Вызов евразийским народам — сумеют ли они сохранить свою национальную, духовную и культурную самобытность, а также экономическую и политическую независимость, или же предпочтут исторически стерилизованное существование в «общечеловеческой» клетке «нового мирового порядка»? И Ответ ныне может быть дан именно на территории исторической России, поскольку у нас наиболее резко и бесцеремонно начинает реализовываться геополитически чужеродная государственная модель, подразумевающая окончательное разрушение традиционной сущности евразийских государств и последующую неоинтеграцию их под эгидой атлантизма. Поэтому если одним из «типичных вопросов, стоящих перед гражданином Америки сегодня, — как утверждает политолог Роберт Даль, — является: наступило ли время для атлантистского содружества народов?» — то, наверное, для жителя России насущный вопрос должен звучать как раз противоположным образом: является ли нынешнее Содружество на нашей территории действительно *нашим*, соответствует ли модель «независимых государств» нашему менталитету, и если это не так, то не наступило ли время сделать это Содружество подлинно нашим, независимым геополитически, *евразийским* «содружеством народов».

Сегодня очевидно, что евразийская политика должна строиться не на принципах Крови или Класса, исторически уже устаревших, но — на принципе Почвы, органично совмещающем в себе как национальное, так и социальное сознание каждого *нашего* народа. Принцип Почвы — ныне подлинно национален, ибо требует недопущения национальных войн на территории исторической России, в сущности, войн между *своими*, способных окончательно разрушить традиционную взаимную комплиментарность. Принцип Почвы реализуется в защите именно общих традиционных ценностей, в совместном противостоянии антитрадиционному атлантизму, не в подавлении этнических потенциалов друг друга, но — во взаимном признании авторитетов. Принцип Почвы — ныне также и социален, поскольку в нем отражаются интересы большей части нашего общества, не желающей установления «мировых цен» на энергоносители и приватизации крупных отраслей промышленности, что в сегодняшней ситуации, при засилье посредническо-перекупочно-банковского капитала, приведет не к экономическому подъему, а — неминуемо — к полной сдаче всей экономики геополитическому противнику, лицемерно называемой «вхождением в мировую экономическую систему». (Здесь не стоит обольщаться и насчет «объединенной Европы», где крупные производители также все более подпадают под влияние американского финансового капитала.)

Итак, для актуального политического анализа в нашей стране сегодня обязательны, по меньшей мере, два критерия — геополитика и принцип Почвы. Ведь

от того, насколько они проявлены в политической жизни России, напрямую зависит новая возможность исторического, евразийского, ментального Ответа.

* * *

«Наше Отечество гибнет. Мы — вменяемые люди», — так ярче и лаконичнее всех на одной из пресс-конференций в ходе VI Съезда народных депутатов РФ выразил причину рождения на этом съезде блока «Российское единство» депутат Илья Константинов, член Российского христианского демократического движения (РХДД). В этот блок, задуманный как объединяющий все патриотические силы в депутатском корпусе, вошло шесть фракций: «Российский Союз», «Россия», «Отчизна», «Коммунисты России», «Аграрный союз» и «Промышленный союз». Впрочем, две последние фракции сосредоточивались в основном на своих «профессиональных» проблемах, и как зрелые политики — что в парламенте совершенно необходимо — себя, к сожалению, не проявили.

Созданный в первый же день съезда блок «Российское единство» претендовал на весомую политическую роль, но, увы, так и не смог ее сыграть. Важной причиной этому послужило явное отсутствие несомненного лидера в блоке, политика, пользующегося наибольшим заслуженным авторитетом, пригодного, как того требует история в подобных — катастрофических — ситуациях, на роль авторитарного Вождя. (Впрочем, может быть, прав был великий русский философ К. Н. Леонтьев, утверждая: «Не парламентаризм рождает вождей...»?) Именно отсутствие такого Вождя и предопределило распыление «Российского единства» по всему комплексу рассматривавшихся на съезде вопросов, при отсутствии четкой стратегии своих шагов и ограничении лишь тактическими ходами. Хотя в «Российском единстве» надо отметить такое безусловно позитивное явление, как объединение в один блок с коммунистами-патриотами принципиальных антикоммунистов — кадетов Михаила Астафьева и демохристиан Виктора Аксючица, чего обе последние организации доселе постоянно избегали. Это объединение убедительно свидетельствует о том, что перед высшими — патриотическими ценностями идеологии отступают на задний план, начинают выполнять лишь подчиненную функцию.

Тем не менее простое объединение патриотических сил на съезде само по себе на направление текущей политики повлияло весьма незначительно. Очевидно, что расхожий лозунг «Патриоты — объединяйтесь!» показал свою недейственность, и, думается, именно потому, что в нем заложена апелляция лишь к количественным характеристикам. А ведь Суворов еще учил воевать не числом, а уменьем.

Ясно, что при наблюдаемом «плюрализме» в самом патриотическом движении непременно надо выделить качественные характеристики, оценивать не тактику, а стратегию политических сил, рассматривать ситуацию не только по «горизонтальной» оси (оппозиция — власть), но — по «вертикальной» — по соответствию той или иной оппозиционной организации современному русскому менталитету, что включает в себя как социально-экономический, так и национально-государственный, а также духовно-культурный уровни политики. По-видимому, для адекватного анализа сегодня надо выйти за искусственные рамки нынешней социализации (т. е. обучения индивидуума его роли в обществе), поскольку эта социализация предусматривает апелляцию гражданина лишь к «конституционности», «парламентарности» и другим атлантистским общественным критериям — ведь в нашей стране все издавна решается качественным образом, не обращая внимания на указанные критерии, тем более что многие перспективные фигуры в политике России нардепами РФ не являются. Кроме того, ныне чрезвычайно важно отделить, что называется, зерна от плевел в самой оппозиции — так, вряд ли можно серьезно говорить об оппозиционности к нынешним властям, скажем блока «Гражданский союз» (Демократическая партия Н. Травкина, союз «Обновление» А. Вольского и Народная партия свободной России А. Руцкого) или Партии экономической свободы К. Борового, — все эти организации безусловно стратегически едины с властями, и весь их «оппозиционный» заряд продиктован лишь стремлением дистанцироваться от очевидного провала оных.

Триада социально-экономического, национально-государственного и духовно-культурного уровней политики оппозиции сегодня выражена соответственно: неокоммунистами, государственниками и национал-патриотами. Эти названия лишь условны, поскольку патриотами, в сущности, являются (или называют себя) они все; задача состоит здесь в том, чтобы выделить на всех трех уровнях действительно н а ш и х, новую евразийскую политическую элиту.

Социально-экономический уровень текущей политики при горизонтальном рассмотрении имеет вполне отчетливую антагонистическую пару: народ и необуржуазия. Приставка «нео» здесь помогает понять сущность устанавливаемого у нас «рынка», не имеющего практически никаких преемственных черт от инерциального, производительного, но при таких непременных основных атрибутах, как посредничество, перепродажа, ключевая роль банков и стремление к «американскому образу жизни», выдающего себя как исключительно атлантистское явление. Но русскому социальному сознанию сегодня соответствует уже не просто пролетарский коммунизм, принцип Класса, а, скорее, феноменальное явление, которое названо национал-большевизмом. Если понимать это явление не на примитивном, плоскостном уровне, как это делал М. Агурский, именуя «национал-большевизмом» любое «патриотическое» высказывание того или иного вождя КПСС, а объемно и нераздельно, то придется при-

знать, что в советской истории его, по сути, и не было.

Поэтому н а ш е й из неокоммунистических (т. е. возникших после уничтожения КПСС) сил, действующих на социально-экономическом уровне политики и являющихся последним политическим препятствием на пути установления полной экономической власти атлантистской необуржуазией, является именно национал-большевистское движение «Трудовая Россия» Виктора Анпилова. Это спонтанно возникшее (в том его мощь и ценность!) народное движение является действительно нонконформистским — в его рядах совершенно отсутствует выродившаяся и продажная прежняя коммунистическая номенклатура. Нонконформизм выражен и в том, что «Трудовая Россия» никогда не смирится с развалом исторической России — Советского Союза: твердая защита социальных интересов большинства народа в этом движении органично слита с принципом Почвы. Принцип Почвы в «Трудовой России» выражен несравнимо мощнее, чем пережитки принципа Класса, что отчетливо видно хотя бы на ее многотысячных митингах, которые потому и удается собирать, что движение апеллирует ко всем трудящимся, ко всем реальным сословиям, которых не устраивает прозападная необуржуазная экономика, а не взывает к пролетарскому мессианизму. Это, собственно, превосходно отражено и в имени движения — именно «Т р у д о в а я Россия», а не, например, «пролетарская» или «рабочая». Тем более что т. н. «рабочее движение» сегодня зачастую является карманным у ныне власть предержащих, ибо попросту ими куплено баснословными суммами зарплат — как это, к примеру, сделал Бурбулис с шахтерами.

Однако в неокоммунистических силах существует и противоположное национал-большевизму течение, которое как раз и связано с купившимися на подачки властей «рабочими движениями» и пытающееся выражать их интересы в «конституционных» структурах нынешней атлантистской системы. Я имею в виду организации типа Социалистической партии Роя Медведева. Это течение также, конечно, может выступить в роли «социального защитника трудящихся», но — не с точки зрения принципиального несоответствия реального неокапитализма нашей Почве, а исключительно по «общечеловеческим» соображениям о «прогрессе», должном быть «гуманным». Кроме того, конформистская сущность подобных движений наглядно выражена и в удивительном сочетании в их идеологии наследия «мировой революции» — прежнего варианта мондиализма, теоретиком которого до недавнего времени был Р. Медведев, с мондиализмом нынешним — необуржуазным. Поэтому движения, подобные медведевскому, н а ш и м и назвать никак нельзя. Таково «вертикальное» сечение на социально-экономическом уровне текущей политики.

Горизонтальная антагонистическая пара иного политического уровня — национально-государственного — это оппозиционеры-государственники и находящиеся у власти откровенные антигосударственники (типа Ю. Афанасьева и Г. Старовойтовой, а также иных настолько одиозных фигур, что о них не стоит и говорить). Однако анализ этого уровня не так прост, поскольку он в части государственников содержит целых два вертикальных измерения. В первом из них н а ш и м и являются те политики, которые последовательно отстаивают традиционное, евразийское единство страны, будь то Империя или Советский Союз. И противостоят им деятели, конформистски смирившиеся с «усечением» страны до размеров РФ, которое является звеном в осуществлении на нашей земле атлантистского геополитического проекта. Пользуясь фонограммами, сделанными на VI съезде, я попытаюсь воссоздать эту вертикаль, так сказать, сверху вниз.

Убежденные сторонники Союза — Империи, как правило, спокойны и уверены в неизбежности победы. «Процесс восстановления общей территории народа, который имеет тысячелетнюю историю, не остановить никаким бушам, ельциным и кравчукам», — считает депутат Николай Павлов, член фракции «Россия» и Российского общенародного союза. И невесело шутит над теми, кто отождествляет Россию и РФ: «Россия «обрела независимость»? В какой это, интересно, исторической битве?»

Еще более прям и лаконичен был гость съезда Геннадий Зюганов, председатель Координационного совета народно-патриотических сил России: «Россия и СССР — синонимы». (Нет сомнений, конечно же, что у РФ-овских и пр. обозревателей прессы и ТВ автор сего изречения автоматически попадает в «русские шовинисты». Но в таком случае туда надо зачислить и огромное количество зарубежных политиков и обозревателей, до недавних времен упорно продолжавших звать весь Союз — Россией.)

Михаил Астафьев подходит к этому вопросу в основном с юридической точки зрения: «Если признавать, что полный распад страны осуществился, то в таком случае я отказываюсь признать легитимность границ России, поскольку те, которые есть сейчас, никогда не существовали и проведены совершенно произвольно... Нынешние правители существуют только благодаря этому распаду — не будь его, все они моментально утрачивают легитимность собственной власти».

Самым серьезным и компетентным из высказываний государственников о геополитике мне представляется выступление на одной из съездовских пресс-конференций координатора депутатской фракции «Отчизна» генерала Бориса Тарасова:

— Я и многие мои товарищи категорически не согласны с предлагаемой нам новой военной доктриной, согласно которой Россия должна быть готова к ведению лишь ограниченных, локальных войн. Думается, развитие больших пространств уже не раз доказало нам, что опасность, которая может угрожать нашему — евразийскому — пространству, может возникать спонтанно и внезапно. Поэтому мы полагаем, что необходимость объединять

усилия всех ныне стран СНГ в защите нашего евразийского пространства продиктует другую необходимость — более тесного их союза, а впоследствии — и нового объединения.

В этой связи резкие «крымские» заявления такого твердого сторонника Союза—Империи, как Сергей Бабурин, не выглядят стратегически просчитанными. Виктор Аксючиц, также приверженец идеи присоединения Крыма к РФ, на вопрос, не считает ли он, что нагнетание страстей вокруг этой проблемы приведет не к восстановлению страны, а напротив — к окончательному расколу ее частей — РФ и Украины, отвечает так: «Я считаю, что позиция пораженчества всегда приводит к трагическому исходу».

Однако думается, что «позиция пораженчества» здесь выражается совершенно в противоположном: коль скоро требуется «вернуть» Крым в границы РФ, это автоматически означает их признание, что, таким образом, и узаконивает распад Союза по этим границам. Поэтому не естественнее ли для подлинных русских государственников «объединять усилия всех ныне стран СНГ в защите нашего евразийского пространства» и выходить на прямой диалог с евразийскими силами в «ближнем зарубежье»?

Кстати говоря, геополитические представления у многих государственников довольно оригинальны. Тот же Виктор Аксючиц на вопрос о его отношении к проамериканскому мондиализму отвечает отрицательно — но почему? «Потому, что России отводится роль не высокоразвитой страны, включенной в орбиту американской цивилизации, а — ее сырьевого придатка». Это надо понимать, видимо, в том смысле, что атлантизм с его системой псевдоценностей сам по себе для нас хорош, плохо лишь то, какую роль нам отводят в его «орбите». Да ведь принципиально не могут отводить нам роль равного! — в противном случае атлантизм не был бы серьезным геополитическим проектом.

Апофеозом же геополитического дилетантизма, либо чего-то гораздо худшего, являются воззрения самих властей, в частности вице-президента РФ Александра Руцкого, назвавшего стратегический форпост США — Израиль — «настоящим другом России на Ближнем Востоке...» Хотя, впрочем, президент РФ по части антироссийских геополитических решений переплюнул и своего залетного зама, присоединившись к атлантистским санкциям против истинного исторического нашего друга — Сербии, что вообще, прошу прощения, выходит за рамки приличных комментариев.

Второе вертикальное измерение в этой политике заключено в противоречии между принципом Почвы, т. е. идеей Союза — Империи, и принципом Крови, т. е. приоритетом национального фактора над территориальным. В сущности, политики, называющие себя русскими государственниками, но исповедующие принцип «Кровь важнее Почвы», сегодня объективно, вне зависимости от своих заявлений, реализуют именно атлантистский геополитический проект, заключающийся прежде всего во «внутренней децентрализации советской империи», — как выражается видный идеолог атлантизма Збигнев Бжезинский, — посредством поощрения «сил национализма». Так, приверженцами принципа Крови является, к сожалению, большинство государственных деятелей «независимых государств», а в РФ этот принцип максимально воплощает Русское освободительное движение (РОД), желающее выделить из РФ так называемую «республику Русь» — моноэтничное гособразование посредством... «освобождения» от всех автономий, национальных округов и т. д. Это было бы смешно, если бы не было так грустно, поскольку — осуществимо.

Итак, только вышеперечисленных государственников принципа Почвы, твердых сторонников России как Союза или Империи, можно с полной уверенностью назвать *нашими* в актуальной национально-государственной политике.

И, наконец, стоит непременно обратить внимание на духовно-культурный уровень политики. Рассмотрение этого уровня сложно — дело в том, что его деятели редко «опускаются» до ежедневной политики, предпочитая сосредотачиваться на ценностях более высоких. И тем не менее этот уровень также представляет собой политическое явление.

Горизонталь здесь выражена резким противостоянием находящихся в оппозиции национал-патриотов и всех тех властных сил, которым они ненавистны. Однако поскольку спектр национал-патриотических движений весьма широк, а часть их выше уже упомянута, здесь представляется интересным остановиться на рассмотрении именно монархических движений, ибо сегодня они быстро растут— людей с характерными черно-желто-белыми значками можно встретить все чаще. Поэтому вполне уместно «вертикально» сравнить две организации — союз «Христианское возрождение» Владимира Осипова и Православно-монархический союз-орден (ПРАМОС) Сергея Юркова-Энгельгардта. Прежде всего надо отметить последовательный нонконформизм первой организации, никогда не сотрудничавшей с коммунистическим режимом и негативно относящейся к ныне власть предержащим. Вторая же организация допускает конформизм с нынешним формальным псевдовозрождением России. Далее, союз «ХВ», как строго традиционалистская организация, резко критически относится к западному атлантистскому режиму; ПРАМОС же к Западу вполне лоялен. Союз «ХВ» объединяет сторонников исторической самодержавной монархии, а также полагает, что Царя надо заслужить; ПРАМОС — придерживается конституционно-монархических взглядов и допускает возможность конституирования монархии парламентом. И, наконец, многозначительное для православного наблюдателя отличие: члены союза «ХВ» — прихожане Русской Православной Церкви, в то время как ПРАМОС предпочитает юрисдикцию Русской Зарубежной Церкви... Сказанного, думается, вполне доста-

точно, чтобы определить из двух этих организаций *нашу*: безусловно, союз «Христианское возрождение» гораздо глубже чувствует и полнее выражает русский менталитет. Кроме того, он вполне способен выполнить и соответствующую ему евразийскую геополитическую миссию: поскольку, если дано будет ради сохранения мира на нашей общей родине достичь согласия между различными вероисповеданиями, к нему придут лишь подобные организации, поскольку именно фундаменталисты разных народов обычно хорошо понимают друг друга.

Вообще насущную необходимость для каждой *нашей* политической организации того или иного выражения духовно-культурных ценностей можно ярко продемонстрировать на примере стоящей оригинальным особняком в текущей политике Либерально-демократической партии Владимира Жириновского. Так, если Владимир Вольфович довольно реалистично оценивает социально-экономическую ситуацию, если и геополитический, евразийский национально-государственный проект его безупречен, составлен гораздо умнее, чем у множества других партий, то абсолютное самоотстранение Жириновского от духовно-культурных традиций России, подчеркнутая декларация им своего атеизма не позволяют ему в полной мере соответствовать современному русскому менталитету. Кроме того, эксцентричная манера поведения и словно бы издевательское название партии заставляют не воспринимать всерьез эту фигуру. Хотя кто в России может дать от чего-нибудь абсолютные гарантии?..

* * *

Итак, подводя итоги, можно сделать вывод о том, что в ходе русской посткоммунистической истории размывается, исчезает само понятие «партии», ибо ни одна из этих организаций за год «торжества демократии» так и не сумела сконцентрировать в себе всю необходимую мощь нового социально-экономического, национально-государственного и духовно-культурного Ответа на Вызов Истории, вновь брошенный Евразии и жестоко ударивший по России. Видимо, мы присутствуем в ходе неизбежного исторического процесса *департизации*, затронувшего всю Евразию, где уже ни одна «партия» не выражает всей полноты и мощи соответствующего национального менталитета, а в Европе и вовсе давно установлена американская поверхностная, количественная, лицемерная многопартийная модель, лишь скрывающая действительных обладателей власти, и только разрозненные школы «новых правых» напряженно ищут возможности жизненно необходимого Ответа... Ныне, когда у нас все небывало персонифицировано (одним из последних указывающих на то примеров стал Горбачев, довольно долгое время *один* персонифицировавший собою СССР, когда все вокруг уже считалось «бывшим»; пока не совершил беспрецедентное геополитическое предательство), неизбежно должен возникнуть, оформиться Блок *наших* политических деятелей, вне зависимости от идеологий, Блок Патриотических Вождей, которые вместе с нонконформистскими силами на территории исторической России сумеют выработать совместную политическую стратегию евразийского Ответа. Им надо будет преодолеть и последнее лукавое изобретение атлантистов — их попытку инверсировать, поставить себе на службу саму великую нашу идею Евразии, лишив ее сущностного, геополитически самостоятельного значения. Эту идею ныне пытается наполнить принципиально чуждым ей — «общечеловеческим» и «демократическим» — содержанием специалист по американским коммунистам и госсоветник РФ С. Станкевич, который уже слывет «евразийцем» в истэблишменте РФ. От того, будет ли дан *наш* Ответ до той поры, как эта инверсия увенчает мировой субверсивный процесс и установит на нашей земле «новый мировой порядок», зависит действительно все. И поэтому *наша* идея отныне — это идея консервативной революции против современного мира, запутавшегося и погибающегося в сетях самодовлеющего атлантистского «прогресса». Консервативная революция — это теперь единственное действие, которое нам осталось, для того чтобы органично воссоединить всю — «левую» и «правую» — настоящую оппозицию и проявить русский менталитет во всей его мощи и глубине. С большой долей вероятности можно предполагать, что уже осенью — зимой 1992 года, когда национальное и социальное сознание, проникнутое идеей Почвы, идеей Евразии, идеей консервативной революции, в России созреет и поднимется на качественно иной уровень, — у евразийских народов появится наконец вновь великий шанс дать достойный Ответ на вековую экспансию атлантистского, продавшего душу дьяволу Запада и не ввергнуть себя заново в его актуальный проект национальной, социальной и партийной войны всех против всех.

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА



Геополитика

Статья В. Мичурина представляет интерес в нескольких аспектах. Широкому читателю будет интересно само описание событий; политологу представится неожиданная картина мусульманского фундаментализма как серьезной и действенной силы, а не случайной вспышки фанатизма. И, наконец, ученому интересна данная автором интерпретация феномена исламского возрождения. Статья содержит описание трех вспышек пассионарности, последнюю из которых мы наблюдаем. Сила и разворот событий показаны достаточно наглядно, хотя несколько лаконично. Уж больно интересны иранские события для современного читателя! Однако малый объем статьи помешал автору предложить развернутый прогноз дальнейшего развития Ирана.

Л. ГУМИЛЕВ.

ВЛАДИМИР МИЧУРИН

ВОЗРОЖДЕНИЕ ИРАНА

В СВЕТЕ ТЕОРИИ ЭТНОГЕНЕЗА

1

В последнее время в мире все большой интерес вызывает феномен «исламского возрождения» в странах Ближнего и Среднего Востока. Действительно, почти во всех странах этого региона созданы исламские неформальные религиозно-политические организации, активно заявившие о себе в общественной жизни. В ряде государств (в 1982 г. в Сирии, в 1992 г. в Алжире) эти организации предприняли попытки захвата власти.

Однако в ранг первостепенных проблем мировой политики феномен «исламского возрождения» поставила антишахская революция 1979 годв в Иране. По напряжению общественных сил, накалу страстей, числу жертв оиа не имеет прецедентов в странах «третьего мира». Кроме того, провозглашенная победившим в результате революции слоем исламская идеология существенно отличается от трактовок ислама, принятых в других странах, прежде всего своим наступательным, непримиримым духом. Эта идеология также никак не может быть сведена ии к одной из распространившихся в XIX—XX веках революционных доктрин социалистического толка. Значительно влияние иранской революции на другие страны исламского мира. Все ато заставляет исследовать внутренние процессы, превратившие Иран из аморфной полуколонии России и Запада, которой он был более 100 лет, в уникальный центр идейного притяжения и политической активности, которым он стал сейчас. Отметим, что иранская революция не была совершеиа какой-либо единой организацией, созданной до ее начала. Наоборот, наиболее мощные исламские организации (Исламская республиканская партия, Корпус стражей исламской революции и др.) формировались и ширились в ходе самой революции, исходя из принципа «свой—чужой».

Коренным для нас является вопрос: каковы источники пассионарности, преобразившей Иран? Задаться этим вопросом нас вынудила бросающаяся в глаза разница степени активности иранского населения в 1979 году и 100, 150, 200 лет назад. Обратимся к историческим фактам.

К началу XIX века Персия была очень слабым государством, налицо были все признаки низкого уровня пассионарности. Инерция пассионарного толчка VI в. н. э., поднявшего некогда исламский мир и оплодотворившего пассионарностью Ближний и Средний Восток, иссякла (с его момента прошло уже более 1300 лет). Некоторое количество пассионарного генофонда могло быть привнесено в Персию в период монгольского завоевания, бывшего результатом более позднего пассионарного толчка XI в. Пришедшая из Великой степи пассионарность сказывалась в XVIII веке, когда после падения династии Сефевидов и нашествий афганцев власть в стране захватило тюркское племя каджаров (потомки Каджар-нойона). Оно несколько выделялось своей активностью, удерживая власть. Но в начале XIX века Персия уже стала ареной борьбы России, Англии и Франции, пытавшихся перетянуть, каждая иа свою сторону, безынициативного Фетх-Али-хана. Впрочем, Фетх-Али-хан пытался воевать с Россией, но безуспешно. Типичный эпизод этой войны, характеризующий уровень боеспособности персидских войск: 12 октября 1812 года на Араксе генерал Котляревский напал на 10-тысячную персидскую армию наследного принца Аббаса-Мирзы, имея лишь 1500 солдат и 500 казаков. Победа была полной, персидская армия бежала. Затем генерал взял приступом Аркеван и Ленкорань. В целом война завершилась полным поражением Персии.

На примере предпринятой в 1837 году шахом Мухаммедом попытки взять Герат можно ярко продемонстрировать, что такое война в отсутствие пассионарных личностей. В 1836 году персидская армия просто не смогла дойти до Герата из-за нехватки съестных припасов, но в ноябре 1837 года шах с громадной армией осадил город и простоял под его стенами до сентября 1838 года. При помощи артиллерии, имевшейся у персов, ничего не стоило пробить в городских стенах бреши. Но шах приказал стрелять из пушек так, чтобы ядра перелетали крепость. Он рассчитывал, что жители Герата испугаются звука выстрелов и сдадутся. Персы так и не предприняли штурма. Осада кончилась тем, что в лагерь шаха прибыл английский полковник Стоддарт и просто потребовал снять ее. В результате шах отступил, а в целом война кончилась тем, что Персия приняла все условия англичан, бывших на стороне гератского князя.

Такому «боевому духу» персидской армии вполне соответствовали развал и затхлость всех областей общественной жизни, характерные для фазы обскурации — «сумерков» этногенеза, когда этнос растратил все запасы пассионарности.

Первые люди нового склада появились в Персии в первой половине XIX века, пока еще в очень незначительном числе. Это были последователи («мюриды») Шейха Ахмеда из городка Лехзи, а в дальнейшем — сторонники секты бабидов. Здесь следует сделать принципиальную оговорку: мы говорим не о зарождении новой идеологии, а о появлении пассионариев — людей с новой психической конституцией.

Облик и деятельность Баба — основателя нового вероучения, а также его сторонников — бабидов очень характерны для первых поколений пассионариев, возникших в результате пассионарного толчка. Окружающим обывателям эти люди казались полубезумными фанатиками, экзальтированными мистиками. Уверовавшие в Баба, наоборот, отмечали его необычайное личное обаяние, красоту, особую манеру держать себя. Характерен резкий барьер и взаимная неприязнь между новообращенными и большинством населения, нечувствительным к проповеди. Важны также некоторые элементы проповеди Баба (имя его означает «дверь», посредник между мессией-махди и народом, подготовляющий пришествие махди). Баб учил, что мир надо исправить, установив царство справедливости; существующая власть — это «анти-махди» (что соответствует в христианской теологии понятию «антихрист»), в жизни необходим аскетизм. Среди его последователей были выдающиеся проповедники: так, молодая девушка Тахире в короткое время создала многолюдную общину.

В 1848 году началась бабидская революция, жестко подавленная; в 1849 году был казнен Баб. После устроенной правительством в 1852 году резни бабиды частично были истреблены, частично вынуждены были покинуть Персию, перенеся свою пропаганду на другие страны. Во второй половине XIX века на основе бабизма была создана секта бехаитов, активно действующая поныне.

Бабиды потерпели очень жестокое поражение, но пассионарный подъем в стране не был остановлен. После некоторой паузы он возобновился. В новых поколениях опять стали появляться люди, ищущие удовлетворения своей жажде деятельности и познания. Хотя загнивание государственной системы страны, превратившейся в полуколонию, продолжалось, конец XIX века отмечен созданием различных политических обществ и волнениями по всей стране. Появляется панисламизм и левое движение. 1 мая 1896 года панисламист Реза Кермани убил Насер-эд-Дин-шаха. К 1905 году антиправительственное движение вылилось в революцию, протекавшую на этот раз преимущественно под левыми лозунгами. В ходе революции по всей стране создавались «энджумены» — первичные консорции (вроде профсоюзов). В середине 1907 года в одном Тегеране было 140 энджуменов, а в июне 1908 — около 200, в том числе исламские энджумены. Были созданы левые политические организации моджахединов и федаинов (воссозданные затем в 60-е годы и сыгравшие немалую роль в революции 1979 года). В 1908 году первый министр правительства был убит федаином, было также покушение и на жизнь шаха. Для подавления многочисленных восстаний по всей стране привлекались русские войска (с переменным успехом). Но в июле 1909 года Мохаммед-Али-шах все же был свергнут. Революция была подавлена только в 1911 году русскими и англичанами.

Восстания под самыми различными лозунгами (прогерманскими, исламскими, левыми, антианглийскими, национальными) продолжались и во время первой мировой войны, и в 20-е годы, причем поч-

МИЧУРИН Владимир Аскольдович родился в 1965 году в Ленинграде. Окончил географический факультет Ленинградского государственного университета. Работает младшим научным сотрудником Института озероведения Академии наук России. Автор работ по этнологии и экологии. Живет в Санкт-Петербурге (Ленинграде).

ти по всей стране. Это говорит о появлении в Иране большого количества пассионариев, выдвигавших множество разных, противоречащих друг другу программ действий. Однако общей объединяющей доминанты пока не было.

В 1921 году к власти пришел Реза-хан, в 1925 году воцарившийся в качестве Пехлеви Реза-шаха. Ему удалось потушить большинство очагов восстаний. Реза-шах взял курс на европеизацию страны, укрепление государственности и армии, национализм и определенное ограничение влияния ислама. После 1941 года, когда Реза-шах отрекся от престола в пользу сына, прогерманская ориентация сменилась на проамериканскую, влияние США и Англии в стране резко возросло. В качестве реакции на это в стране стало нарастать антизападное движение, в основном в связи с вопросом о национализации Англо-Иранской нефтяной компании. После свержения правительства Мосаддыка, национализировавшего компанию, страна вернулась к прозападному курсу. Однако внутри иранского общества уже вызревали силы, призванные преобразить его. Теперь, когда мы знаем дальнейший ход событий, особое внимание следует уделить образованию в конце 40-х годов группой молодых мулл и толлабов медресе мусульманской экстремистско-террористической организации «Федаяне эслам», связанной с рядом представителей высшего духовенства. На ее счету было убийство шахского премьер-министра Размары, но после покушения на следующего премьера Х. Ала организация была жесточайшим образом разгромлена.

В 1963 году шах Мохаммед Реза Пехлеви (сын Реза-шаха) начал реформы, получившие название «белой революции». «Белая революция» была призвана превратить Иран в современное процветающее государство, своего рода «ближневосточную Японию». Страна действительно развивалась быстрыми темпами. Возможно, мечтам шаха, проводившего реформы с немалой энергией, суждено было бы сбыться, если бы не появление нового поколения пассионариев, объединенных ненавистью к шаху и избранной им модели развития общества. Закономерности этногенеза оказались сильнее, чем планы правившей Ираном верхушки, несмотря на всю мощь США, поддерживавших шаха.

2

К концу 70-х годов борьба с шахским режимом приобрела острую массовую форму. Напряжение сил с обеих сторон было значительным. Достаточно сказать, что за два последних года своего правления шахским режимом в ходе подавления восстаний было убито, по разным оценкам, от 15 до 65 тыс. человек и искалечено более 100 тыс. человек. Очевидно, что шахский режим отнюдь не был дряхлым и бессильным. Это отличает иранскую революцию от многих других раздутых пропагандой «революций», сводившихся по сути к простой смене не способных к дальнейшему правлению режимов.

В феврале 1979 года, после прибытия в страну очень авторитетного аятоллы Хомейни, шахский режим был окончательно свергнут, несмотря на уступки, которые делал глава правительства Шахпур Бахтияр. Ненависть к режиму была столь велика, что людей уже не интересовало, выполняет правительство требования восставших или нет (шах к тому времени покинул страну, а Бахтияр подписал указы о роспуске репрессивного аппарата САВАК и привлечении к суду бывших шахских министров). С 9 февраля началось всеобщее вооруженное восстание, к 12 февраля закончившееся победой. Счет погибших и раненых за эти дни шел на тысячи. Только в одном Тегеране в ходе восстания было убито свыше 650 человек.

После победы революции выяснилось, что принимавшие участие в ней многообразные силы почти ничем, кроме ненависти к шаху, не объединены. При этом обнаружилось, что в отличие от событий 1905—1911 годов в революционном движении преобладает исламское крыло, руководимое крайне активным шиитским духовенством, а не левые организации. Роль неформального вождя революции с самого ее начала стал играть аятолла Хомейни, последовательно стоявший на позициях исламского фундаментализма.

Сам Хомейни, возглавивший революцию в 79 лет, представляет собой типичного пассионария высшего, жертвенного типа и может быть поставлен в один ряд с такими историческими фигурами, как Ян Гус, Лютер или протопоп Аввакум. Борьбу за свои идеи он начал еще в 30-е годы, подпольно читая лекции и подготовив сотни последователей для будущей борьбы с режимом. В 1962 году Хомейни, став аятоллой, возглавил забастовку духовенства. В попытках заставить молчать Хомейни дважды арестовывали, но тщетно: в письме на имя премьер-министра он заявлял, что сердце его готово быть пронзенным штыками солдат. Непокорный аятолла был выслан в Турцию, но не прекращал антишахской пропаганды. В Иране за одно только хранение его трудов полагалось 10-летнее тюремное заключение. Жизнь Хомейни и за границей находилась под постоянной угрозой, так как агентура САВАК стремилась уничтожить противников шаха.

Но несмотря на громадный авторитет Хомейни, даже ему было крайне трудно руководить послереволюционным Ираном. Тем более в сложном положении оказался новый премьер-министр страны Мехди Базарган, деятель довольно умеренной ориентации. В стране существовало бесчисленное множество организаций различного направления, причем каждая готова была отстаивать свои идеалы с оружием в руках. Так, полувоенизированные левые организации федаинов и моджахединов, захватив соответственно центр допросов и заключения САВАК и здание Фонда Пехлеви, создали там свои штаб-квартиры, превращенные, по существу, в крепости, охрана которых располагала тяжелым оружием и бронетехникой. По всей стране были созданы сотни революционных комитетов (в одном Тегеране — до 400), не поддающихся ничьему контролю. Они проводили аресты и даже казни, их отряды производили нападения на собрания политических противников. Многие революционные деятели (Язди, Готбзаде и др.) обзавелись своими личными вооруженными отрядами. В Тегеране постоянно происходили многотысячные митинги и манифестации, проводимые по инициативе различных организаций. Они часто кончались вооруженными столкновениями. В целом обстановка в стране балансировала на грани гражданской войны. К тому же после революции усилились волнения и восстания в районах проживания национальных меньшинств, особенно курдов.

Вот как описывал положение в послереволюционном Иране премьер-министр М. Базарган: «...забастовочные и революционные комитеты повсюду подменяют правительственные органы, принимая решения, которые не входят в их компетенцию. У каждой мечети есть свой революционный совет. Так что правительство принимает одно решение, а все эти органы — другое... Мы уже не говорим о людях, творящих правосудие с помощью телесных наказаний, о муллах, которые ведут себя в провинциях как проконсулы, о леваках, подстрекающих рабочих и солдат. Либо положение в этой области прояснится до референдума... либо я уйду в отставку». Действительно, править Ираном в тогдашней обстановке было столь же сложно, как управлять разлетающимися осколками взорвавшегося парового котла.

Постепенно в раздираемом политической борьбой иранском обществе все же стала проявляться осевая линия развития, этническая доминанта, притягивавшая все больше пассионариев. Это был исламский фундаментализм шиитского вероисповедания. Начали формироваться все новые и новые исламские организации, соперничающие в своей непримиримости и готовности к жертвам во имя исламской революции и имама Хомейни: Исламская республиканская партия, «Организация борцов за святое дело исламской революции», «Хезболла» («Партия аллаха») и другие. Вновь появилась организация «Федаяне эслам». Но наибольшее значение имело создание «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) — уникального формирования, быстро приобретшего черты военно-религиозного ордена. В последующие годы в ходе ирано-иракской войны КСИР превратился, по сути, в параллельные вооруженные силы, имеющие сухопутные войска, ВВС, ВМС и собственную военную промышленность. Официально объявленной целью КСИР является распространение исламской революции на весь мир, личный состав корпуса отличается особым фанатизмом и воспитывается по специальной системе, сочетающей боевую и религиозно-идеологическую подготовку. КСИР сыграл основную роль в подавлении волнений национальных меньшинств, на фронте формирования КСИР выполняли функцию ударных частей.

Постепенно мусульманское духовенство, опираясь на быстро растущие и укрепляющиеся фундаменталистские организации, перешло в решительное наступление. В августе 1979 года был нанесен удар по левым организациям, многие из которых перешли на полулегальное положение, и по курдскому движению. Власть все более сосредотачивалась не в Тегеране у правительства, а в Куме, у Хомейни и высшего духовенства. Окончательный удар по оппозиции был нанесен после захвата в ноябре 1979 года группой членов Организации мусульманских студентов американского посольства в Тегеране. Все было совершено с ведома Хомейни. Очередной кризис окончился отставкой Базаргана и разгромом либерального и левого движений. Были арестованы и казнены многие известные исламские революционные деятели, обвиненные в связях с ЦРУ (например, Готб-заде). На организации моджахединов и федаинов были обрушены массовые репрессии, на которые они ответили ожесточенной террористической борьбой. Фактически борьба с левыми организациями обернулась гражданской войной, шедшей одновременно с битвами на фронте с Ираком. В 1981—1982 годах моджахединами было убито несколько тысяч высших политических и религиозных деятелей режима, сотрудников госбезопасности, членов командного состава КСИР. С другой стороны, с июня 1981 по июль 1983 года было казнено примерно 30 тыс. членов и сторонников этой организации.

Постепенно кипящий пассионарностью Иран превращался в невиданное в XX веке общество теократического типа. Он уже ничем не напоминал не только затхлое общество Персии XIX века, но и тянущийся к западной цивилизации шахский Иран времен «белой революции».

3

В сентябре 1980 года началась ирано-иракская война. Она стала одним из самых длительных, ожесточенных и кровопролитных вооруженных конфликтов XX века. Потери сторон, по оценкам военных экспертов, превысили 1 млн. человек.

В начале войны Ирак имел не только стратегическую инициативу, но и неплохие шансы на победу. Они заключались в том, что иранская армия была отчасти дезорганизована в ходе революции, а поставки оружия и, что особенно важно, запасных частей к боевой технике из-за границы были затруднены вследствие международной изоляции Ирана. Ирак же закупил большое количество вооружений и достиг в ходе войны значительного технического перевеса над противником. Однако иракское руководство не учитывало «фактора икс» — пассионарности, которая имелась в Иране в избытке. В первые же месяцы войны на фронт направилось огромное количество бойцов КСИР и ополченцев. Многие из них готовы были стать «шахидами» (то есть отдать жизнь за веру). Военные специалисты отмечают, что боевые действия велись иранской стороной за счет ставки на многочисленность и фанатизм личного состава. Ввиду того, что к 1982 го-

ду Иран имел армию общей численностью до 235 тысяч человек, а Ирак — 320 тысяч, приходится сделать вывод, что главная ставка делалась именно на фанатизм.

Зачастую первый эшелон атакующих иранцев состоял из добровольцев-ополченцев (возраст 14—15 лет), которые ценой своей жизни разминировали минные поля и обеспечивали таким образом ввод в бой регулярных частей.

Между сентябрем 1981 и летом 1982 годов Иран сумел вернуть себе почти все утраченные позиции. А после отвода иракских войск на линию государственной границы инициатива в ведении боевых действий надолго перешла на сторону Ирана. Он взял курс на длительную вооруженную борьбу и истощение противника. Фактической целью войны было свержение режима Саддама Хусейна и провозглашение в Ираке исламской республики. Не считаясь с людскими потерями, в условиях недостатка тяжелой техники и боеприпасов иранское командование начало «прогрызать» оборону противника на узких участках. Достаточно описать одну наступательную операцию Ирана — «Валь фаджр-8». Она началась в ночь с 8 на 9 февраля 1986 года, когда более 100 тыс. человек на южном участке фронта захватили город Фао и пытались нанести удар по Басре, но, попав под сильный огонь артиллерии Ирака, были остановлены. Иракские войска нанесли 12—14 февраля фронтальные контрудары. За период операции Иран потерял до 50 тыс. человек убитыми и ранеными, захватив небольшие участки территории.

Печальный «рекорд» был поставлен во время попытки Ирана в декабре 1986 года захватить ряд плацдармов на западном берегу реки Шатт-эль-Араб. За два дня боев иранцы потеряли 10 тыс. человек только убитыми. Во время войны применялось химическое оружие, не использовавшееся даже в период II мировой войны.

Для характеристики уровня пассионарного напряжения ново-иранского этноса важно, что недостаток оружия, боеприпасов и запасных частей компенсировался иранским командованием за счет фанатизма войск. Так, по данным журнала «Мидл Ист экономик дайджест», летом 1984 года Ирак превосходил Иран по числу боеспособных самолетов в 4—5 раз, бронетранспортеров в 4 раза, танков — в 2,5 раза. Подобные соотношения были характерны и для других периодов войны. И, несмотря на это, в течение почти всей войны Иран удерживал наступательную инициативу (Ирак стал контрнаступать только в 1988 году). Интересен такой факт: из-за разногласий между регулярной армией и КСИР прямо в ходе боевых действий между ними возникали вооруженные столкновения. А чтобы оценить скачок пассионарности в Иране за 150 лет, достаточно вспомнить «достославную» осаду Герата, снятую из-за окрика английского полковника.

4

Подводя итоги, следует отметить типические черты фазы подъема, выявленные ранее на основе изучения всемирной истории, наблюдаемые в Иране XIX—XX веков.

1). Появление людей нового склада — пассионариев, во все возрастающем количестве. Причем рост их числа шел волнообразно. Выделяется три пика пассионарности — 40-е годы XIX века (бабидская революция), начало XX века (революционные события, появление левого и исламского движений) и, наконец, исламская революция и создание нового, теократического Ирана.

2). Повышение активности во всех сферах жизнедеятельности: политической, военной, религиозной, культурной. Политически Иран претендует на роль лидера исламского мира, распространяет свое влияние на другие страны; в военной сфере он выдержал изнурительную войну, создав мощную армию и военную индустрию; об активизации религиозной жизни говорить излишне.

3). Рост числа подсистем этноса. Сформировавшееся в XX веке пассионарное духовенство настолько отлично от своих предшественников XVIII и XIX веков, что его можно расценить как новый субэтнос в составе иранского этноса, причем к настоящему времени правящий. Консорции образовывались сотнями в каждый из пассионарных пиков (энджумены в начале XX века, революционные комитеты в 1979 году). Многие консорции достигли большой численности (партии, военизированные организации).

4). Жесткая регламентация поведения членов новой системы. Неожиданно после столетия усиленной вестернизации в Иране жесточайшим образом внедрены исламские нормы жизни, касающиеся даже бытовых вещей (ношение чадры, запрет употребления свинины и вина и т. д.). Характерно для фазы подъема и насаждение нравственных норм, проводимое сейчас в Иране.

5). Территориальное расширение ареала этноса, наблюдаемое в фазе подъема, было остановлено в 80-е годы XX века только лишь путем огромных поставок современного вооружения в Ирак (не исключено, что Ирак также был преобразован пассионарным толчком).

6). Создание совершенно новой ментальности, нового мироощущения и мировоззрения, охватившего массы людей. Оно несет на себе характерные черты фазы подъема: императив «надо изменить мир, ибо он плох», мессианизм (призывы распространить исламскую революцию на весь мир).

Активность нового Ирана после локального спада, вызванного гибелью большого количества пассионариев во время революции и войны, будет, безусловно, возрастать и дальше. То, что мы наблюдаем сейчас в регионе Ближнего и Среднего Востока — лишь прелюдия к грядущим событиям.

Национальная альтернатива

АЛЕКСАНДР ДУГИН

КАРЛ ШМИТТ: пять уроков для России

Знаменитый немецкий юрист Карл Шмитт (1888—1985) считается классиком современного права. Некоторые называют его «современным Макиавелли» — за то, что в его анализе политической реальности отсутствуют сентиментальное морализаторство и гуманистическая риторика. Карл Шмитт считал, что в определении правовых проблем в первую очередь важно дать ясную и реалистичную картину политических и социальных процессов, отказавшись от утопий и благопожеланий, а также от априорных императивов и догм. Сегодня научное и юридическое наследие Карла Шмитта является необходимым элементом юридического образования в западных университетах. Для России же его творчество представляет особый интерес и особое значение, так как Шмитта особенно интересовали критические ситуации в политической жизни современности. Его анализ права и политического контекста права, без сомнения, поможет нам яснее и глубже понять, что происходит в нашем обществе, что происходит в России.

Урок 1. ПОЛИТИКА, ПОЛИТИКА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Главным принципом философии права Карла Шмитта была идея о безусловном главенстве политических принципов над всеми критериями общественного существования. Именно политика организовывала и предопределяла стратегию внутреннего и внешнего бытия общества. Все большее усиление давления экономических факторов в современном мире Карл Шмитт объяснял следующим образом: «Тот факт, что сегодня экономические противоречия становятся противоречиями политическими... свидетельствует лишь о том, что, как и всякий другой вид человеческой деятельности, экономика может пойти по пути, который неизбежно приводит к политическому выражению» («Begriff des Politischen», стр. 127).

Смысл такого утверждения, подкрепленного у Шмитта, разумеется, солидной исторической и социологической аргументацией, сводится в конечном счете к тому, что можно определить как теорию «коллективного исторического идеализма», где в качестве субъекта выступает не индивидуум, экономические законы, развивающееся вещество и т. д., а конкретный, исторически определенный, социально единый н а р о д, сохраняющий на разных формах и стадиях своего экономическо-социального существования качественное единство, духовную непрерывность традиций и органическую ткань особой воли, динамической, но наделенной своим собственным законом. Сфера политики в понимании Шмитта становится воплощением воли народа, выражающейся в самых различных формах, которые относятся к юридическому, экономическому и социально-политическому уровням.

Такое определение политики идет вразрез с механистическими, универсалистскими моделями структуры общества, которые преобладали в западной юриспруденции и философии права начиная с эпохи Просвещения. У Шмитта сфера политики связывается напрямую с двумя факторами, которые механицистские доктрины склонны были игнорировать: с конкретикой исторического народа, наделенного своей особой качественной волей, и с исторической спецификой того или иного общества или государства, традиции и прошлое которого, по мнению Шмитта, концентрируются в его политическом проявлении. Шмитт,

таким образом, утверждая примат политики, вводил в философию права и в политологию качественные, органические характеристики, заведомо не укладывающиеся в одномерные схемы «прогрессистов» — как либерально-капиталистического, так и марксистско-социалистического толка.

Теории Шмитта рассматривали политику как явление «укорененное», «почвенное», «органическое».

Такое понимание политики необходимо России и русскому народу для того, чтобы адекватно распорядиться своей судьбой и не стать снова, как семь десятилетий назад, заложником антинациональной, редукционистской идеологии, игнорирующей волю народа, его прошлое, его качественное единство и духовный смысл его исторического пути.

Урок 2. ПУСТЬ ВСЕГДА БУДУТ ВРАГИ, ПУСТЬ ВСЕГДА БУДУТ ДРУЗЬЯ

Карл Шмитт в книге «Понятие Политики» высказал чрезвычайно важную истину: «Народ существует политически только в том случае, если он образует независимую политическую общность и если он при этом противопоставляет себя другим политическим общностям, как раз во имя сохранения своего собственного понимания своей специфической общности». Хотя эта точка зрения полностью расходится с гуманистической демагогией, характерной как для марксизма, так и для либерально-демократических концепций, вся мировая история, и в том числе действительная (а не прокламируемая) история марксистских и либерально-демократических государств, показывает, что именно так дело обстоит на практике, хотя утопическое, постпросвещенческое сознание и не способно этот факт признать. В реальности политическое разделение на «наших» и «не наших» существует во всех политических режимах и во всех народах. Без этого разграничения ни одно государство, ни один народ, ни одна нация не смогли бы сохранить своего особенного лица, не смогли бы иметь своего собственного пути, своей собственной истории.

Трезво анализируя демагогическое утверждение об антигуманности, нечеловечности такой оппозиции, такого деления на «наших» и «не наших», Карл Шмитт замечает: «Если некто начинает выступать от имени всего человечества, от лица абстрактной гуманности, это означает на практике, что этот некто высказывает таким образом чудовищную претензию на то, что он лишает всех своих возможных оппонентов человеческого качества вообще, объявляет их вне человечества и вне закона и потенциально предполагает войну, доведенную до самых страшных и бесчеловечных пределов». Поразительно, что эти строки написаны в 1934 году, задолго до американского террористического нападения на Панаму или бомбардировок Ирака. А кроме того, о жертвах ГУЛАГа тогда тоже еще не было достаточно известно на Западе. Таким образом, к самым страшным последствиям приводит не реалистическое признание качественной специфики политического существования народа, которая всегда предполагает деление на «наших» и «не наших», но именно стремление к насильственной универсализации, к втискиванию наций и государств в клетки утопических концепций «единого и однородного человечества», лишенного всяких органических и исторических различий.

Отправляясь от этих предпосылок, Карл Шмитт развил теорию «тотальной войны» и «ограниченной войны», так называемой «войны форм». Тотальная война является следствием универсалистской утопической идеологии, отрицающей естественные культурные, исторические, государственные и национальные различия народов. Такая война чревата уничтожением человечества. Экстремистский гуманизм — прямой путь к такой войне, считает Карл Шмитт. Тотальная война предполагает участие в конфликте не только военных, но и мирного населения. Это — самое страшное зло. «Война форм» неизбежна, так как различия между народами и их культурами неистребимы. Но «война форм» предполагает участие в ней только профессиональных военных и может регулироваться определенными юридическими правилами, которые некогда в Европе носили название Jus Publicum Europeum (Европейский Общественный Закон). «Война форм» — наименьшее зло. Теоретическое признание ее неизбежности заранее предохраняет народы от «тотализации» конфликте и от «тотальной войны». Здесь уместно привести знаменитый парадокс Шигалева из «Бесов» Достоевского, который говорит: «Исхожу из абсолютной свободы и прихожу к абсолютному рабству». Перефразируя эту истину, можно сказать, что сторонники радикального гуманизма «исходят из тотального мира и приходят к тотальной войне». В справедливости замечания Шигалева мы имели возможность убедиться в течение всей советской истории. Убедиться в правоте Карла Шмитта гораздо труднее, так как если его предупреждения не будут учтены, некому будет засвидетельствовать его правоту — от человечества ничего не останется.

И последний важный момент в определении «наших» и «не наших», «врагов» и «друзей». Шмитт считает, что фундаментальность этой пары для политического бытия нации ценна также и тем, что в этом выборе решается глубинная экзистенциальная проблема. Жюльен Фройнд, ученик и последователь Карла Шмитта, так сформулировал этот тезис: «Пара враг — друг дает политике экзистенциальное измерение, так как, предполагая теоретически возможность войны, выбор в рамках этой пары ставит проблему жизни — смерти». (Жюльен Фройнд. «Силовые линии политической мысли Карла Шмитта». — «Нувель Эколь», № 44). Юрист и политик, рассуждающие в категориях «враг» — «друг» с ясным осознанием смысла этого выборе, оперируют тем самым экзистенциальными категориями, что придает их решениям, поступкам и заявлениям качество реальности, ответственности и серьезно-

сти, которых лишены все утопические гуманистические абстракции, превращающие драму жизни и смерти в войне в одномерную химерическую декорацию. Страшной иллюстрацией этого было освещение иракского конфликта западными средствами массовой информации — американцы следили за гибелью иракских женщин, детей и стариков по телевизору, как будто наблюдая за компьютерными играми звездных войн. Идеи Нового Мирового Порядка, основы которого были заложены в этой войне, означают лишение страшных и драматических событий всякого экзистенциального содержания.

Пара «враг — друг», являющаяся и внешне-, и внутриполитической необходимостью для существования политически полноценного общества, должна быть трезво принята и осознана, в противном случае «врагами» станут все, а «друзьями» — никто. Это политический императив истории.

Урок 3. ПОЛИТИКА «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» И РЕШЕНИЕ

Одной из самых блестящих сторон концепции Карла Шмитта является принцип «исключительных обстоятельств» (по-немецки, «Ernstfall», дословно — «серьезный случай»), возведенный в ранг политико-юридической категории. Согласно Шмитту юридические нормы описывают только нормальную политико-социальную реальность, протекающую равномерно и непрерывно, без разрывов. Только к такой сугубо нормальной ситуации применимо в полной мере понятие «права», как его трактуют юристы. Существуют, конечно, регламентации «чрезвычайного положения», но эти регламентации определяются чаще всего все же исходя из критериев нормальной политической ситуации. Классическая юриспруденция тяготеет, по мнению Шмитта, к абсолютизации критериев нормальной ситуации, к рассмотрению истории общества как одномерного юридически конституируемого процесса. Наиболее полным выражением такой точки зрения является «Чистая теория права» Кельзена. Однако за этой абсолютизацией концепции «правового подхода», «правового государства» Карл Шмитт видит тот же утопический механизм и наивный универсализм, идущие от Просвещения с его рационалистическими мифами. За абсолютизацией права скрывается попытка «закрыть историю», лишить ее творческого, страстного измерения, политического содержания, **народности**. На основании такого анализа Карл Шмитт выдвигает особую теорию — теорию «исключительных обстоятельств», Ernstfall.

Ernstfall — это момент, когда принимается политическое решение в ситуации, которая не может более быть регламентированной обычными юридическими нормами. Решение в «исключительных обстоятельствах» предполагает соединение множества разнородных органических факторов, относящихся как к традиции, историческому прошлому, культурным константам, так и к спонтанному волеизъявлению, героическому преодолению, страстному порыву, внезапному проявлению глубинных экзистенциальных энергий. Истинное Решение (а сам термин «Решение» был ключевой концепцией юридических доктрин Шмитта) принимается именно в состоянии «разрыва» юридических и социальных норм — и тех, что описывают естественное течение политических процессов, и тех, что начинают действовать в случае «чрезвычайного положения», в случае «социально-политической катастрофы». «Исключительные обстоятельства» — это не просто катастрофа, это постановка народа и его политического организма перед проблемой, обращенной к его исторической сущности, к его сердцевине, к его тайной природе, которая и делает этот народ тем, что он есть. И поэтому решение, принимаемое политически в такой ситуации, является спонтанным выражением глубинной воли народа, отвечающей на глобальный экзистенциальный и исторический вызов (здесь можно сравнить взгляды Шмитта со взглядами Шпенглера, Тойнби и других консервативных революционеров, с которыми Карл Шмитт был лично тесно связан).

Во французской юридической школе последователей Карла Шмитта был разработан специальный термин «десизионизм», от французского «decision», «решение» (по-немецки, «Entscheidung»). «Десизионизм» главный акцент ставит именно на «исключительных обстоятельствах», так как в это мгновение нация, народ и актуализируют свое прошлое, и предопределяют свое будущее в драматической концентрации настоящего момента, где воедино сливаются три качественных характеристики времени — си • истока, из котсрого пошел в историю народ, воля народа, обращенная в будущее, и утверждение здесь и теперь, где в высшем напряжении ответственности народ схватывает и обнажает свое надвременное «Я», свою самоидентичность, самобытность.

Карл Шмитт, развив теорию «Ernstfall» («исключительных обстоятельств») и «Entscheidung» («решения»), показал также, что утверждение всех юридических и социальных норм происходит именно в периоды «исключительных обстоятельств» и изначально основывается на одновременно спонтанном и предопределенном Решении. Одноразовое волеизъявление ложится позднее в основу непрерывной нормы, которая продолжает существовать до возникновения новой ситуации «исключительных обстоятельств». Таким образом, в концепциях радикальных сторонников «правового государства» заложено глубокое противоречие: они сознательно или нет игнорируют тот факт, что сама апелляция к необходимости установления «правового государства» есть Решение, не основанное ни на чем ином, кроме как на политическом волеизъявлении определенной группы. В некотором смысле это императив, выдвинутый произвольно, а не некая неизбежная, фатальная необходимость. Поэтому принятие или отрицание «правового государства» и вообще принятие или отрицание той или иной юридической моде-

ли должны быть сопоставлены с волей того конкретного народа или государства, к которым эти предложение или волеизъявление обращены. Подспудно сторонники «правового государства» стремятся именно к созданию или использованию «исключительных обстоятельств» для внедрения своей концепции, но коварство такого подхода, лицемерие и противоречивость метода вполне закономерно могут вызвать народную реакцию, результатом которой вполне может явиться иное, альтернативное решение. И вполне вероятно, что это решение приведет к созданию иной юридической действительности, нежели та, к которой стремятся универсалисты.

Концепция Решения и ее сверх-юридическая направленность, а равно и сама природа Решения сопряжены с теорией «прямой власти» и «косвенной власти» (potestas directa u potestas indirecta). Решение в специфическом контексте Шмитта принимается не только в инстанции «прямой власти» — власти королей, императоров, президентов и т. д., но и через «косвенную власть», примером которой можно назвать религиозные, культурные или идеологические организации, влияющие на историю народа и государства не так явно, как решения правителей, но тем не менее подчас воздействующие гораздо более глубоко и серьезно. Шмитт считает, что «косвенная власть» отнюдь не всегда негативна, но, с другой стороны, он намекает на то, что Решение, идущее вразрез с волей народа, чаще всего принимается и осуществляется именно путем «косвенной власти». В своей книге «Политическая теология» и в позднейшем к ней дополнении «Политическая теология II» он подробно разбирает логику функционирования этих двух типов власти в государствах и нациях.

Теория «исключительных обстоятельств» и связанная с ней тема Решения (Entscheidung) имеют для нас сегодня первостепенное значение, так как мы находимся именно в той точке истории нашего народа и нашего государства, где «исключительные обстоятельства» стали естественным состоянием нации и где от Решения зависит не только политическое будущее нашего народа, но и осмысление и сущностное подтверждение его прошлого. Если народ сможет утвердить самого себя и свой национальный выбор в этот драматический момент, сможет ясно определить своих и чужих, обозначить друзей и врагов, вырвать у истории свое политическое самоутверждение, — тогда это Решение будет его собственным, историческим, экзистенциальным решением, ставящим печать верности под тысячелетиями духовного народостроительства, империостроительства, а значит, и будущее у нас будет Русским. Если же Решение примут д р у г и е, то есть в первую очередь сторонники «общечеловеческого подхода», «универсализма» и «эгалитаризма», которые после гибели марксизма представляют е д и н с т в е н н ы х прямых наследников утопической и механицистской идеологии Просвещения, то не только наше будущее будет «нерусским», «общечеловеческим», то есть в конечном счете «никаким» (если стоять на позициях бытия народа, государства, бытия нации), но и наше прошлое потеряет смысл, и драма великой русской истории обратится глупым фарсом на пути к мондиализму и полной культурной нивелировке в «общечеловеческом человечестве», в аду «абсолютно правовой реальности».

Урок 4.
ИМПЕРАТИВЫ БОЛЬШОГО ПРОСТРАНСТВА

Карл Шмитт затронул и геополитический аспект социальной проблематики. Наиболее значимой концепцией в этой сфере является идея «Большого Пространства» (Grossraum), воспринятая позднее многими европейскими экономистами, юристами, геополитиками и стратегами. Смысл концепции «Большого Пространства» в анализе Карла Шмитта заключается в очерчивании географических регионов, в рамках которых многообразие политического самопроявления конкретных народов и государств, входящих в состав этого региона, может обрести гармоничное и непротиворечивое обобщение, выраженное в «Большом Геополитическом Союзе». Шмитт отталкивался в этом вопросе от американской доктрины Монро, предполагающей экономическую и стратегическую интеграцию американских держав в естественных границах Нового Света. Так как Евразия представляет собой намного более разнообразный конгломерат этносов, государств и культур, Шмитт полагал, что здесь следует говорить не о полной континентальной интеграции, а о создании нескольких крупных геополитических образований, каждое из которых должно управляться гибким сверхгосударственным принципом, аналогом Jus Publicum Europeum или Священного Союза, предложенного Европе русским императором Александром I.

«Большое пространство», организованное в гибкую политическую структуру имперско-федерального типа, по мнению Карла Шмитта, должно компенсировать многообразие национальных, этнических и государственных волеизъявлений, служить своего рода беспристрастным арбитром и регулятором возможных локальных конфликтов, «войны форм». Шмитт подчеркивал, что «Большие Пространства» для того, чтобы быть органичными и естественными образованиями, с необходимостью должны представлять собой сухопутные территории, континентальные массы. В своей знаменитой книге «Номос (закон деления) Земли» он прослеживал историю континентальных политических макрообразований, пути их интеграции, логику их постепенного созидания в империи. Карл Шмитт заметил, что параллельно существованию духовных констант в судьбе народа, констант, воплощающих в себе духовную сущность народа, существуют геополитические константы «Больших Пространств», которые тяготеют к новому воссозданию с перерывами в несколько столетий или даже тысячелетий. Геополитические макрообразования при этом являются стабильными в том случае, если интегрирующий принцип является не жестким и абстрактно воссозданным, но гибким, органичным и соответствующим Решению народов, их воле, их страстной энергетике, способной вовлечь в единый политический блок своих культурных, географических или государственных соседей.

Доктрина «Больших Пространств» («Grossraum») создавалась Карлом Шмиттом не только как анализ исторических тенденций в истории континента, но и как проект будущего объединения, которое Шмитт считал не только возможным, но и желательным и даже в некотором смысле необходимым. Жюльен Фройнд резюмировал идеи Шмитта относительно будущего Grossraum'а в следующих терминах: «Организация этого нового пространства не потребует ни научной компетенции, ни культурной или технической подготовки, поскольку она возникнет как результат политической воли, отголоски которой трансформируют облик международного права. Как только это «Большое Пространство» будет объединено, важнее всего будет сила его «излучения» (op. cit.)».

Таким образом, у Карла Шмитта идея «Большого Пространства» также обладает спонтанным, экзистенциальным, волевым измерением, как и основной субъект истории в его понимании — народ.

Следуя за геополитиками Макиндером и Челеном, Шмитт противопоставлял талассократические[1] империи (Финикию, Англию, США и т. д.) и теллурократические[2] империи (Римскую, Австро-Венгрию Габсбургов, Российскую и т. д.). С его точки зрения, гармоничное и органичное объединение пространства возможно только в случае теллурократических империй, и Континентальное Право может распространяться только на них. Талассократии, выходя за рамки своего Острова и начиная морскую экспансию, входят в противоречие с теллурократиями и по геополитической логике начинают дипломатически, экономически и милитаристски подтачивать основы континентальных «Больших Пространств». Таким образом, и в перспективе континентальных «Больших Пространств» Шмитт снова возвращается к концепции пары «враг — друг», «наши — не наши», но только на сей раз на планетарном, макроуровне. В противостоянии континентальных макроинтересов макроинтересам заморским выявляется волеизъявление континентальных империй, «Больших Пространств». «Море» бросает вызов «Суше», но именно через ответ на этот вызов «Суша» чаще всего возвращается к глубинам своего континентального самосознания.

Проиллюстрируем теорию Grossraum'а двумя примерами. В конце XVIII — начале XIX веков территория США была разделена между несколькими странами Старого Света. Крайний Запад, Луизиана, принадлежал испанцам, а позже французам, Юг — Мексике, Север — Англии и т. д. В той ситуации Европа представляла для США теллурократическую силу, препятствовавшую на военном, экономическом и дипломатическом уровне геополитическому и стратегическому объединению Нового Света. После обретения независимости США стали постепенно все более и более настойчиво навязывать свою геополитическую волю Старому Свету, что логически привело к ослаблению континентального единства, европейского «Большого Пространства». Поэтому в геополитической истории «Больших Пространств» нет абсолютно теллурократических и абсолютно талассократических держав. Роли могут меняться, но континентальная логика остается постоянной.

Резюмируя теорию «Больших Пространств» Карла Шмитта применительно к ситуации в сегодняшней России, можно сказать, что разъединение и распад «Большого Пространства», называемого некогда СССР, противоречит континентальной логике Евразии, так как народы, населяющие наши земли, теряют возможность апелляции к сверхгосударственному арбитру, способному урегулировать или ограничить потенциальные или актуальные конфликты. Но, с другой стороны, отказ от марксистской демагогии, возведенной на уровень чрезмерно жесткой государственной идеологии, может привести (и приведет в нормальном случае) к спонтанному и страстному, силовому воссозданию Восточного Евразийского Блока, поскольку такое воссоздание соответствует интересам всех органичных, автохтонных этносов русских имперских пространств. Более того, скорее всего воссоздание Федеральной Империи, «Большого Пространства» восточной части материка, захватит в свое «силовое излучение» дополнительные территории, стремительно теряющие свою этногосударственную идентичность в критической и противоестественной геополитической ситуации, сложившейся после распада СССР.

Континентальное мышление гениального немецкого юриста позволяет очертить круг «наших» и «не наших» на уровне материка. Осознание естественной и в некотором смысле неизбежной противоположности теллурократических и талассократических держав дает провозвестникам и созидателям нового «Большого Пространства» ясное понимание «врага», которым на стратегическом, геополитическом, экономическом и военном уровнях являются для Европы, России и Азии Соединенные Штаты Америки вместе с их островной талассократической союзницей Англией. И снова, возвращаясь от макроуровня планеты к уровню социального устройства конкретного государства, России, следует задать вопрос: а не стоит ли за желанием повлиять на Русское Решение политической проблемы в «универсалистском» ключе скрытое талассократическое лобби, которое может оказывать свое воздействие как через «прямую», так и через «косвенную» власть?

---

[1] Т а л а с с о к р а т и я — дословно — власть посредством Моря (греч.).

[2] Т е л л у р о к р а т и я — дословно — власть посредством Суши (греч.).

Урок 5. «ВОЕННЫЙ МИР» и ТЕОЛОГИЯ ПАРТИЗАН

Карл Шмитт в конце своей жизни (а умер он 7 апреля 1985 года) особое внимание уделял возможности негативного исхода истории, вполне возможного в том случае, если ирреалистические доктрины радикал-гуманистов, универсалистов, утопистов и сторонников «общечеловеческих ценностей», опирающихся к тому же на гигантский силовой потенциал талассократической державы США, получат глобальное распространение и станут идеологической основой новой мировой диктатуры — диктатуры «механицистской утопии». Шмитт считал, что современный курс истории с неизбежностью движется к тому, что он называл «тотальной войной».

Логика «тоталитаризации» планетарных отношений на стратегическом, военном и дипломатическом уровнях, согласно Шмитту, основывается на следующих ключевых принципах. Начиная с определенного момента истории, а точнее — с эпохи Французской революции и получения независимости Соединенными Штатами Америки, начинается резкое, вплоть до предельного, удаление от исторических, юридических, национальных и геополитических констант, которые обеспечивали ранее органическую гармонию на континенте, служили «Номосом (законом деления) Земли». На юридическом уровне именно тогда стала складываться искусственная и атомарная, количественная концепция «прав личности» (ставшая впоследствии знаменитой теорией «прав человека»), которая вытеснила собой органичную концепцию «прав народа», «прав государства» и т. д. Выделение индивидуума и индивидуального фактора в отрыве от нации, традиции, культуры, профессии, семьи и т. д. в самостоятельную юридическую категорию означало, по мнению Шмитта, начало «разложения права», превращения его в утопическую эгалитарную химеру, противоречащую органическим законам истории народов и государств, истории режимов, территорий и союзов. На национальном уровне органические имперско-федеративные принципы стали заменяться двумя противоположными, но в равной мере искусственными концепциями — якобинской идеей «Etat-Nation» («Государство-Нация») или коммунистической теорией полного отмирания государства и начала тотального интернационализма. Империи, сохранявшие остатки традиционных органических структур — Австро-Венгрия, Оттоманская империя, Российская империя и т. д., — стали стремительно разрушаться под воздействием как внешних, так и внутренних факторов. И, наконец, на геополитическом уровне талассократический фактор настолько усилился, что произошла глубокая дестабилизация юридических отношений в сфере «Больших Пространств». (Заметим, что Шмитт считал «Море» пространством, гораздо менее поддающимся юридическому разграничению и упорядочению, чем «Суша».)

Распространение на планете юридической и геополитической дисгармонии сопровождалось прогрессирующим отклонением доминирующих политико-идеологических концепций от реальности, превращением их во все более химерические, иллюзорные и, в конечном итоге, лицемерные. Чем больше говорили об «универсальном мире», тем страшнее становились войны и конфликты. Чем более «гуманными» становились лозунги, тем более бесчеловечной социальная действительность. Именно этот процесс Карл Шмитт назвал началом «военного мира», то есть состоянием, не являющимся ни войной в традиционном смысле, ни миром в традиционном смысле. Сегодня надвигающуюся «тотальность», о которой предупреждал Карл Шмитт, принято называть «мондиализмом». «Военный мир» полностью получил свое выражение в теории американского Нового Мирового Порядка, который в движении к «тотальному миру» однозначно ведет планету к новой «тотальной войне».

Освоение воздушного пространства Карл Шмитт считал важнейшим геополитическим событием, которое символизировало следующую степень отхода от легитимного упорядочения пространства, так как воздушное пространство еще менее поддается «упорядочению», нежели даже морское пространство. Развитие авиации также, по мнению Шмитта, было шагом к «тоталитаризации» войны. Космические исследования ставили в этом процессе иллегитимной «тоталитаризации» последнюю точку.

Но параллельно надвижению на планету этого морского, воздушного и даже космического чудовища внимание Карла Шмитта, всегда интересовавшегося глобальными категориями, самой малой из которых было «политическое единство народа», привлекла новая фигура истории — фигура «партизана». Это фигура, исследованию которой Карл Шмитт посвятил свою предпоследнюю книгу «Теория партизан». Шмитт увидел в маленьком борце против больших сил некий символ последнего сопротивления теллурократии, ее последних защитников. Партизан — это безусловно нечто современное. Он так же, как и другие современные политические типы, оторван от традиции, находится за гранью Jus Publicum. В своем сражении Партизан пренебрегает всеми правилами ведения войны. Более того, Партизан — не военный, это лицо гражданское, действующее террористическими методами, которые в невоенной ситуации должны были бы быть приравнены к злостным уголовным преступлениям, сродни обычному терроризму. И тем не менее именно Партизан, по мнению Карла Шмитта, воплощает в себе «верность Земле», «Суше». Партизан является откровенно иллегитимным ответом на замаскированно иллегитимный вызов современного «права». Именно в экстраординарности ситуации, в постоянном сгущении «воинственного мира» (или «пацифистской войны», что одно и то же) черпает маленький защитник почвы, истории, народа, нации, идеи источник своей парадоксальной оправданности. Стратегическая эффективность Партизана и его методов является, согласно Шмитту, парадоксальной компенсацией начинающейся или уже начавшейся «тотальной войны» с «тотальным врагом».

Быть может, этот урок Карла Шмитта, который сам много почерпнул из русской истории и русской военной стратегии, из русской политической доктрины и даже из анализа работ Ленина и Сталина, для русских является наиболее интимно понятным. Партизан — это неотъемлемый персонаж русской истории, который появлялся всегда в моменты максимального расхождения русского политического истеблишмента с глубинной волей самого русского народа. Смута и партизанщина в русской истории всегда имели чисто политический, компенсаторный характер, направленный на коррекцию национального курса со стороны отчуждающегося от народа политического руководства. Партизаны в России выигрывали проигранные правительством войны, свергали не соответствующий русским традициям экономический строй, поправляли геополитические ошибки вождей. Русские всегда обладали тонким чутьем иллегитимности, органической несправедливости, заложенной в тех или иных доктринах, проступающей сквозь те или иные образы правителей. В некотором смысле Россия — это гигантская Империя Партизан, действующих вне закона, но ведомых великой интуицией Земли, Континента, того «Большого, Очень Большого Пространства», которым является историческая территория нашего народа.

И в настоящий момент, когда в России зазор между волей нации и волей истеблишмента (представляющего собой исключительно сторонников «правового государства» по универсалистской модели) угрожающе огромен, когда дыхание талассократии активизирует в стране накаты «воинственного мира», становящегося постепенно крайней формой «тотальной войны», быть может, только фигура Русского Партизана показывает нам путь к Русскому Будущему, через крайнюю форму сопротивления, через переступание границы искусственных юридических норм, не соответствующих истинным канонам Русского Права.

Более подробное усвоение пятого урока Карла Шмитта представляется делом Священной Практики защиты Суши.

ПОСЛЕДНИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Наконец, шестым, внеплановым уроком Карла Шмитта является то, что лидер европейских новых правых Ален де Бенуа называет «политическим воображением», «идеологическим творчеством». Гениальность немецкого юриста в том, что он не только почувствовал «силовые линии» истории, но и внял таинственному голосу Сущностного, часто скрывающегося за объемными, но пустыми феноменами современного комплексного и динамичного мира. Мы, русские, должны научиться с тевтонской жесткостью отливать наши бездонные и сверхценные интуиции в четкие интеллектуальные формулы, в ясные идеологические проекты, в убедительные и неотразимые теории. Это необходимо особенно сегодня, потому что мы живем в «исключительных обстоятельствах», в преддверии столь важного Решения, подобного которому наша нация, быть может, вообще никогда не принимала. Истинно национальная элита не имеет права оставить свой народ без Идеологии, которая выражала бы не только то, что он чувствует и думает, но и то, что он не чувствует и не думает, но чему втайне даже от самого себя истово поклоняется в течение тысячелетий. И если мы не вооружим идеологией государство, которое у нас временно могут отнять «не наши», мы обязательно, непременно вооружим ею Русского Партизана, пробуждающегося сегодня к исполнению континентальной миссии.

Россия — это Большое Пространство, и Великую Мысль носит народ ее в своей гигантской континентальной евразийской душе. Если германский гений послужит нашему Пробуждению, то уже тем самым тевтонцы заслужат себе привилегированное место среди «друзей Великой России», станут «нашими», станут «своими», станут «азиатами», «гуннами», «скифами», как мы, автохтоны Большого Леса и Великой Степи.



ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

Из-под глыб

Прямой взгляд на мир

В нашу эпоху сознание человека со всех сторон теснят мощные, веками конструировавшиеся идеологии, делая почти иллюзорной свободу немеханического мышления. И те, кто эту свободу пытается сохранить, обычно проходят тяжелый путь колебаний, ошибок и низвержения прежних богов. Я уж не говорю о дельцах от перестройки, с калейдоскопической быстротой меняющих свои убеждения. Позиция перебежчика как-то была даже объявлена моральным кредо нашей эпохи: кто перестраивается (еще лучше — несколько раз), тот и есть истинный деятель перестройки. Может быть, так и есть: в этом перевертошном слове была изначальная двусмысленность. Но тогда изо всех известных мне людей самыми антиперестроечными были двое: А. Д. Сахаров и Л. И. Бородин. Они одинаково бескомпромиссно, ни на йоту не изменяли своих принципов. Во всем остальном пути их были совершенно различны, причем к Бородину жизнь была куда более жестокой.

Свое первое суровое испытание Бородин прошел в середине 60-х годов на процессе над организацией ВСХСОН. В тогдашней диссидентской среде, в основном марксистской, а в остальной части — лево-либеральной, ВСХСОН, исходивший из представления о Великой Православной России, был кричащим диссонансом. Но зато как он был замолчан — этот крупнейший политический процесс послесталинской эпохи, когда было арестовано около 30 человек! Глава организации И. В. Огурцов был приговорен к 20 годам лишения свободы (Бородин отсидел 6 лет). И в то же время о суде над патриотами лишь ходили неясные слухи. Но какой мировой сенсацией становились другие процессы (в основном благодаря иностранному радио), где судили 2—3 человек и приговоры были гораздо мягче!

То, что успел сделать ВСХСОН, требовало редкого духовного и интеллектуального мужества: небольшая группа молодых людей выработала систему взглядов на жизнь страны, идущую вразрез с мировоззрением всего тогдашнего общества — как его официальной, так и диссидентской части. Судьба членов ВСХСОН сложилась очень по-разному. Но Бородин пронес сформулированные тогда основоположные «аксиомы» сквозь весь свой тяжелый жизненный путь, ни разу не поколебавшись. Из лагеря он вынес стихи и прозу, которую можно было опубликовать только на Западе. За эти публикации он и получил второй срок в 1982 г. Исключительно за их русский, патриотический характер — ничего политического в них не было. Приговор был даже по тогдашним меркам людоедским: 15 лет лишения свободы. Он был задуман как смертный: не было шансов, что Бородин этот срок переживет, да еще 10 лет из него в самом суровом лагере — «особого режима». И только то спасло его, что вся машина начала разваливаться и разомкнула свою пасть.

Как публицистические, так и художественные произведения, опубликованные Бородиным после второго срока, написаны человеком, мыслящим мир в системе точно тех же основных принципов, никак от них не отошедшим. Такое постоянство убеждений, прямой взгляд на мир, дает человеку ви́дение жизни, которое кажется нам поразительным. Прямой взгляд видит гораздо дальше, чем «извивающийся по синусоиде». Таковы, по-моему, причины удивительных «невостребованных пророчеств», напечатанных ниже. В них Бородин говорит о том, что одни осознали 5 лет спустя, другие — через 10 лет, а некоторые не поняли и до сих пор. Тогда спорить с ним было невозможно — и он был замолчан. Действительно, когда Бородин писал, что эмиграция — это бегство, что можно бороться, хоть и под угрозой гибели, то он-то своим примером показал, что такой путь возможен. Уже тогда он разглядел, что эмиграция будет искать западного покровителя, новый вариант «пломбированных вагонов», что она будет требовать нового типа «революционной ломки». Анализируя диссидентский вариант либерального сознания, Бородин устанавливает, что оно основано на презрении и ненависти к окружающим «рабам». Он отмечает, что, если до революции либеральное сознание

повторяло хотя бы как заклинание — как оно любит народ, то теперь его идеологи предупреждают о том, что чувство это опасно. Бородин показывает, что либералы усваивают концепцию «кровавого развала государства» как мести и даже считают, что, защищаясь от рабского народа, интеллигенция должна искать союзников среди малых народов. И, наконец, он приходит к выводу, что никогда в нашей истории не было течения, столь чуждого демократизму, столь враждебного нации, как современные «демократы» (написано 10 лет назад).

В публикуемом ниже интервью Бородина обсуждается причина бросающегося в глаза различия прозы двух писателей, у которых большую роль играла тема лагеря: Шаламова и Бородина. У Бородина начисто отсутствует чувство мрака и озлобленности, характерное для Шаламова. Бородин объясняет это тем, что Шаламов «сел ни за что», а он знал, на что шел и за что сидит. Но мне кажется, дело еще в высоком, приподымающем духе тех жизненных постулатов, ради сохранения верности которым Бородин шел в лагерь.

В тюрьме он писал:

> Бессильная злоба — гангрена души,
> Беззлобная сила — победа.

И. ШАФАРЕВИЧ.

ЛЕОНИД БОРОДИН

НЕВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОРОЧЕСТВА

К РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

Неумолимо приближается то время, когда русской эмиграции придется отвечать на вопрос: как она представляет себе свою роль в дальнейших российских событиях? И ответ этот может оказаться двояким.

Либо будет осознана оторванность эмиграции от непосредственной национальной жизни и, следствием того, отставание от развития национальной мысли и русского дела. И тогда эмиграция признается в своей вспомогательной роли, обнаружив при том чуткость и терпение и, конечно, скромность в притязаниях.

Либо, выбрав проторенный путь предреволюционной эмиграции, провозгласит «заграницу» местом кристаллизации «чистой мысли» и «чистого дела» и по мере развития событий будет подыскивать заинтересованную державу, которая в нужное время предоставит активному эмиграционному ядру пресловутые «пломбированные вагоны». В этом случае естественно допустить, что сама Россия, по-своему осознавшая национальные задачи и цели, не вышлет более навстречу делегацию с ключами и броневиком-постаментом. Повторение прошлого — не только фарс, но и преступление. И тогда эмигрантские притязания могут быть удовлетворены только посредством «третьего лица». Все последствия этого представить нетрудно.

Сегодня Россия далека от такой ситуации, когда могут возникнуть подобные проблемы. Но характер активности эмиграции уже сегодня понуждает задуматься о вопросах взаимоотношения еще робкого, но уже зримого русского дела с делом российской эмиграции, которое хотя и не столь робко, но достаточно аморфно и противоречиво по существу.

Можно уверенно предположить, что у каждой эмиграции имеются заслуги перед будущим своей страны, как бы его будущее ни оценивать. То есть эмиграция всегда есть живая часть национального тела. И у нынешней русской эмиграции достоинств более, чем у какой-либо другой.

Но здесь должно оговориться, что имеем мы в виду именно русскую эмиграцию, а не российскую вообще, и когда говорим о «русском деле», то имеем в виду исключительно русскую проблему, ибо таковая не только есть, но и явля-

ется стержневой во всем комплексе российских проблем хотя бы уже потому, что именно русские как нация оказались ныне в наиболее критическом положении.

Итак, признав несомненные достоинства русской эмиграции, приходится с сожалением констатировать, что их совершенно недостаточно для формирования хотя бы относительно единого взгляда на судьбу покинутой родины. Разобщение русской эмиграции идет не только по вертикали, то есть по поколениям, но и по горизонтали и по всем прочим геометрическим протяженностям. Характер разобщения, стиль отношений, полемики, борьбы, конкуренции, именно характер и стиль, производят на нас, незнакомых с особенностями эмигрантского бытия, удручающее впечатление.

Но пока все это носило «междоусобный характер», мы могли пожимать плечами, и сочувствовать, и высказывать пожелания, которые никого ни к чему не обязывали. Но со временем эмигрантский стиль утверждения истин обернулся острием на Россию, на существующие в России мировоззренческие направления, на отдельных их представителей, и мы стали узнавать интонации, известные нам по учебникам. Мы начали задумываться над тем, не порождает ли само эмигрантское бытие, независимо от идеологии и мировоззрения, некую особую психологическую константу, которая ставит эмигранта в позицию «пророка вне отечества».

И поэтому сегодня мы рискуем предложить вопрос о праве эмигранта на позицию по отношению к национальному делу. Речь пойдет не о юридическом праве. Оно бесспорно. Права человека, что определены в международных документах, утверждаются для Человека вообще и каждого человека в частности, без учета ситуации, в которой находится или может находиться тот или иной человек. Только такая постановка вопроса и имеет положительный смысл. Всякая прочая была бы юридическим лукавством и словоблудием.

И тем не менее эта постановка вопроса имеет лишь установочный характер.

Неоспоримо, к примеру, право одного человека критиковать другого, но никто не воспользуется этим правом на похоронах объекта критики, а если бы кто-то все же воспользовался им, то все прочие справедливо оценили бы такое поведение как злоупотребление правом, то есть нарушение неписаного правила пользования правом. Таким образом, кроме неоспоримых прав человека существуют еще и определенные правила реализации этих прав.

Возвращаясь к проблеме отечества и эмиграции, отдадим должное известному суждению, что человек, покинувший страну, где существует и узаконена та или иная степень несвободы, получает возможность говорить полным голосом, прямым текстом, что он освобождается не только от цензуры внешней, но и, самое главное, от цензуры внутренней, которую мог не замечать прежде, когда пытался сохранить за собой одновременно и свободу слова, и, скажем, свободу передвижения. Раскрепощение мысли, в таком случае, действительно способствует «кристаллизации» сознания и активизирует творческий процесс.

Именно это суждение являлось всегда, является и теперь исходным моментом в определении своей позиции большинством эмиграции (мы исключаем из темы такую постановку вопроса, когда эмиграция рассматривается как подвиг). Если бы данное суждение имело абсолютную достоверность, то не о чем было бы и говорить. Но прежде чем оценить по достоинству такое суждение, то есть оценить приобретенное человеком вследствие эмиграции, мы попытаемся указать на утраты, коими сопровождается эмиграция.

Эмиграция, в сущности, есть всегда побег, в известной степени уклонение, потому что всегда имеется альтернатива: остаться и бороться, бороться и погибнуть. Кто рискнет утверждать, что ета альтернатива противоестественна человеку? История показывает, что она, наоборот, человеку присуща и органична. У эмиграции же имеются два мотива: 1) Я хочу жить, и я имею на это право! и 2) Там я сделаю больше!

Оба мотива вполне моральны. Человек имеет право жить, и там он действительно может сделать больше. Но как бы добротно эмигрант ни был устроен в чужом мире, он, наверное, все же ощущает неполноту своего бытия, и наивно было бы полагать, что эта действительная неполнота не имеет рецидивов в сознании, что она не оставляет последствий в мировоззренческом комплексе.

Утратив органическую связь с отечеством, выпав из его тела, эмигрвнт закрепляется силой притяжения на определенной орбите, слившись с себе подобными в некое относительное целое, существующее и развивающееся согласно уже другим законам и параметрам. Степень его «родства», степень его принадлежности к покинутой родине далее будет определяться той напряженностью, с которой он станет вглядываться-всматриваться в судьбу отечества. «Выпадение» эмигранта всегда случается на какой-то определенной стадии его собственного развития, которое до момента «выпадения» было органично всему национальному процессу. И если эмигрант это свое состояние возьмет за основу для какого-то положительного дела, то рано или поздно он войдет в противоречие с ходом событий у себя на родине; дело, которому он отдаст свою энергию, станет всего лишь его личным делом, и так случится уже потому хотя бы, что орбита его нового пребывания пролегает не в пустоте, но в обстановке, которая имеет свои особенности, где преследуются иные, часто противоположные интересы, и их невозможно игнорировать настолько, чтобы быть от них совершенно независимым.

Личное дело эмигранта или дело того или иного эмигрантского политического образования, если оно, это дело, формируется без учета особенностей внутрен-

него национального процесса, рано или поздно обнаружится как тенденция к насилию национальной ситуации, а если эмиграция получит доступ к инициативе, то окажется насилием ситуации, как случилось в 1917 году.

Мы не открываем каких-то новых истин, мы говорим о том, что понято давно многими эмигрантами, мы встречаемся с этим пониманием на страницах эмигрантской прессы.

Но гораздо чаще, неизмеримо чаще мы встречаемся с принципиально иным отношением к задачам и возможностям нынешней русской эмиграции.

Взятое за основу, возведенное в догмат суждение о преимуществах эмигрантского бытия диктует значительному числу эмигрантов решительно безответственное поведение по отношению к национальным процессам, которые в большей или меньшей степени, но определяют и отражают существо происходящего в России.

Беспокойство вызывает то обстоятельство, что значительная часть русской эмиграции, как нам кажется, поражена недугом, возможно, присущим всякой эмиграции, который мы рискнем определить как «эффект нетерпения».

«У всех есть Родина, но только у нас — Россия!» Нелегко русскому покинуть Россию, но совсем невозможно представить себе невозвращение! А жизнь коротка, и в ее пределы не всегда укладываются желаемые события.

У целого поколения емигрантов сроки на исходе. И вот на исходе срока вдруг появляется надежда: Россия оживает, в эмиграцию пробивается ее голос, возникает даже зачаток робкого контакта — и какое разочарование! Оказывается, Россия обречена не на «событие», а на «процесс», характер которого не оставляет никаких надежд на возвращение.

И вот тогда на тех, кто, собственно, и свершает сегодня историю России, обрушивается гнев нетерпеливых емигрантов. Как это, дескать, возможно, когда народ стонет под игом большевизма, нам толкуют о «процессе», да еще постепенном, да еще «не революционном»! И при том как-то ускользает из внимания эмигрантов тот, казалось бы, очевидный факт, что «народ» — это в первую очередь именно те русские, голос которых они слышат, по существу даже, это вообще единственный голос, который они слышат, а все прочие возможные голоса — это лишь предположение, лишь рабочая гипотеза нетерпения.

Казалось бы, если мы, «стонущие под игом большевизма», говорим о процессе, то ведь стоило бы к тому прислушаться, задуматься, попытаться понять мотивы наших мнений. В конце концов, все, что сегодня в какой-то мере достигнуто в России, хотя бы та же слышимость нашего голоса, — это же одних только наших рук дело! И отсюда вполне справедливый вопрос: говорящие, бранящиеся, неспособные ни к какому практическому действию, устроенные в относительном благополучии и безопасности, продумали ли вы, наши русские эмигранты, свое собственное право рецептировать вне вас творящуюся русскую историю?

Нетрудно понять, что для значительной части старой русской эмиграции политическое кредо — своеобразный мир души или отдушина, в известном смысле даже — противоядие к ассимиляции, этакий мир образов родины, выношенный мечтой и страданием. Можно понять и все чувства, что могут возникнуть при столкновении этого мира с фактами реальной действительности.

Имеет ли право емигрант отстаивать свой мир образов и идей, если даже они в полном противоречии с логикой событий? Несомненно! Но и логика событий имеет столь же определенные права не считаться со своими, столь родными и симпатичными оппонентами. Именно горький исторический опыт диктует жестокую, но выверенную формулировку: емигрантское политическое сознание несет в себе опасные накладки, порожденные самой емигрантской ситуацией. И поэтому сегодня любая политическая сила или даже просто общественное явление внутри России не будет иметь иного взгляда на емиграцию, кроме как на вспомогательный и вторичный фактор, то есть, как бы ныне ни раскладывались силы внутри России, как бы ни было противоречиво само по себе национально-религиозное движение, — оно едино в одном: не повторить опыт 17-го года, в первую очередь именно в той его части, где инициатива в действии перешла к эмигрантскому меньшинству.

В этом нет упрямого предубеждения. Анализ программ и программных мнений эмигрантского актива не оставляет сомнений относительно откровенной беспочвенности большинства политических конструкций эмигрантского сознания. Примером тому может служить программа Дмитрия Панина, человека, чьей энергии и работоспособности можно только позавидовать.

Д. Панин претендует на позитивную программу действия: в стране создаются микробратства, которые затем объединяются в силы освобождения, руководимые заграничным центром, располагающим средствами информации. Основная задача эмигрантского центра в подготовительный период, по мнению Панина, — распространение правдивой информации, одним из элементов которой является «новая философская система, развивающая в людях великодушие и исключающая мстительность и сведение счетов».

«Новая философская система» — ни больше ни меньше! И что же? Она уже разработана Д. Паниным, эта философская система? Этот пустячок, способный предотвратить братоубийственную войну и гибель нации? Да нет же! Давайте сначала будем создавать микробратства! А на какой основе? Да все на той же, на негативной: долой коммунистическую диктатуру! А остальное приложится!

Уж если Д. Панин решил копировать большевистскую революцию, то ему следовало бы знать, что ей действительно предшествовала революция в умах известной части общества, что задолго до вся-

ких микробратств-партячеек был «создан» и распространен марксизм — глобальнейшее философско-политическое учение, которое сегодня завоевало половину мира, если не больше. А что готов противопоставить Панин марксизму? Что он плох? Это — эмоции, кстати, доступные сегодня кому угодно, и ради обладания этой эмоцией вовсе не обязательно эмигрировать. Вся же прочая механика панинской программы — это соломенный манекен, и Панину невозможно себе даже представить, насколько серьезнее и основательнее настроены сегодня тихие и незаметные русские мальчики и уже не мальчики, сколь глубоко их чувство ответственности перед Россией, сколь пытлива и требовательна их мысль, вдохновленная христианскими истинами. Призыв Панина найдет сегодня отклик в тех душах, кои во все времена были носителями идеи разрушения, кого называли бесами, кому мы уже и без того обязаны катастрофическим положением нашей нации.

Мы остановились здесь на программе Д. Панина столь подробно лишь потому, что она наиболее позитивна из всех прочих, нам известных, то есть это, по крайней мере, программа, и с ней можно программно спорить.

А прочие эмигрантские образования, группирующиеся вокруг журналов и центров, — что они могут предложить нам, кроме пачки симпатий и вороха эмоций? Информацию? Средства? Литературу? Может быть, образец подвига? Ну что может продиктовать нам почтительное отношение к эмиграции?! Русские патриотические журналы нищи и бессильны, мы уже устали пробивать к ним пути-дорожки, нерентабельная это работа! Чаще она приносит нам излишний и неоправданный риск. К тому же мы сильно подозреваем, что нашим эмигрантским братьям более всего надобно, чтобы мы шли в тюрьмы и лагеря и дали им тем самым возможность лишний раз протрубить на страницах своей прессы о жестокостях большевистского режима и о праве своего нетерпения. Ведь совсем недавно русские эмигрантские журналы буквально требовали ареста о. Димитрия! «Почему его не сажают?!»

И все же наше отношение к русской эмиграции достаточно терпимо и вполне почтительно по той простой причине, что это эмиграция русских людей, своей, пусть отличной любовью, любящих Россию и отчуждением от нее выстрадавших право иметь мнения и желания. Остается лишь надеяться, что и наши мнения и желания будут признаны правомочными, и, как знать, может быть, когда-то возникнет необходимость позитивного диалога к общей пользе русского дела. Пока же для нас очевидно несоответствие между притязаниями эмиграции и ее идейно-деловым потенциалом.

1982 г.

(Статья была напечатана в независимом русском альманахе «Вече», 1984, № 5).

ЛИБЕРАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ

Либеральное сознание в СССР обнаружилось как сознательно негативное и подсознательно разрушительное. А правомерность словосочетания «либерально-демократическое» — весьма сомнительна. Либерализм выявился у нас как осознание отдельными личностями своей личной несвободы, и на первом этапе он реализовывался в виде обращений к властям с призывом к уступке. Пройдя через разочарования, либерализм весьма оскалился на власть, на народ, не поддержавший его порывов, на национальное умонастроение, идущее поперек, и в известном смысле законспирировался. *Пропаганда свободы стала означать для либерализма не столько борьбу за свободу, сколько надежду, что свобода уничтожит это государство, обманувшее их ожидания.* Кровавый развал государства как месть за неправду при условии личного устранения от событий стал подсознательной жаждой либерала, что нашло свое отражение, а правильнее — апологетическое выражение в нашумевшей брошюре А. Амальрика.

В теоретическом арсенале либерализма фундаментальную роль играло положение о том, что *пропаганда свободы всегда моральна*, независимо от всех сопутствующих тому обстоятельств и возможных последствий. Свобода рассматривалась как первое и необходимое условие всякой активности. Объективация норм *социальной* свободы имеет своими последствиями — для прошедших через это — сначала искреннее изумление по поводу того, что все прочие, кроме них, не испытывают потребности в этих нормах; затем изумление перерастает в недоумение и досаду, а в итоге порождает презрение и ненависть к «рабам», неспособным подняться до потребностей свободы. В либеральных писаниях 60-х годов, обратившись к ним сейчас, можно наблюдать и проследить эволюцию либерального чувства по данному поводу. Либеральная интеллигенция, оказавшись не услышанной народом, не только объявила о своем разрыве с ним, но этот разрыв нравственно постулировала, обратив свои взоры на саму себя, как на некую духовно-творческую субстанцию, заброшенную в мир и царство косной материи. Самым талантливым выразителем этого настроения был Г. Померанц. Основные положения его программной статьи по этому вопросу «Человек без прилагательного» — следующие:

«Крестьянство как источник прежних культур исчезает в силу объективных процессов развития форм труда. Причем не только крестьянство, но и народ вообще, то есть тот народ, который обычно противопоставляется «обществу», а в русских условиях «интеллигенции». (Здесь и далее цитаты по тексту: журнал «Грани», № 77).

«Крестьянство исчезает. Оно оставило глубокий след в нравственном и эстетическом сознании человечества, оно было мостом между племенами и чем-то еще, *что еще только складывается*!» (разрядка моя.— Л. Б.).

«...народа, как великой исторической силы, станового хребта культуры, как источника вдохновения для Пушкина и Гоголя — больше нет».

Но культура как феномен продолжает существовать, и ее существование свидетельствует о наличии новых живительных источников, коими она питается. Что же это за источники?

«...началось время интеллигентского фольклора. Открылся «животворный родник», из которого хлынула песня, стихи, проза, философские эссе, абстрактная и конкретная живопись».

От времени написания этой статьи прошло немногим более десяти лет, а мы уже можем со спокойной совестью не помнить бо́льшую часть продукции этого «животворного родника». Но цель обращения к этой, ныне уже тоже забытой статье Г. Померанца не в том, чтобы выявить ее некоторые необоснованности, а в том, чтобы по ней составить по возможности ясное представление о сущности либерального сознания того периода, когда само это сознание именовало себя «демократическим движением». Потому снова обратимся к Г. Померанцу:

«Культура, как змея, просто сбрасывает кожу, и старая кожа — народ — лежит, потеряв свою жизнь в пыли».

«...складывается хребет нового народа — или, быть может, нового слоя, несущего в себе занародную правду...»

И что же это за «слой», что пришел на смену народу?

«...наши менестрели — какой-то сброд космополитов: полугрузин-полуармянин, еврей, полукореец. Есть, конечно, и чистокровные русские, но все это горожане, горожане без почвенной основы, не дети, а внуки и правнуки крестьянского народа, стоптанного *прогрессом* (разрядка моя. — Л. Б.) в безликую слесарно-бухгалтерскую массу, в которой Сталин брал своих Абакумовых и Рюминых».

Оставим на совести Померанца Абакумовых и Рюминых, взятых из крестьянского народа, сегодня этот вопрос ясен вполне; не обманемся относительно «сброда космополитов» — это не брань, а отеческое журение; не будем комментировать и *прогресс*, который стоптал крестьянский народ, хотя нельзя не отдавать должного столь своеобразному пониманию Померанцем прогресса; не будем возмущаться по поводу того, что «стоптанный народ» не вызывает у автора даже той формы сочувствия, какой заслуживает раздавленная автомобилем кошка на асфальте.

Отметим лишь для себя, что «животворным родником» новой культуры стали в России 60-х годов беспочвенные космополиты, к которым, разумеется, автор причисляет и себя. Признание космополита в собственной беспочвенности, вынесение последней в достоинство — это есть итог рефлексии на тему: я и народ, т. е. космополит так или иначе имеет перед собой таким образом поименованную проблему личной экзистенции. Стиль рефлексии прежней, дореволюционной русской интеллигенции на предмет почвенности нам хорошо знаком — суть ее если не в любви, то в потребности любви к народу, которая есть не что иное как ощущение духовного родства с народом. Как же выглядит рефлексия космополита на эту же самую тему?

«Друзья говорили мне, иногда в шутку, иногда всерьез, что собаки или кошки гораздо лучше людей. Но никто из знакомых мне кошатников или кошатниц не орал в марте, как кот, и никто из знакомых собачников не вырывал у соседей кость изо рта... Как-то само собой получается, что у деревьев, у собак и кошек учатся тому, что обогащает нашу человечность, а не портит ее. Любовь к народу в этом смысле гораздо опасней. Никакого порога, мешающего встать на четвереньки, здесь нет.

К сожалению, самая естественная из страстей — страсть к своему народу — легко становится злокачественной. (...). И тогда эта любовь к своему народу, к своей нации, к простым людям... вызывает у меня тошноту».

Далее идут рассуждения о том, что народ сверхдержавы (разумеется, не американцы) представляет собой массу агрессивного мещанства, по отношению к которому интеллигенция имеет характер диаспоры, и потому, защищаясь от народа, она (интеллигенция) должна искать союза с малыми народами, которые единственные сохранили еще способность к пониманию идеалов. Согласно той же логике, интеллигент, чтобы сохранить свою независимость, должен суметь расширить объем своих симпатий, перешагнув через соблазн любви к своему народу. Здесь любопытно то, что союз интеллигенции больших стран рекомендуется не с интеллигенцией стран малых, а со всем народом малых стран. Разумеется, никаких доводов в пользу добродетельности малых народов не приводится.

Было бы любопытно и, наверное, полезно подробнее остановиться на всех несообразностях в данной статье, но нас в ней сейчас интересует одно и, на наш взгляд, самое главное: демонстрация откровенного и воинствующего антидемократизма, который вполне можно именовать *диаспорным мировоззрением*.

Может возникнуть справедливое сомнение в том, насколько уместно точку зрения Г. Померанца брать за критерий оценки либерального сознания 60—70-х годов в целом. Не является ли мировоззрение Г. Померанца итогом каких-нибудь его личных счетов с русским народом, т. е. частным случаем?

Увы! Вся наиболее откровенная либеральная публицистика переполнена злобой и презрением к русскому народу и его истории. Вот лишь несколько примеров, что под рукой:

«...У русского народа, как это видно из его истории, из его настоящего, (...) одна идея, кажущаяся позитивной. Это — идея справедливости (...). Но при всей кажущейся привлекательности этой идеи —

она представляет собой наиболее деструктивную сторону русской психологии. Справедливость на практике оборачивается желанием, чтобы никому не было лучше, чем мне».

«...крестьяне болезненнее переживают чужой успех, чем собственную неудачу».

«Русскому народу, в силу его исторических традиций, почти совершенно непонятна идея самоуправления, равного для всех закона и личной свободы и связанной с этим ответственности».

А. Амальрик. «Просуществует ли Советский Союз до 1984 г.».

А вот другой автор — имя им легион — в журнале «Евреи в СССР» (№ 1):

«Среди людей, для которых существенны те же ценности, что и для меня, я вижу (...) те же попытки определить себя вне русского народа, независимо от их национальности, обозначенной в паспорте».

Эти строки написаны через пять лет после Г. Померанца, но какой удивительный унисон относительно диаспорности интеллигенции!

Там же: «Тот же, кто хочет остаться русским, — вы послушайте, о чем он пишет (...): о возрождении народа, о спасении народа, о своем мессианстве!»

То есть оставаться русским — это не просто глупо, это свидетельство состояния, близкого к идиотизму! Чего стоит одна фраза: «о своем мессианстве»!

Еще: «Я — для себя — не верю ни в какое «возрождение и спасение» русского народа. Т. е. я хочу сказать, что эта идея не воодушевляет меня ни на какое действие».

Казалось бы, вопрос веры и неверия — дело сугубо личное, но с каких пор признаком демократического мышления стала такая злая нетерпимость к чужой вере, к чужим идеалам?!

Можно без конца цитировать либеральные писания на данную тему (А. Зиновьев — «Светлое будущее», А. Краснов-Левитин — «Земля дыбом», сборники «Самосознание» и «СССР — демократические альтернативы» и, наконец, всем известная троица: Алтаев, Челнов и Горский — «Звериное лицо народа-богоносца»), — всех их объединяет ненависть и презрение к русскому народу и фанатическая нетерпимость к инакомышлению.

Вывод напрашивается сам: движение, именующее себя демократическим, не только никогда не было таковым, но за всю историю наших правящих классов и интеллигенции — никогда в нашей истории не возникало такого типа коллективного сознания, которое было бы так враждебно нации, столь воинственно антидемократично по отношению ко всем остальным слоям населения.

Что же в действительности представляет собой «демократическое движение»? Можно было бы согласиться с Г. Померанцем и признать его взгляды бунтом «космополитического сброда», но это было бы очень неточно. Космополит, в традиционном понимании, равнодушен к национальной проблеме, он ее не переживает вообще, она ему неинтересна. Для наших же «демократов» национальная тема — это тема № 1, она — их боль, они все время развернуты лицом к ней, и лицо это перекошено ненавистью.

Помимо всех прочих факторов, формирующих подобное сознание, есть один, возможно и наверное, не самый главный, но самый настораживающий. Ранее мне всегда не хватало решительности целиком и полностью вписать это явление в чужеродную нашей национальной природе стихию. Какой-то пронзительный подголосок в либеральной многоголосице всегда настораживал меня, напоминая нечто, уже где-то ранее слышанное. И однажды мне пришлось услышать откровения на эту тему нашей истории доктора математических наук некоего А. Л. «Трагедия России,— разъяснял он,— в том, что ей случилось проиграть все те войны, какие следовало бы выиграть, и выиграть все те, какие нужно было проиграть. Войну с Наполеоном нужно было проиграть, и мы имели бы реформированную Россию. Крымскую войну нужно было бы выиграть... и т. д. Войну с Гитлером нужно было проиграть, чтобы покоренную Германией Россию освободили американцы и принесли нам демократию». И вдруг я вспомнил, где я слышал подобное!

«В двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, отца нынешнему, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе. Совсем даже были бы другие порядки-с».

Да это же Смердяков! Попробуйте отгадать, кто это говорит — Смердяков, Померанц или Амальрик:

«Может ли русский мужик против образованного человека чувство иметь? По необразованности своей он никакого чувства не может иметь. Я всю Россию ненавижу...»

Перечтите еще раз ранее приведенные цитаты из либеральных писаний и убедитесь, что все они сутью своей в этой одной фразе Смердякова.

Те «чистокровные русские без почвенной основы», которые, по словам Г. Померанца, имеются в среде «космополитического сброда», эти наши смердяковы — это они своими подголосками ретушируют отчетливость чужеродной сущности т. н. «демократического» движения.

Но с другой стороны, «смердяковщина» едва ли есть только русская болезнь. Плебейство, желчное и воинствующее, — как раз явление космополитическое, «банной мокротой» рожденное, жертва национальной кастрации, — не их ли смердяковы голоса все чаще и чаще слышим мы с западной стороны? Но что нам до Запада!

Возвращаясь к мировоззрению советского либерализма и подытоживая все сказанное, можно с определенностью констатировать, что сугубо теоретические воззрения либерализма есть такое духовное явление, когда интересы узкого клана людей становятся несовместимыми с их принадлежностью к определенной национальной структуре. Необходимо подчеркнуть, что речь идет о явлении уникальном, ранее неизвестном в истории.

ПУТИ ХРИСТИАНСКОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Проблема христианского возрождения в России имеет несколько аспектов, из которых наиболее существенными могут представляться два из них:

1. Преобразование массового атеистического сознания в религиозное и соответственно — возрождение Церкви как социального института, **но безотносительно к судьбам России как государства.**

То есть вполне возможен вариант обращения (разумеется, постепенного) народа к христианству и при том полный распад социального организма, онтологически соотнесенного с факторами, препятствующими религиозному возрождению и чуждыми религиозному сознанию вообще. В этом направлении идет развитие общинного сектантства, к таким настроениям склоняются весьма многочисленные т. н. иудео-христиане, такая историческая перспектива предпочтительна атеистам-демократам, рассматривающим историческую Россию как гнездилище мирового зла. Все варианты катакомбного христианства, часто окрашенные в апокалиптические тона, также являются носителями асоциальной религиозности.

Пропаганда социального коллективизма, подменившая и извратившая идею соборности, отвращая от себя сегодня русского интеллигента, часто подталкивает его к крайности, к религиозному индивидуализму, к интуитивному ожесточению против всякой социальности вообще. Оставляя в стороне качество такой религиозности и соответствие ее православному миропониманию, следует заметить, что подобный путь обращения часто сопровождается известной агрессивностью против догматов Церкви, несущих в себе то или иное социальное звучание. Это оборотная сторона религиозного модернизма, имеющего намерение превратить Церковь в политическую силу сиюминутной актуальности.

Ранее еще нигде не отмеченный, этот аспект религиозного возрождения уже успел, однако, дать рецидивы в определенных слоях теперешнего русского общества.

Не прошли бесследно десятилетия антирелигиозной пропаганды, и сегодня значительная часть советской интеллигенции русского происхождения находится в состоянии неспособности к религиозному мировосприятию. Христианская диалектика социального, даже при добросовестной беспристрастности, представляется им абсурдной, а всякое проявление асоциального христианства возбуждает подозрения на предмет несовместимости христианизации России и сохранения ее государственности. В этих кругах растет интерес к славянскому язычеству, к восточным религиям, даже делаются попытки синтезирования информации указанного характера, притом не столько из религиозной жажды, сколько в целях противопоставления христианству своеобразной антитезы эстетико-мифологического характера. В крайних своих проявлениях антихристианская тенденция в этих кругах уже знаменуется открытыми вылазками-выпадами против основ христианства, и при полной беспомощности официальной антирелигиозной пропаганды антихристианский национализм имеет перспективу получить молчаливое благословение властей на борьбу с христианским возрождением в России.

Было бы ошибочно, однако, как это часто делается, заносить указанный тип сознания в актив умышленного зла. Попытки диалога с представителями данного направления с очевидностью вскрыли, с одной стороны, трагическую ущербность их души, с другой — искреннюю озабоченность судьбой русского народа и интуитивное чувствование инфернальности полувекового социального експеримента в России.

2. Христианское возрождение в России большей частью его приверженцев мыслится как возрождение христианского Российского государства, ибо **государство есть способ существования народа-нации в современной действительности, и альтернативой этого существования может быть только несуществование.**

Исторически выявлено и величайшими умами России отмечено, что понятие «русский» не просто больше его этнического содержания, но что оно обозначает определенное качество сознания, исторически обнаружившееся и понимающее мир и Бога своеобразно и особенно. Оно, это сознание, было одновременно и продуктом истории, и творцом ее. И когда Достоевский говорил, что русский — это православный, то за утратой православного миропонимания он предвидел такую степень качественного изменения сознания, за которой уже правомерно говорить о новой антропологической сущности. Русская нация (нация, а не союз племен) возникла, как и большинство современных европейских наций, на почве христианства, и катастрофическое положение ее сегодня, в период небывалого державного могущества, — доказательство тому.

Не может быть, да и нет речи о реставрации. (Она невозможна и пагубна даже в идее.) Возрождение есть рождение заново. Речь, следовательно, идет об обращении к православию всего комплекса индивидуального и социального бытия, обогащенного и умудренного трагическим опытом отпадения и блуда. Опыт этот должен быть осознан разумом и переложен на язык руководства к действию.

Ныне христианство в России не может быть не социальным. А религиозное возрождение в России непременно будет социально-религиозным, и поскольку главная наша социальная проблема заключается в национальном возрождении, то термин «национально-религиозное», еще точнее — «национально-христианское», есть не только наименование движения, но и определение программной сущности его.

Мы еще долго будем спорить о путях и средствах, мы еще недостаточно ясно представляем свои возможности, но мы твердо знаем, **на чем должны стоять:** должна быть спасена от вырождения и гибели наша нация как самостоятельная и особенная народная личность, имеющая свою миссию в семье народов. Для того должно вернуть ей православное лицо, нужно вернуть ей ее историческое сознание, нужно вернуть ей национальное зрение, национальное видение мира и Бога.

Без православия нет русской нации, но и православия народу, переставшему быть нацией, не обрести, ибо нация — это есть способ обретения Бога людьми, живущими в пределах одного горизонта, воспринимающими мир в одних и тех же красках, ибо разными красками расцвечены горизонты народов; людьми, говорящими между собой и с Богом на одном языке, на том, каким говорит с ними Бог; людьми, сознающими свою ответственность перед Богом не только индивидуально, на виду у близких, но и коллективно-национально перед лицом других наций.

Нация — это в конечном ее смысле есть способ бытия в Боге родственных по мировосприятию людей, именно потому безбожие, антихристианство всегда в истории было враждебно национальным традициям и объектом своей активности в первую очередь всегда имело нацию, в которой возникало.

Тому, кто вознамерится погубить какой-то народ или все народы, вполне достаточно будет лишить их специфического национального сознания, стереть в их памяти боль и гордость прошлых поколений, дискредитировать их национальный идеал, придумать для них единый, безликий шифр общения, перемешать народы между собой — и тогда властвуй над ними и дари им жизнь и забирай ее по своему усмотрению и надобности!

Из того следует: какие бы конкретные задачи ни возникали перед нами, как бы ни раскладывались в ситуации союзные и враждебные нам силы, потенциально союзными всегда должны считаться для нас национально-религиозные настроения и бескомпромиссно-враждебными должны быть настроения антинациональные, под каким бы лозунгом они ни выступали, как ни казались бы выгодны временные компромиссы с ними, как бы ни было опасно для нас принципиальное противостояние им.

Если мы будем принципиальны, то обретем союзников в каждой стране, в каждой нации, в каждом народе, поскольку в каждом народе и в каждый миг бытия есть и будет хотя бы десяток людей, понимающих решающее значение национального фактора в проблеме спасения человечества от маразма атеизма. Национально-христианское миропонимание, национал-христианство (как спроецированные на социальность христианские проблемы человечества) может стать тем искренним рукопожатием народов, о котором народы мечтают уже не первое столетие; оно же может выработать тот язык, посредством которого поймут, наконец, друг друга Христианские Церкви, то есть не в ущерб какой-либо из них, а, напротив, через признание жизненно необходимых особенностей каждой. Истинность же выявится не в спорах, то есть не в словах, а в деяниях, кои будут сопутствовать реализации христианского дела в том или ином народе.

1975 г.

ПО ПОВОДУ ВЫСТАВКИ И. ГЛАЗУНОВА

«Эти толпы людей по периметру Манежа, боюсь, имеют весьма малое отношение к живописи и искусству как таковому!» — прищуриваясь, говорит немолодой интеллигентный человек.

...На высоком берегу реки женщина то ли в надежде, то ли в отчаянии вскинула руки к небу, и тень ее православным крестом упала за реку на поля... Картина называется «Родина».

«Спекуляция на актуальности и дурном художественном вкусе!» — поясняет строгий интеллектуал.

Дурным же вкусом уже давно обозначены у нас национальная тема и интерес к ней.

С той же определенностью академическим стилем в искусстве и литературе принято считать, в лучшем случае, этакое, я бы сказал, хирургическое спокойствие в соприкосновении с русской темой, чаще же — «свободный поток» стилистически утонченных издевок, в итоге имеющих смысл «объективного» приговора.

Разумеется, апелляция к «толпе» в споре об искусстве — вещь сомнительная, особенно в наш век массовых психозов и «массовой культуры»! Но как отличить «вкус толпы» от признания? Да и мало ли можно припомнить парадоксов славы и бесславия в истории искусства? Есть еще и сугубо профессиональный подход к делу, но признаюсь, что имею о нем достаточно смутное представление, по крайней мере, когда речь идет о современной живописи.

А знакомство с мнениями о творчестве И. Глазунова с очевидностью убеждает в том, что в противоречии друг с другом оказались не профессионалы с дилетантами, а и те, и другие разделились по совершенно иному признаку, определить который можно коротко: отношение к России как историческому факту. То есть это означает, что если два человека равного интеллектуального уровня принципиально разошлись в оценке творчества Глазунова, то они в большинстве случаев непременно столь же принципиально разойдутся в оценке прошлого, настоящего и будущего России и русского народа.

Но выслушаем упреки. Вот о «Царевиче Дмитрии»:

«...К чему было будоражить далекую тень невинно убиенного младенца? Что за урок таит в себе?..»

Что касается «урока», то не скомпенсирует ли нам это «воспоминание» художника недавнюю утрату другого символа — Ипатьевского дома, что срыт был глубокой ночью бульдозерами при оцеплении милиции? А нож, что вмонтирован в картину, полоснул не по горлу ли нашей нации?..

Но чужому разуму что наши символы! Или наоборот? Беспокойство причастного?..

Или «Русский Икар»:

«...Миф об Икаре — ...подлинный гимн творческому гению человека, его... героическому богоборчеству... Художник сделал русского Икара похожим на иконного Спаса... Какое уж тут богоборчество!»

И верно, никакого!

Конечно, нужно учитывать, что, во-первых, автор этих строк — советский официал, во-вторых, высказывался он двенадцать лет назад. Сегодня противники «русской темы» держат нос по ветру и куда ловчее в высказываниях. Если же мы представим, что автор вышеприведенных строк ныне обратился в эмигранта (в чем нет ничего фантастического), то вот его высказывание всего лишь двухлетней давности:

«...объявив себя русским националистом, Глазунов начал спекулировать на православно-религиозной теме,.. воспринимавшейся неосведомленной публикой как новое слово в искусстве».

Ныне «православно-религиозная» тема не под бойкотом, сегодня, ради Бога, веруйте на здоровье, но, пожалуйста, сохраняйте вашу веру в таком качестве, чтобы — упаси вас Боже! — не пострадало при том благополучие, на безверии построенное!

С национальной проблемой все куда как сложнее! Было бы любопытно проанализировать незаметно установившуюся сегодня «норму интеллигентной порядочности» в национальном вопросе, иными словами, ту «норму», по которой ныне принято определять уровень интеллектуальности того или иного диссидента или интеллигента, функционирующего в полуофициальной среде. Думается, что такой «нормой» или образцом для нее может явиться следующее стихотворение А. Галича («Русь»):

Горькой горестью мечены
Наши беды и плачи —
От Петровской неметчины
До нагайки казачьей.
. . . .
Что ни год — лихолетие,
Что ни враль — то мессия.
Плачет тысячелетие
По России Россия.
Плачет в бунте и скучности...
А попробуй спроси —
Да была ль она, в сущности,
Эта Русь на Руси?
. . . .
Уродилась проказница —
Все громить да крушить,
Согрешивши — покаяться
И опять согрешить,
Барам в ноженьки кланяться,
Бить челом палачу...
Не хочу с тобой каяться
И грешить не хочу!

Переполнена скверною
От покрышки до дна...

На этих строках стихотворение могло бы окончиться лет пятнадцать назад. Но сегодня так уже писать нельзя, потому что это даже за рубежом не нравится, и Галич продолжает:

Но ведь где-то, наверное,
существует она —...

И оказывается, что она (Русь) существует в сердце поэта, то есть только в нем и существует, не существовав никогда в реальности. Оказывается, что Русь — это навранная русопятами иллюзия и фантазия, что она есть ничего более, как кипение тоски, благородной и симпатичной тоски в сердце Александра Галича, той и такой тоски, коей не сто́ит вся эта «переполненная скверною от покрышки до дна» «историческая субстанция», именуемая Россией. И уж тем более сто́ит ли класть головы и жизни за чью-то маяту в сердце, даже если это сердце ею столь переполнено!

В отличие от вчерашнего дня, сегодня уже дозволена внеисторическая национальная ностальгия как часть эмоционального интерьера интеллигента, с ней он смотрится объемнее и целостнее, но сохрани его Бог от большего, чем ностальгия!

Допуск в арсенал интеллектуальности национальной эмоции — есть, однако, не только веяние времени, но, в известном смысле, и завоевание тех, кто знает, верит, действует и живет во имя преодоления нашей исторической дискретности, именуя таковой печальный период нашей истории, когда Россия стала полигоном мирового эксперимента. Это преодоление осуществляется медленно, малозаметно, но по всем уровням.

На одном из этих уровней существует и действует художник Илья Глазунов.

Ныне на каждом общепринятом термине висит столь весомая нагрузка конъюнктуры и клановости, что по этой причине просто не хочется употребить слово «талант», потому что, к примеру, если верить предисловию В. Максимова к «Аполлону-77», то окажется, что под этим словом Максимов понимает нечто из ряда вон выходящее, по крайней мере, выходящее из ряда произведений искусств, кои до теперешних времен обозначались тем же словом — талант.

И. Глазунов — русский художник, и бесспорная справедливость этого определения, даже до некоторой степени подчеркнутая и вызывающая справедливость — не она ли есть источник раздражения и воинствующего непризнания известной части интеллигентной публики?

Русское искусство всегда было социальным по своему содержанию, лучшими именами оно вписалось в историю наше-

го народа как действенная социальная сила, и оттого, что одни имена мы сегодня произносим с гордостью, другие с печалью, третьи с недоумением, — это не меняет характера русского искусства в целом.

Где-то, не в России, научились люди отчуждению творческого импульса от боли и радости своего времени, не русский ум предал проклятию формы Божьих творений и дерзнул творить формы из абстракций, ни в едином случае не реализовался в России и в русском сознании соблазн «для звуков сладких и молитв».

Проще говоря, не было у нас ни одного таланта и гения, который бы не болел Россией. И если теперь эта боль стала именоваться национализмом, то тогда вся наша история есть история русского национализма. В конце концов, я не вижу причины, почему мы должны отмахиваться и открещиваться от етого термина, если он столь мил нашим противникам? Скажут: национализм-то ваш великодержавный! И прекрасно! Великая держава — разве это так плохо?! Великая держава, дольше и упорнее прочих сопротивлявшаяся богоборчеству, не устоявшая перед натиском атеистической агрессии и жестокой ценой заплатившая за эксперимент безбогостроительства, а ныне пробуждающаяся к вечным истинам — кто смеет кинуть камень, кроме тех, кому истина отвратительнее всего?

Нам навязывают старый и испытанный вариант социального развития: через обострение антагонизмов к партийной вражде, откуда один шаг до гражданской бойни. Мы же хотим другого варианта и надеемся на него. *Мы хотим видеть в каждом русском прежде всего брата, мы не можем позволить еще один пересчет обид за счет русской крови — ею уже довольно полита русская земля.* И если до такой степени изломаны атеизмом души людей, что глухи они к истине православной, то, может быть, истина народного братства, — а эта истина есть, — может быть, она окажется если не первым лучом прозрения, то, по крайней мере, фактором, упреждающим путь злобы и насилия.

История нашего государства есть история государства христианского, история нашей культуры есть история христианской культуры; идеал народного братства, если к нему проснутся души, немыслим и невообразим вне братства христианского, православного. Путь же к нему лежит через историю, через воспоминание нацией того лучшего, что было в ней, в помыслах народных, в умах его гениев, — и все это тоже Православие. Русский безрелигиозный национализм невозможен, потому что в нем не будет уже ничего национального, под этим названием может войти в нашу историю еще одно, нечто совершенно чужое и грозное, что обнаружит свою сущность первыми же шагами, и победа его будет именоваться гибелью исторической России.

А между тем вопрос стоит именно так: быть или не быть русской нации, потому что мы уже давно лицом к лицу с перспективой перерождения нации в новую, пока еще не поддающуюся точному определению социальную сущность.

Деятельность по возрождению нации, борьба нации за существование — так именуется, так обозначено сегодня наше социальное дело. Нас ждет работа, объем которой мы еще вполне и представить не можем, но это именно работа, кропотливая и неэффективная, где не только успехами не ослепиться, но и поражения можно не ощутить.

«Россия мечется без сознания... Придет ли в себя? Не слишком ли поздно опомнится? Но, видно, только в тот час, когда она вспомнит о душе своей и о Боге, вспомнит и о ней Бог».

(Вяч. Иванов).

Итак, предстоит России вспомнить о своей национальной душе и о Боге и, может быть, именно в такой последовательности: сначала о душе, затем о Боге. Чей долг облегчить ей это воспоминание?

Художник Илья Глазунов считает, что это и его долг, и нескончаемые толпы по периметру Манежа — это люди, идущие на лечебный сеанс, а сотни благодарственных записей в книге отзывов — свидетельства эффекта лечения. Чтобы нейтрализовать этот эффект, сколько нужно потрудиться всяким яновым, померанцам и амальрикам и пр. — о том знают они сами, и потому столько злобы и желчи в адрес художника. Впрочем, эти люди тоже претендуют на рецептирование нашей национальной болезни. Не о них ли полвека назад сказал Вяч. Иванов:

«Я обращаюсь к видящим наш позор и распад, бесстыдство и беснование. Если они подлинно чувствуют себя трезвыми на буйной оргии, зачем же... издеваются они над уничижением народного лика, как издевался некогда Хам над наготой великого отца своего, охмелевшего по первом сборе винограда? Они дерзают говорить за родину, но не похож на голос матери их бездушный металлический голос. Они также призывают к покаянию, но... патриотическое их самобичевание так искусно, что удары бича не задевают единственно их самих».

Воистину, нас так энергично призывают каяться, словно боятся, что мы намерены прежде заставить каяться кого-то другого! Но разве мы тем заняты?! Мы сегодня поворачиваемся лицом к истории нашего народа и пытаемся пристрастно понять ее, потому что узнали, что беспристрастного понимания истории своего народа не существует.

И, с удивлением и радостью всматриваясь в красоту русских лиц на полотнах И. Глазунова, мы сравниваем их с лицами пророков сегодняшнего дня и познаем, *что* мы потеряли от своей души в погоне за призраками интернационализма и «социальной справедливости»!

1978 г.

ЖИЗНЬ РОССИИ БУДЕТ НАПОЛНЕНА НАЦИОНАЛЬНЫМ ДЕЙСТВОМ*

А. М. — Леонид Иванович, из предисловий к Вашим публикациям достаточно известно о Вашей творческой и политической деятельности. Но откуда Ваши истоки? Не могли бы Вы рассказать о своих родителях, атмосфере в семье, о том, что воспитало в Вас потребность поиска истины?

Л. Б. — Я родился в семье сельских учителей. И мать, и отец представляли собой тот тип сельской интеллигенции, которая свято верила в свою миссию в народе. Это не страховало их от ошибок, не охраняло от подчинения жестким правилам своего века, они несли с собой все то, чего требовало время, тогдашняя политическая ситуация. Но тем не менее от тех, с кем я позднее встречался, родителей отличала одержимость своей работой. Это было качество, которое сыграло, может быть, решающую роль в моем понимании, что такое добросовестность в жизни.

Родители были коммунистами, и мама, умершая в 1977 году, лишь на опыте моей судьбы пришла к каким-то выводам. Но выводы эти ей давались тяжело, с болью, и мы все уверены, что она умерла раньше времени из-за душевных противоречий, с которыми ей так и не удалось справиться. Что касается каких-то других принципов, то они скорее были от жизни, нежели от воспитания. Я получал их от посторонних людей, друзей и знакомых, нужно прибавить к этому совокупность жизненных обстоятельств — присутствие на различных стройках коммунизма, многочисленные поездки по стране.

А. М. — Но Вы, насколько я знаю, поступили в пединститут, были директором школы под Ленинградом, то есть пошли по стопам родителей.

Л. Б. — Не совсем так. Еще в 1955 г., будучи убежденным комсомольцем, сразу после школы я поехал в Елабугу, в спецшколу МВД, мечтая бороться с преступниками. Там меня застал XX съезд, его половинчатые открытия о правде нашего строя. Я тут же ушел из училища, поступил в Иркутский университет, откуда меня выгнали через семестр за различные политические бултыхания. Потом работа — Ленинградская ГЭС, Норильск, затем — учеба в пединституте на заочном отделении. После окончания работал учителем, потом директором. Кстати, в «Лужской правде» были опубликованы первые мои рассказы — в общем-то, ничего нового, чисто сюжетные.

А. М. — Вас высоко оценивают такие разные писатели, как В. Астафьев и Г. Владимов. Последний сравнивает Вас с В. Распутиным. Кто же из наших писателей Вам близок? Кого из русских классиков Вы считаете своим учителем?

Л. Б. — Насчет учителя труднообъяснимо, и назвать кого-либо конкретно я не могу. Но это не значит, что я не читал и не читаю других. Тем более в лагере я читал все, что можно, все, что попадалось под руку. Я, наверное, единственный человек в Союзе, который одолел полное собрание сочинений Ананьева — такое можно читать только в тюрьме.

А. М. — Леонид Иванович, почти в одно и то же время из Иркутска, как говорится, в большой мир вышли Вы, А. Вампилов, В. Распутин, М. Ворфоломеев. Создается впечатление, что Иркутск является своеобразной интеллектуальной аурой. Подобный перечень имен, на Ваш взгляд, совпадение или закономерность?

Л. Б. — Эта проблема, насколько я знаю, два-три года назад очень интересовала В. Бондаренко. Мне же трудно проследить какую-либо закономерность, возможно, она есть. Все-таки и Вампилов, и Распутин, и Ворфоломеев — коренные люди. У них есть опора под ногами, если хотите, почва, в которую они надежно и крепко вросли.

И это чувство почвы чрезвычайно важно в понимании их творчества.

А. М. — У Достоевского есть замечательная фраза: «Кто почвы под собой не имеет, тот и Бога не имеет».

Л. Б. — Все дело в том, что такие высказывания очень объемны по толкованию. Я же рассматриваю личность В. Распутина, в частности, как своеобразное чудо, которое является на Руси периодически и в подтверждение того, что она жива, что она не гибнет.

Я-то хоть в учительской семье родился, к тому же у меня была очень образованная бабка — преподавательница в пансионе благородных девиц, участница русско-японской войны, медсестра при штабе Куропаткина — одним словом, женщина старого закала, из купцов первой гильдии, а это были люди высокой культуры. То есть какой-то задел у меня был. Распутин же вышел из типичной крестьянской семьи.

Был такой случай. В Саратове я сидел в камере со своим другом Евгением Вагиным. И вот мы каждый день читали вслух несколько страниц «Анны Карениной». Потому что общение с классическим русским языком — действо, предохраняющее от духовного распада. И когда я впервые прочитал Распутина — больше всего мне нравится повесть «Последний срок» — я почувствовал колоссальную преемственность от нашей классики в стиле, в образах, в миропонимании, хотя другая тема, другие события, другая эпоха...

* Беседа корр. А. Меркулова с Л. Бородиным впервые опубликована в газете «Вече» (г. Санкт-Петербург). № 1(9), апрель, 1992 г.

Да и, заметьте, все наши «деревенщики» родом из глубинки, и, безусловно, в 60—70-е и в начале 80-х годов они оказали огромное влияние на духовное развитие в нашей стране. Сейчас, к сожалению, эта линия, по-видимому, затухает — практически нет новых произведений.

А. М. — Леонид Иванович, скажите, Вы верующий? Это чувство привили Вам в детстве или Вы пришли к вере потом?

Л. Б.— Это тема, на которую я не люблю распространяться. Я могу только с определенной долей уверенности сказать: я считаю, что у меня христианское мировоззрение. Бо́льших заявок я дать не в состоянии.

Отталкивание от господствующей идеологии, разрыв с нею начались со знакомства с позитивным мировоззрением — христианством. До этого у меня были критические взгляды на происходящее, я мог ругать существующие порядки, но все равно в глубине души оставался социалистом. И это было до тех пор, пока не встретился с религией. Конечно, это был долгий процесс постижения. Крестился я уже после первого срока.

А. М. — Почему я задал этот вопрос? Раньше все бежали вступать в комсомол, сегодня все бегут креститься.

Л. Б. — Вы неверно понимаете сущность крещения. Абсолютно не играет роли: все бегут или один-два. Это Ваше личное дело, Ваша судьба... Так же, как не важно, какой священник Вас крестил — хороший или плохой, честный или стукач. Он — только исполнитель Божьей воли. Есть такая фраза у кого-то из наших святых: «Первыми в ад идут священники». То есть за свое духовное несовершенство, свои грехи они сами несут ответственность перед Богом. Но на земле они выполняют определенную миссию, являясь посредниками между Богом и человеком, и Вас должно интересовать только это общение.

Также, повторюсь, совершенно не существенно, все побежали креститься или церкви пусты. Более того, мода на крещение появилась гораздо раньше, в 70-е годы. Только тогда это носило еще более сомнительный характер, это была форма тихого диссидентства: «вот, я крещеный» — ходит, как с фигой в кармане. Одним словом, это был протест, за который не сажали. Сегодня же люди хоть как-то задумываются, прежде чем креститься, совершают это таинство, чтобы иметь ангела-хранителя и так далее.

Вообще крещение похоже чем-то на прием в партию, если возможно такое сравнение. Если человек верил в коммунизм, верил, что он делает самое главное в жизни, что приближает великое будущее человечества, разве для него существенно было, что поступила разнарядка на прием пятисот человек? Нет. Он боролся за место в числе этих пятисот. Потому что верил. Безусловно, и тогда были карьеристы, мерзавцы, но были также искренние люди.

А. М. — У меня сразу возникает вопрос при подобном сравнении крещения и вступления в партию. Партия большевиков была построена на атеизме. Но все равно существовал очень сильный, хотя и своеобразный, элемент религии: вера в светлое будущее, обожествление вождей. У замечательного русского философа Г. П. Федотова есть следующие слова: «В марксизме, особенно русском, живет хотя и темная, но религиозная идея: по своей структуре революционный (не реформистский) марксизм является иудео-христианской апокалипсической сектой».

Л. Б. — Да, я читал Федотова. Когда у нас свершились события 17-го года, все бросились вскрывать тайники русской души: какие они гадкие и мерзкие. И это самобичевание нам присуще, к тому же русский марксизм у нас отождествлялся с русской нацией. Но если почитать биографии всяких бебелей и лесснигов, то мы увидим те же самые черты, свойственные любому учению, претендующему на тотальность. Те же якобинцы времен Великой Французской революции были не менее фанатичны, чем большевики. Они тоже пытались создать новую религию, уничтожая при этом тысячи своих сограждан. И подобные свойства души проявляются у всех народов, если они проходят через решающие стадии ломки старой идеологии и создания новой.

К тому же мы знаем, что, с одной стороны, в России было велико увлечение марксизмом и, с другой стороны, росло сопротивление по мере того, как выявлялась сущность учения пришедшей к власти партии. Это раньше считалось, что победа была бескровной, что весь народ с радостью принял Октябрь. Ничего подобного, нам известно сегодня о том, какое было внутреннее сопротивление, и как раз из народа, как поднималось казачество, как крестьяне, например, защищали от осквернения храмы. Если же искать какую-то специфическую национальную черту, спровоцировавшую революцию, у интеллигенции, то не нужно забывать, что именно интеллигенция конца XIX — начала XX века была наиболее интернациональной по своему воспитанию и находилась под сильнейшим влиянием западных идей. Поэтому менее всего можно ссылаться на национальный характер, когда мы говорим о революции.

А. М. — Я согласен со всем, что Вы говорите. Но дело в том, что религия несет добро. «Религия» же большевиков несла зло, это была уже антирелигия.

Л. Б. — Вы поймите, что только сейчас многим стала понятна сущность этого зла. Система же была выстроена таким образом, что эсхатологическая направленность на мировое счастье просматривалась отчетливее, чем путь, которым это счастье достигалось. Создавался своеобразный прожекторный тип мышления: людям высветили впереди сказочное будущее, и они, зачарованные этим далеким, но манящим образом, готовы были идти, запинаться, падать, гибнуть. И, безусловно, это трагедия нашего народа, но презирать за эти заблуждения было бы вряд ли честно.

А. М. — Леонид Иванович, в Ваших произведениях— человека, прошедшего через лагеря,— не чувствуется озлобленности на мир, какая, скажем, ощущается в рассказах В. Шаламова, безусловно, талантливого русского писателя.

Л. Б. — Это объясняется очень просто. Поколение Шаламова пострадало ни за что. Представьте себе: живет человек, занимается своим делом, вдруг его хватают, мордуют на допросах, загоняют на Колыму, доводят чуть ли не до смерти. Он же ни в чем не виноват. Такое не может пройти бесследно: и обида, и злость копятся в душе.

Меня же и моих друзей арестовали за конкретное дело: создание антисоветской организации. За подобное раньше расстреливали. Второй срок — за публикации в «Тамиздате», за то, что я нигде не засвидетельствовал верность режиму. И это не важно, что им не удалось доказать моей конкретной вины, я-то знал свое душевное состояние, противостояние, неприятие происходящего. И даже здесь не совсем верно, что у меня нет злости, обиды. Вообще «обида» — не то слово. Жаловаться, обижаться — в чем-то женское качество. Но я не сказал бы, что у меня нет злости, а то, что она не отразилась в моих писаниях, ни о чем не говорит.

А. М. — Но даже вездесущий шеф 3-го отделения проницательно заметил: «Произведение есть душа писателя».

Л. Б. — Все-таки не совсем верно.

А. М. — Вы не согласны с этим?

Л. Б. — Просто я сужу по себе: знаю, какие наплывы злости иногда испытываю. Может быть, я умею их гасить в своих произведениях. Хотя, положим, в «Женщине и море» чувствуется тихая злость, которой не дается выхода.

А. М. — Уточняющий вопрос. Вы являетесь лауреатом литературных премий: французской «Свобода» и итальянской «Гринзане Кавур». За какие произведения вы их получили?

Л. Б. — Что касается премии «Свобода», она была присвоена Владимову, но он предложил передать ее мне, тогдашнему зеку. Это был акт политической солидарности. А «Гринзане Кавур» — за роман «Расставание».

А. М. — В интервью «Комсомольской правде» Вы сказали следующее: «Если говорить о моих личных симпатиях, то они с теми силами, которые сегодня ориентированы на Россию, главный атрибут которой — государственность». Хочется задать Вам такой вопрос: возможно ли сегодня, по-Вашему, в нашей стране возрождение монархии?

Л. Б. — На мой взгляд, монархия — самая красивая форма государственного правления. Именно красивая, другого определения у меня просто нет.

Но на сегодняшний день реальности возрождения монархии не существует. Несмотря на возникающие организации, частично сочувствующие настроения, где тоже, как я успел заметить, присутствует элемент моды противостояния официальному строю, своеобразной демонстрации.

К тому же надо понять, что такое монархия. Монархия, согласно философу Ивану Ильину, гораздо больше, чем наследственное единовластие, это тип бытия народа, особый тип мышления, своеобразные экономические и нравственные отношения, определенное правовое сознание, которое воспитывается десятилетиями, если не столетиями.

А. М. — У нас же оно было вырублено вместе с носителями: крестьянством, интеллигенцией, духовенством, купечеством, офицерством.

Л. Б. — Именно. Но в своей истории России удавалось в кратчайшие сроки перейти в новое состояние, поэтому утверждать категорично, что монархия у нас невозможна, я не стал бы. Но повторюсь, что на конкретный, данный момент народ просто не готов к этому.

А. М. — Леонид Иванович, а как Вы восприняли статью Солженицына «Как нам обустроить Россию»?

Л. Б. — Сам факт, что никто не принял эту статью как программу, ни одно движение не взяло ее полностью, говорит о своеобразной отстраненности Солженицына от событий в России. Я был несколько раз на Западе и встречался с теми эмигрантами, которые держат, что называется, руку на пульсе жизни российской, и все равно каждый раз я ощущал, что в чем-то — на неделю, на сутки, на час — они опаздывают. Тем более Солженицын — человек, увлеченный своей работой, полностью поглощенный ею, вряд ли способен постоянно и пристально следить за всеми подробностями нашей жизни. И это, наверное, сказалось на статье.

А. М. — Но очень привлекательна мысль Солженицына о славянском союзе России с Украиной и Белоруссией, о том, что славянам с их подорванным генофондом, с разграбленными национальными богатствами следует объединиться, чтобы сохранить оставшееся...

Л. Б. — Пожелания остаются пожеланиями. Все равно — хотим мы этого или нет — решать будут украинцы и белорусы. И, безусловно, возможны действия, которые могут подтолкнуть ситуацию к этому сближению. Или наоборот. Многое будет зависеть от того, каким образом станут действовать политические деятели, ведь сам факт сегодняшнего подчеркнутого выделения России из Центра — узаконивание развала.

А. М. — Даже после десятилетий физического и духовного геноцида русского народа у нас были и есть духовные светочи и водители: Солженицын, Распутин, Шафаревич, Астафьев, Клыков, Рубцов, Бондарчук, Белов, Передреев, Селезнев, Шипунов, Кожинов, из молодых — те же Башлачев и Бурляев, кроме того, представители русской эмиграции и Русской зарубежной церкви, отечественное духовенство. Но у нас почти нет (и об этом справедливо написано в журнале «Слово» № 10 за 1990 год — статья «Где вы — Третьяковы, Мамонтовы?..») профессиональных политиков, купцов, а следовательно, меценатов. А без них национальное возрождение задохнется...

Л. Б. — У нас многого нет. Самое главное, у нас нет единства установочных понятий. А это гораздо серьезнее, чем отсутствие купцов.

Демократические силы инстинктивно правы, и вот в чем. Они выдвинули лозунги, которые подкупают своей привлекательностью и, в общем-то, по своему логичны. В них есть правда, не признавать которую невозможно. Действительно, нужна человеку свобода? Нужна. Эти идеи лежат на поверхности, и люди, после многолетней апатии кинувшись в политику, усваивают демократические понятия легко, потому что они не требуют глубинного понимания народной сути, истории. Создается своеобразное горизонтальное мышление.

Ведь для того чтобы те же купцы появились, нужны элементарные экономические свободы? Безусловно. Поэтому, говорят демократы, создадим свободную экономическую зону.

Для российского, русского или, как принято теперь говорить, патриотического движения свойственно глубинное постижение происходящего с нами, попытка отыскать аналогию в нашей истории, извлечь уроки, чтобы хоть как-то избежать новых ошибок. Но у нас не решился процесс формирования идеологии, и этим объясняется отсутствие монолита внутри самих патриотических сил, отсюда определенная двусмысленность, порой некоторая неопределенность в поведении, в словах, лозунгах. Нужно научиться преодолевать эту разобщенность, искать общие точки соприкосновения, подавлять собственные амбиции, идти на признания, которые звучат не совсем приятно для тех, кто очарован демократическими идеями.

Нужно понять, что в Швейцарии — одна демократия, в США — абсолютно другая. У нас же взяли отовсюду понемножку, сложили, и то, что не похоже ни на Америку, ни на Францию, ни на Швейцарию, вынесли за скобки. И сегодня активно внедряется это среднее арифметическое понятие демократии, очень легко усвояемое и внешне легко осуществимое. В силу всех этих причин победа Ельцина была обеспечена и более того, я считаю, необходима. До этого момента он митинговал, призывал, обещал и разоблачал, теперь придется доказывать делом.

А. М. — В эмигрантском журнале «Русское Возрождение» за конец 70-х годов я читал Вашу статью о творчестве И. С. Глазунова. Что Вы наиболее цените в Глазунове как в человеке и художнике? Против него и сегодня используется гнусная клевета, иногда такое услышишь, что диву даешься. Причем нередко подобное отношение и среди патриотов.

Л. Б. — Да, я знаю это и попытаюсь позже объяснить, почему происходит подобное. Что же касается наших личных отношений, то мы в 70-х годах были с Глазуновым очень дружны. Он оказывал в то время, — и сейчас об этом можно сказать, — большую помощь русским диссидентам, поддерживая их финансово и духовно, о чем никто не знал. Будучи гениальным менеджером своего искусства, используя для этого средства, на которые многие, может быть, справедливо говорят «фи», он делал многое из того, о чем я и сегодня не могу говорить. Несколько лет мы были в очень дружеских отношениях, это были для меня чрезвычайно трудные годы и, может, именно благодаря Глазунову я тогда выжил.

Да, я знаю, говорят, что масон и так далее. Все это ерунда. Просто это человек, не вписывающийся ни в одну программу, ни в одну партию. Каждый, кто сегодня приходит с какой-то программой, это человек, изобретший велосипед. Он пять-шесть лет находился в подполье. Дошел до каких-то истин, которые дались ему тяжело. Он это помнит и поэтому идет со своей программой как с кувалдой: мол, попробуй, возрази. И если человек от этой кувалды увернется: «А, не нравится, масон, наверное». Так что ситуация с Глазуновым не нова. Примерно так же было, когда Солженицын приехал на Запад. Каждая эмигрантская группировка считала, что он должен поддержать именно ее. Когда же он этого не сделал, все страшно обиделись. Кроме того, Александр Исаевич не принимает каждого, кто хочет с ним поговорить, — все обиделись еще больше. Но Солженицын человек творческий, у него жесткий график, расписана каждая минута.

То же самое с Глазуновым: он не вписывается ни в какую программу. Да и не обязан это делать. Он — художник.

А. М. — В прошлом году Вы с группой русских писателей были в США, встречались с российскими эмигрантами. Какое впечатление у Вас от етих встреч? Как Вы считаете, способны ли эмигранты оказать помощь в возрождении России или они уже настолько оторвались от Родины, что рассчитывать на них не приходится?

Л. Б. — Наша эмиграция, то, что от нее осталось, свою задачу выполнила: пронесла русское знамя через годы изгнания, сохранила и продолжила традицию русской культуры, застолбила российский талант на чужих землях. И мы должны гордиться этими людьми. Но сегодня это уже старики, дети и внуки плохо говорят на родном языке, и маловероятно, чтобы произошло возвращение на Родину. Может, кто-то вернется, но далеко не все. Свою миссию эти люди выполнили, низкий поклон им за это. Я имею в виду нашу, русскую эмиграцию, первую волну, а не третью. Все они наши граждане, наши единомышленники, но рассчитывать на них как на активных борцов уже не следует.

А. М. — Вас сегодня много печатают, но творчество Ваше практически не обсуждается, остается вне поля зрения критики. Складывается впечатление, что против Вас организован заговор молчания.

Л. Б. — Может, это и верно, но только отчасти, и объясняется тем, что я принадлежу к этому лагерю. Но я не думаю, что существует действительно заговор: ребята, давайте не будем писать о Бородине. Просто многим критикам не нравятся мои вещи, возможно, они считают, что это недостаточный уровень. К тому же за моим писательским именем тянется своеобразный конъюнктурный шлейф: через лагеря прошел, диссидент и так далее. Поэтому такое прохладное отношение вполне объяснимо. Более того, я считаю, что я — среднепишущий литератор. Вы представьте себе: был бы я в команде Ельцина, и Бы бы меня не читали. Ведь так? Ударился бы в политику, стал депутатом, прошел в Моссовет, и Вы говорили бы: а, это тот, который при Попове! То же самое и сейчас. Поскольку я в другой команде, предсказуема соответствующая реакция людей, в данном случае я говорю о литературных критиках.

Кстати, для кого пишется критика? Для других критиков. И писателей. Того, что меня публикуют в журналах, вполне достаточно. Те, кто присылают ко мне письма, поверьте, литературную критику не читают...

А. М. — А какие отзывы в письмах преобладают?

Л. Б. — Естественно, письма в большинстве от тех, кому мои произведения нравятся. Бывают ругательные послания. Недавно получил подобное. Причем все справедливо. Автор пишет: «Открыл журнал «Юность», где напечатана Ваша повесть, прочитал фразу о том, что Ваш герой в августе собирает землянику, и дальше читать не стал». Он прав, — какая земляника в августе? — и мне было ужасно стыдно. Или в другом письме мне еще на один ляп указали: «Черный кофе без молока».

Конечно, немало писем доброжелательных. Но опять же, поймите, многие просто постесняются дать отрицательный отзыв. Когда я бывал в Союзе писателей, ко мне подходили благодарить: «Я Вас читал», хвалили. Но другой-то не подойдет: «Ну и ерунду ты пишешь!» Чувство порядочности или робости удерживает.

А. М. — Леонид Иванович, Ваша статья «О русской интеллигенции» заканчивается такими словами: «Я не знаю, что будет в России, менее всего я намерен пророчествовать. Я знаю одно: что бы в России ни происходило, происходить оно будет под национальными лозунгами». Сегодня, спустя 17 лет после написания этой статьи, могли бы Вы что-либо добавить к своим словам?

Л. Б. — Когда я это писал, то имел в виду решающую стадию событий, которые должны совершиться в России. На сегодняшний день этих событий не произошло. Они в будущем. И рано или поздно, например, появятся экономисты, которые отыщут национальные корни нашей экономики: чем она отличается от западной, объяснят специфику русского меценатства. Подобные процессы развернутся и в других сферах нашего бытия. То есть вся жизнь России будет наполнена даже не национальными лозунгами, а национальным действом.

А. М. — Но характерный пример: в январе 1990 года Марина Салье публикует статью «Почему демократическое движение «чуждается» национальной идеи». Спустя буквально несколько месяцев та же Марина Салье появляется на трибунах под российским флагом, трагическим голосом вещая о бедах России и россиян. К чему я это говорю: как бы русское патриотическое движение не оседлали люди с антирусскими настроениями...

Л. Б. — Люди, как и лозунги, появляются и уходят. Вспомните Смутное время: какие только лица не появлялись на политической арене, сколько проходимцев развелось тогда на Руси. Но вот Минин скликает сход в Нижнем Новгороде. Возникает русское дело, начинается русское действо. Оно спасло Россию тогда. Спасет и теперь.

КУЛЬТУРА НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ!



Отечественный архив

ЧТО НИ ВЕРСТА — ТО КРЕСТ. ДО ЕНИСЕЙСКИХ МЕСТ...

(«ДЕЛО» ЕСЕНИНА — КУСИКОВЫХ 1920 ГОДА)

Во время одной из бесед Анны Ахматовой и Лидии Чуковской речь зашла о Есенине. Анна Андреевна, как об этом вспоминает Чуковская (а ее записи все-таки в большей степени мемуары, чем собственно дневник), была возмущена стихотворением Есенина «По-осеннему кычет сова...». «В такое время — писать о своей облетевющей голове! — И как окончательный вывод: — Его для меня больше нет!»

Эта запальчивость была явно преждевременной. Ахматова еще не раз после этого вспоминала о Есенине — он остался одним из «вечных спутников» ее долгой жизни. Последний раз она размышляла о его стихах за считанные дни до конца.

И все же... Несправедливость Ахматовой в данном случае очевидна. Воздух жестокого времени явственно ощутим не только в других творениях Есенина начала 20-х гг., насыщенных реалиями современности, но и в этом лирическом стихотворении, казалось бы, совершенно далеком от злобы дня.

По-осеннему кычет сова
Над раздольем дорожной рани.
Облетает моя голова,
Куст волос золотистый вянет.

Полевое, степное «ку-гу».
Здравствуй, мать — голубая осина.
Скоро месяц, купаясь в снегу,
Сядет в редкие кудри сына.

Скоро мне без листвы холодеть,
Звоном звезд насыпая уши.
Без меня будут юноши петь,
На меня будут старцы слушать.

Новый с поля придет поэт,
В новом лес огласится свисте.
По-осеннему сыплет ветр,
По-осеннему шепчут листья.

1920 год. Пишет Есенин мало, ездит по стране, составляет новые сборники стихов, читает на поэтических вечерах... И непрестанно думает, размышляет о судьбе России, кровью умытой, об искоренении русского крестьянства, о своей собственной планиде. Предчувствие близкого конца, ощущение костяной руки, тянущейся к горлу, становится все сильнее и сильнее. Это и в «Сорокоусте», и в «Исповеди хулигана», и чем дальше, тем больше оно нагнетается. «Волчья гибель», «Я последний поэт деревни», «Сторона ль ты моя, сторона...»

Окружающая действительность не располагала к жизнерадостности, как не располагает она и сейчас. Жизнь могла быть оборвана в любой миг, а скорее и вероятнее всего, при непосредственном содействии «архангелов» из учреждения, чья аббревиатура наводила тогда ужас на всю страну, — ВЧК.

Есенину уже приходилось общаться с деятелями из ведомства Дзержинского. Однако, насколько нам известно, впервые он познакомился близко с чекистами в качестве подозреваемого в контрреволюции 18 октября 1920 года. Именно этим днем датируется

ДЕЛО № 18155

Московской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлениями по должности при Московском Совете по обвинению Кусикова Александра Борисовича, Кусикова Рубена Борисовича, Есенина Сергея Александровича, начатое 18 октября 1920 года.

ПРОТОКОЛ

На основании ордера Московской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и преступлением по должности за № 9042 18 октября месяца 1920 года по улице Арбат, бывший переулок Афанасьевского комиссариата, при обыске присутствовали председатель домкома Вальт В. Г., товарищ Карпович и жилец Фонер.

Согласно данным указаниям арестованы граждане Кусиковы Александр и Рубен Борисовичи, Есенин Сергей Александрович — оставлена засада.

Взято для доставления в Московскую Чрезвычайную Комиссию следующее: подробная опись всего конфискуемого или реквизируемого у гражданина Кусикова А. Б., тридцать пять рублей советскими деньгами, документы и переписка у гражданина Есенина, документы у гражданина Кусикова Бориса Карповича, 530 тысяч рублей советскими деньгами и двадцать тысяч рублей думскими деньгами.

Что же произошло в тот день? Чекисты явились в квартиру Александра Кусикова, подозревая, что у него скрывается его младший брат Рубен. Незадолго до этого (точная дата в документах не отражена) в МЧК поступил донос, в котором значилось, что Рубен Кусиков служил в армии Врангеля. Он действительно был в Крыму, когда там утвердился Врангель, но служба его в белой армии так и не подтвердилась. Тем не менее чекисты приняли донос к сведению, арестовав Александра Кусикова, установили в доме засаду. Брали всех — сапожника, принесшего сапоги, кухарку, случайно забежавшего соседа. После подробного разбирательства и допроса их поочередно выпускали. В числе арестованных оказался и зашедший к своему приятелю и литературному соратнику Сергей Есенин.

Чекистская бюрократия работала на всю катушку. В регистрационный отдел ВЧК был направлен запрос на Рубена Кусикова с требованием выяснить, проходил ли когда-либо арестованный по делам контрреволюционеров. В Кубанско-Черноморском ЧК допросили родственников братьев Кусиковых, после чего МЧК получила отрицательный ответ на свой запрос. Переписка между карательными инстанциями продолжалась. Запросы коротенькие, в несколько строк, столь же лаконичные ответы. Но длился этот обмен письмами около четырех месяцев, уже когда арестованные давно были освобождены. Допрашивались многочисленные свидетели в Крыму и в Москве. Чего ради была проявлена эта дотошность, эта въедливость? Не для того ли, чтобы найти хотя бы мало-мальски пригодные доказательства «к/р деятельности» братьев Кусиковых и пристегнуть к ним Есенина?

А пока параллельно с «выяснениями» с арестованных снимали личные показания.

АРЕСТАНТСКАЯ КАРТОЧКА № 13699

Фамилия: Есенин Сергей Александрович.
Возраст: 25 лет.
Образовательный ценз: высший.
Профессия: поэт советских изданий.
Заработок: неопределенный.
Партийность: имажинист.
Последний адрес: Большой Афанасьевский, дом 3, квартира 5.
Откуда родом: Рязанской губернии, из Кузнецкой волости, село Константиново.
За каким отделом числится: КР.
Арестован: 19 октября 1920 года.

Фамилия: Кусиков Александр Борисович.
Возраст: 24 года.
Образовательный ценз: высший.
Профессия: поэт во Всероссийском союзе поэтов.
Заработок: неопределенный.
Беспартийный.
Последний адрес: Большой Афанасьевский, дом 3, квартира 5.
Откуда родом: с Кавказа.

Фамилия: Кусиков Рубен Борисович.
Возраст: 18 лет.
Образовательный ценз: средний.
Профессия: помощник иностранной статистики секретариата КООП.
Беспартийный.
Последний адрес: Большой Афанасьевский, дом 3, квартира 5.
Откуда родом: Кубанская область.
За каким отделом числится: КР

ПРОТОКОЛ

допроса, произведенного в Московской Чрезвычайной Комиссии

обвиняемого Кусиков Александр Борисович, 24 года. Черкес. Кубанской области, город Армавир.
Место жительства: Арбат, Афанасьевский, 3. квартира 5.
Род занятий: поэт. Писал во многих газетах. В большой мере приходилось работать в газете.
Семейное положение: холост.
Отец, мать в городе Москве совместно со мной.
Имущества — нет.
Беспартийный.
Учился в Московском университете.
Политические убеждения: сторонник советской власти безусловно. До войны учился в городе Москве. До семнадцатого года. В восемнадцатом году был изгнан. До февральской революции — на военной службе в городе Армавире, в кавалерийском полку. До Октябрьской революции участвовал в формировании Первого советского полка в города Москве.
С Октябрьской революции: с 19-го года освобожден по болезни 61, 42 статья.

На вопрос, известно ли вам, в чем вы обвиняетесь, причина, послужившая вашему аресту, отвечаю: я полагаю, что мой арест связан с делом, которое я имел в комиссии Наркомпроса.

Какой характер дела, по которому вы обвиняетесь? Политическая, уголовная спекуляция.

Итак, отвечаю: был арестован в связи с разговорами моей сестры. Точно не помню. Приблизительно. Наедине... ночью 6.9 сего месяца и был арестован через несколько часов.

Данный арест мог быть только по доносу товарища Бакалейникова, музыканта, который проживает: Большой Афанасьевский, дом 3, квартира 7. По поводу своего ареста могу дополнить то, что я совершенно непричастен к какой бы то ни было контрреволюции, ибо я принимаю самое активное участие в деле пропаганды с эстрады, выступаю очень часто. Даже и сегодня должен был выступать в союзе со своими стихами.

На вопрос, кто может подтвердить вашу лояльность к советской власти,— от-

вечаю: товарищ Бикешкин, руководитель персидских военных войск, товарищ Потоловский из ВЧК и товарищ Брюсов, председатель ВСП. Товарищу Луначарскому я также небезызвестен.

На вопрос, что можете сказать,— отвечаю, что для меня арест неожиданность. Для меня совершенно не ясно, в чем могут подозревать, так как я никакой оппозиции к проводимым политикам советской власти не имею. Больше показать ничего не могу.

19 октября 20-го года.

ПРОТОКОЛ

В качестве обвиняемого следующий: Есенин Сергей Александрович. 25 лет. Крестьянин Рязанской губернии, Афанасьевский 3, Москва, литератор. Участвую в «Известиях Советов рабочих и красноармейских депутатов», нерегулярно, периодически. Холост. Две сестры. Мать, отец и дедушка проживают на родине в Рязанской губернии.
Имущественное положение: среднее крестьянское.
Беспартийный.
Высшее образование. Университет в Москве, филолог.
Сочувствовал советской власти.
До 14-го года учился в городе Москве.
До Февральской революции был призван на военную службу в 15-м году, с 29 августа 16-го года по февраль революции. До Октябрьской революции работал в городе Петрограде по поэтической деятельности. С Октябрьской революции до ареста прикомандирован к Наркомпросу и Союзу советских писателей.
Отбывал четыре месяца в дисциплинарном батальоне с 16-го года.
На вопрос, известна ли вам причина вашего ареста,— отвечаю: нет.
На вопрос, известно ли вам, в чем обвиняется ваш коллега Кусиков, — отвечаю: нет, но имею предположение, что арест послужил в связи с доносом гражданина Бакалейникова, режиссера Большого театра, по личной ненависти к нам, так как мы имели с ним личные счеты.
На вопрос, с какого времени знаком с гражданином Кусиковым, — отвечаю: я знаю Кусикова с 1917 года. Знаком с ним только по деятельности литературной. Политические убеждения моего товарища вполне лояльны к советской власти. Сочувствие моего товарища выражалось в тех произведениях, которые принадлежат ему. Например, в сборнике «Красный офицер» и книга под названием «В никуда». У меня также имеется ряд произведений в революционном духе. Я был одним из первых, писавших о современном быте. На вопрос, кто может подтвердить о вашей лояльности и благонадежности, — товарищ Ангарский и товарищ Луначарский, целый ряд других общественных деятелей.
На вопрос, как вы смотрите на современную политику советской власти, — отвечаю: я ко всему проводимому, к принципам советской власти вполне лоялен в переходный момент этой эпохи, которая насаждает социализм. Каковы бы проявления советской власти ни были, я считаю, что факт этих проявлений всегда необходим для той большой цели, которую несет в коммуну.

Всякое лавирование советской власти оправдываю как средство для улучшения военного и гражданского быта советской России.

На вопрос, что для вас кажется лавированием в действиях советской власти — то есть те действия советской власти в области военной политики я считаю безусловно лавированием. Не заключение мира с Польшей я смотрю как на необходимое явление в данный момент, в момент именно исторический в экономической жизни страны.

На вопрос, кто может вас взять на поруки, — отвечаю: может безусловно [слово неразборчиво— С. В.], окромя вышесказанных, товарищ Устинов, сотрудник «Красной газеты», из других больше никого показать не могу.

Есенин С.

Показания Есенина любопытны во многих отношениях. Он изъясняется на языке человека, совершенно как бы не понимающего, что происходит и о чем вообще идет речь. При этом он как бы дает понять допрашивающим его, что с него взятки гладки, что ничем они взять его не могут (хотя сам прекрасно понимает, что может не выйти из етого заведения вообще), и не упускает случая отпустить парочку колкостей в адрес властей и их политики.

Ирония слышна во многих репликах. Чего стоит одно «сочувствие» Кусикова советской власти, выразившееся в сборнике под названием «В никуда». Не говоря уже о «переходном моменте эпохи, которая насаждает социализм» и о «всяком лавировании советской власти», в частности «в военной политике»... Такое впечатление, что с чекистами, ищущими аргументов для обвинения в контрреволюционной деятельности, разговаривает человек, которому в высшей степени нет никакого дела до того, что происходит вокруг. Хотите поговорить? Пожалуйста! Вам объяснить что-нибудь? Ради Бога! Сочувствую? А отчего бы и нет? Отвязались бы, господа хорошие! Не до вас!

Кого назвал Есенин из могущих поручиться за него, кроме Устинова? Скорее всего, Блюмкина и Колобова. Расчет был простым: сразу дать понять чекистам, что у него, поэта, о-о-очень высокие покровители, в частности, в недрах самой ВЧК, и что они могут за него заступиться.

Через день с Есенина снимали показания о его последней поездке на Кавказ. В заполненной поэтом второй анкете «сочувствие советской власти» в прошедшем времени превратилось в «сочувствие коммунизму» в настоящем, а срок дисциплинарного батальона увеличился с четырех месяцев до одного года. А какая, в сущности, разница, если надо выбираться из этого «благословенного» заведения как можно скорее!

Фамилия: Есенин Сергей Александрович.
Возраст — 25 лет.
Происхождение — крестьянин Рязанской губернии, село Константиново.
Род занятий: литератор.
Холост.
Общественное положение — беспартийный.
Политические убеждения — сочувствую коммунизму.
Образование — высшее, историко-философский факультет, университет Шанявского.
За оскорбление иконы был приговорен на один год дисциплинарного батальона в 1916 году.
Показания по существу дела.
Я состоял секретарем товарища Колобова, уполномоченного МКПС.
8 июля мы выехали с ним на Кавказ. Были также в Тифлисе по поводу возвращения вагонов и паровозов, оставшихся в Грузии. В Москву я приехал с докладом товарищу Громану. К Кусиковым зашел как к своим старым знакомым и ночевал там, где и был арестован.

С. Есенин.

По истечении недели отсидки друзей-поэтов в ЧК 25 октября Я. Блюмкин, давний знакомый Есенина по «Стойлу Пегаса», собутыльник, а также своего рода «личный охранник», одновременно «пасущий» поэтов, в частности двух друзей — Сергея Есенина и Анатолия Мариенгофа, — написал «поручительство за гражданина Есенина», после которого Есенин был в тот же день выпущен на свободу.

Подписка о поручительстве за гражданина Есенина Сергея Александровича, обвиняемого в контрреволюции по делу граждан Кусиковых:
1920 года, октября месяца, 25-го дня я, нижеподписавшийся, Блюмкин Яков Григорьевич, проживающий — гостиница «Савой», № 136, беру на поруки гражданина Есенина под личную ответственность, ручаюсь в том, что он от суда и следствия не скроется и явится по первому требованию следственных и судебных властей.
Подпись поручителя: Я. Блюмкин.
25 октября 1920 года.
Москва. Партийный билет ЦК иранской коммунистической партии.

В ПРЕЗИДИУМ МЧК

По делу Есенина Сергея Александровича. Содержится в комендатуре ВЧК, обвиняемый в контрреволюции. Произведенным допросом выяснилось, что гражданин Есенин последние три месяца в Москве не находился, а был командирован МКПС в Кавказ и Тифлис. Прибыл в Москву с докладом и был арестован на квартире у граждан Кусиковых. Допросом причастность Есенина к делу Кусиковых недостаточно установлена, и посему полагаю гражданина Есенина Сергея Александровича из-под ареста освободить под поручительство товарища Блюмкина.

Подпись поручителя: Я. Блюмкин.
Уполномоченный СО ВЧК
25 октября 20 года.

По неизвестным причинам на Александра Кусикова и его брата подобного поручительства своевременно не поступило.

Братья продолжали сидеть. Разбирательство длилось, выматывая нервы подозреваемых. В конце концов, когда Есенин был уже на свободе, Кусиков пишет следующее заявление (карандашом на клочке клетчатой бумаги).

Следователю, комната 57, от Александра Кусикова, камера № 5.
Следователь, кажется, слишком ясно Вам мое пребывание под арестом. Неужели и теперь не очевидно, что месяц, выкинутый из моей жизни, является случайной неосторожностью. Я форменным образом изнемогаю. Я прошу Вас освободить меня, если Вы, конечно, уверены в моей непричастности к кому бы то ни было. А если в чем-нибудь виноват, то предъявите мне обвинение — я вознагражу себя по заслугам. Готовый к услугам А. Кусиков.

Дальнейшая судьба Александра Кусикова подтверждает то, что он действительно оказался «готов к услугам», в том числе и к услугам весьма деликатного свойства, в частности, во время пребывания за границей, куда он уехал (и уже навсегда) в 1922 году. Но это все впереди. А пока что с него снимают новые протоколы допросов в поисках компрометирующего материала.

Кусиков был допрошен еще трижды — 23 октября, 13 ноября и 16 ноября. Новой информации практически не было. Самоаттестация оставалась неизменной: «большевик», «большевик, но не партийный исключительно ввиду поэтического настроения и особенно понимания дисциплины». В это же время непрестанно идет обмен телефонограммами. Следует запрос из МЧК в Кубгубчека (Екатериноград) — требуют срочно допросить знакомых Кусикова — «служил ли у белых», «был ли ранен в боях»... Телефонограммы из МЧК идут за подписью уполномоченного совчека Штейнгарта. Кусиков пишет новую слезную записку «Стрейгарту» с просьбой допросить его еще раз, чтобы убедиться в его невинновности: «Будьте добры, вызовите меня, пожалуйста, форменным образом изнемогаю».

5 ноября Анатолий Луначарский пишет поручительство за своей подписью и направляет его в ВЧК.

В ВЧК. Ксенофонтову.
В ночь с 18 на 19 октября по ордеру был арестован С. Есенин, Александр и Рубен Кусиковы по обвинению в контрреволюции. Меня уверяют вполне надежные люди, что арест вызван ложным доносом: как бы то ни было, за поручительством некоторых коммунистов, Есенин в настоящее время освобожден, между тем как оба Кусикова продолжают сидеть. Насколько я знаю Кусиковых, они совершенно преданы чисто литературной работе и вряд ли могут участвовать прямо или косвенно в какой-нибудь мере. М. б. обратите на это дело особое внимание и поспешите с выяснением.

Нарком просвещения А. Луначарский.

Более чем вероятно, что одним из этих «вполне надежных людей», беседовавших с Луначарским, был Сергей Есенин. Поэт был не из тех, кто бросает в беде своих друзей. Он принялся вытаскивать «Сандро» всеми доступными ему способами, естественно, не зная, как расплатится с ним его друг в Берлине.

На письме Луначарского 10 ноября Штейнгарт поставил резолюцию: «Ускорить следствие». Следом пришла телеграмма от замнаркома ВЧК Аванесова с вопросом: в чем причина ареста Кусикова? На этой телеграмме 15 ноября Штейнгарт наложил новую резолюцию: «Сообщить тов. Аванесову, что Ал. Кусиков обвиняется в укрывательстве белогвардейцев». В тот же день Аванесов снова срочно запросил передать краткое содержание дела по обвинению Александра Кусикова.

Какие-либо доказательства контрреволюционной деятельности Сергея Есенина, Александра и Рубена Кусиковых у чекистов отсутствовали напрочь. Но бюрократия карательного ведомства работала на полную мощь. Было исписано множество бумаг с целью найти хоть какую-то зацепку. Факт службы 18-летнего Рубена Кусикова в «дикой дивизии» так и не подтвердился. Последней страницей в этом «деле» стало поручительство все того же Я. Блюмкина.

В секретно-оперативный отдел ВЧК.

Я, нижеподписавшийся слушатель Академии Генштаба Красной Армии Яков Григорьевич Блюмкин, настоящим ручаюсь под условием личной ответственности, что арестованный гр. Рубен Борисович Кусиков будет являться в ВЧК по первому требованию, будет находиться в Москве под контролем семьи и моим.

Яков Григорьевич Блюмкин. 20.11.1920.
Москва. Рождественка, «Савой», № 136.

Письмо это пришло через 3 дня после того, как 17 ноября состоялось заседание президиума ВЧК. Слушалось дело Александра Кусикова, выделенное в отдельное производство за № 7228. После ознакомления с докладом Штейнгарта и зачитывания записки от уполномоченного ВЧК, гласившей, что доказать виновность Кусикова А. Б. «в укрывательстве белогвардейцев не удалось», постановили: обвиняемого освободить, дело следствием прекратить.

Последнее разбирательство по делу состоялось 19 февраля 1921 года, после чего было постановлено дело сдать в архив.

* * *

Это малоприятное событие в жизни Есенина отразилось в его письме к Иванову-Разумнику от 4 декабря 1920 года.

«Дорогой Разумник Васильевич!

Простите, ради Бога за то, что не смог Вам ответить на Ваше письмо и открытку. Так все неожиданно и глупо вышло.

Я уже собирался к 25 окт. выехать, и вдруг пришлось вместо Петербурга очутиться в тюрьме ВЧК.

Это меня как-то огорошило, оскорбило, и мне долго пришлось выветриваться».

Зная о том, что означало в 20-е годы угодить в тюрьму ВЧК, можно подумать, что Есенин легко отделался. Но отделался ли?

Это было далеко не последнее его свидание с «кутузкой». Впереди еще несколько арестов, допросов, обысков. Кончалось все сравнительно благополучно, но в первую очередь потому, что и в ВЧК, и в партаппарате у поэта находились покровители, которые не давали его «сожрать». Это балансирование на лезвии ножа не могло долго продолжаться. Есенин постоянно ощущал контроль над собой со стороны «архангелов», чувствовал, что в один прекрасный день он может «загреметь» всерьез, подобно многим своим друзьям. Он хорошо понимал, какой опасностью чревато это «внимание» к нему новых «хозяев жизни».

Летом 1924 года в Константинове он пишет «Поэму о 36» — поэму о героях 1905 года. У него была возможность поразмыслить как о своей судьбе, так и о судьбе близких друзей — членов партии социал-революционеров, прошедших царскую ссылку и пошедших в ссылку советскую.

«Ссыльный солдату не брат. Сам подневолен солдат. Если не взял на прицел — завтра его под расстрел. Но ты не иди назад».

Это реалии кошмарной современности. Из царской ссылки бегали практически без последствий. Побег из советской ссылки почти всегда был чреват пулей в спину.

Думая о своих друзьях, Есенин не мог не задуматься и о своем будущем. «От сумы да от тюрьмы...» Слишком хорошо представлял он себе возможный исход и когда пел свою любимую песню уральских каторжников «Паша, ангел непорочный, не ропщи на жребий свой», и когда писал строки поэмы, вдохновленные этой песней.

Поезд на всех парах. В каждом неясный страх. Видно, надев браслет, гонят на много лет золото рыть в горах.

В последние годы жизни, как вспоминают современники, Есенин любил напевать песню антоновских повстанцев, в которой есть такие слова:

На заре каркнет ворона.
Коммунист, взводи курок!
В час последний похоронят,
Упокошат под шумок...

А когда запевали старую разбойничью песню, поэт громче всех с особым чувством исполнял последний куплет:

Там, где солнышко не всходит,
Где сияет лишь заря,
Суждено мне жизнь окончить
По приказанию царя.

Публикация, подготовка текста
и комментарии С. ВОЛКОВА.

ВАДИМ КОЖИНОВ

ИСТОРИЯ РУСИ И РУССКОГО СЛОВА

2. РУССКИЙ ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС

Одна из задач этой части книги — показать, что именно в IX — X веках сложился р у с с к и й э п о с — героические былины. В современных обобщающих работах о них, в сущности, господствует иное представление: начало сложения былин датируют чаще всего XI, в крайнем случае самым концом X века, а в значительной степени и более поздними временами — XII — XIV или даже XV — XVI столетиями. Вот выражающие наиболее распространенное мнение энциклопедические датировки: былины «отразили историческую действительность главным образом 11—16 вв.» (БСЭ, т. 4. М., 1971, с. 181), «былины сложены главным образом в 11—16 вв.» (Советский энциклопедический словарь. М., 1983, с. 184) и т. п.

Нет сомнения, что эпос, веками существовавший в русле устной традиции, вбирал в себя те или иные — в том числе, возможно, крупные и значимые — элементы и в XI—XVI веках, и даже позднее, вплоть до новейшего времени; это совершенно ясно видно в различных деталях дошедших до нас былинных записей XVII — XX веков. Однако героический эпос как ж а н р, как определенный феномен культуры сложился на Руси все же, как я буду стремиться с помощью многообразных аргументов доказать, к XI веку, и позднее он представал уже как явление п р о ш е д ш и х в р е м е н, как «наследие», а не как активно развивающийся компонент современной культуры. В сфере словесно-музыкального творчества с середины XI века господствовали уже не богатырские былины, а существенно иные явления.

Это ясно видно, в частности, из характеристики творчества Бояна в созданном в конце XII века «Слове о полку Игореве», где, кстати сказать, и сам Боян, чья деятельность приходится на вторую половину XI века, назван «песнотворцем с т а р о г о времени». И автор «Слова», человек конца XII века, намерен создать свою, как он сам ее определил, повесть-песнь «не по замышлению Бояню» — то есть иным «способом», иным «методом».

Но ведь и «замышление» самого Бояна едва ли правильно сближать с былинным, ибо, согласно «Слову», «песни» Бояна — это песни «старому Ярославу, храброму Мстиславу, иже зареза Редедю пред полки касожскими, красному Романови Святославличу», то есть песни, главные герои которых — знаменитые русские князья XI века, а отнюдь не некие (по крайней мере, «некие» для нас) богатыри, только немногих из коих со всякими натяжками пытаются отождествить с историческими лицами; притом главный из былинных героев — Илья Муро-

---

Продолжение. Начало в №№ 6, 7 за 1992 год.

мец — вообще не имеет реальных прототипов (если не считать чисто гипотетических соотнесений Ильи с князем или воеводой рубежа IX—X веков Олегом).

Естественно рождается представление, что до «Слова о полку Игореве» протекли по меньшей мере два существенно разных периода «песнотворчества» — эпоха доярославовых былин, где действуют герои, не принадлежащие к кругу исторических лиц (кроме объединяющей фигуры князя Владимира), и время уже вполне «исторических», а кроме того, явно не лишенных лиризма песен Бояна, родившегося, по-видимому, при Ярославе. И второй период песнотворчества в XI веке сменяет, оттесняет, заслоняет первый, то есть собственно эпический.

Этот вывод может быть истолкован как не соответствующий самой сути раннего развития культуры. Ведь широко распространено представление (хотя оно не только не доказано, но даже никогда по-настоящему не анализировалось), что на ранних стадиях в культуре безусловно господствует традиция, устойчивый обычай, канон. И это вроде бы верно. Так, например, очень характерно требование, записанное в XVI веке, но надо думать, действовавшее значительно раньше: «Писати живописцем иконы с древних образов... как писал Ондрей Рублев... а от своего замышления ни что ж претворят»[23].

Итак, любое «свое» — то есть, в частности, новое — «замышление» безоговорочно отвергается. Однако речь идет в этом тексте не вообще о культуре, а о культуре церковной, вернее, о культе, воплощенном в иконе. А собственно «литературное» «Слово о полку Игореве», напротив, в самом своем зачине объявляет о себе, что оно будет создаваться по иному «замышлению», чем у великого песнотворца предшествующей эпохи. Из этого естественно сделать вывод, что и былинный эпос, созданный в определенный период, позднее уже не создавался, а только в той или иной мере изменялся и «дополнялся».

Разумеется, это пока только постановка проблемы, которая нуждается в многостороннем изучении и обосновании. Сейчас важно отметить одно: едва ли верно, несмотря на свою распространенность, представление, согласно которому культура, и в том числе словесность, на ранних стадиях своей истории развивается-де крайне медленно (в сравнении с позднейшими этапами ее истории), ибо заведомо подчинена строгим и незыблемым канонам. Сопоставление «песнотворчества» конца XI века и «повести-песни» конца XII века, данное в «Слове о полку Игореве», ясно свидетельствует, что существенное развитие и преобразование совершалось и в те времена — и достаточно быстро.

Уяснение того факта, что художественной эпохе, породившей «Слово о полку Игореве», предшествовали по меньшей мере две иных эпохи словесного творчества — «Боянова» и, еще ранее, «былинная» — это, повторяю, только приступ к проблеме.

Важно оговорить, что нас не должен сбить с толку сам этот давно уже общепринятый термин «былина». Как известно, в том кругу людей, в котором сохранились до XIX—XX веков былины, они обычно назывались не «былинами», а «стáринами», то есть порождениями давно ушедших времен. И сам фольклористский термин «былина», по всей вероятности, заимствован из зачина «Слова о полку Игореве» («начати же ся той песни по былинам сего времени»), где он означает повествование не о древнем, а о действительно совершившемся («быль»). Правда, некоторые исследователи настаивали на собственно народном происхождении жанрового названия «былина»[24], но их доводы недостаточно убедительны.

И уже никак невозможно согласиться с мнением фольклориста А. И. Никифорова, которое четко выразилось в самом названии его часто упоминаемой работы: «Слово о полку Игореве» — былина XII века» (Л., 1941). Совершенно ясно, что «Слово» по своей художественной природе коренным образом отличается от былинного эпоса, от «старин».

Вот хотя бы одно, но, как представляется, весьма показательное отличие.

[23] Забелин И. Е. Материалы для истории русской иконописи. — «Временник Императорского Московского общества истории и древностей Российских». 1850, кн. 7-я, с. 4.

[24] См. об этом: Астахова А. М. Вопрос о термине «былина». — В ее книге: Былины. Итоги и проблемы изучения. — М.-Л., 1966, с. 21—27.

В былине о Волхе Всеславьевиче, которая дошла до нас, в частности, в записи середины XVIII века, «оборотничество» героя изображено, несомненно, как вполне реальное явление:

Он обвéрнется ясным соколом,
Полетел он далече на синé море,
А бьет он гусей, белых лéбедей...
. . . .
Он обвернется ясным соколом,
Полетел он но царству Индейскому.
И будет он во царстве Индейском,
И сел он на полаты белокаменны,
На те не полаты царские,
Ко тому царю Индейскому,
И на то окошечко косящетое...
. . . .
Сидючи на окошке косящетом,
Он те-та да речи повыслушал,
Он обвернулся горносталем,
Бегал по подвалам, по погребам,
По тем по высоким теремам,
У тугих луков тетивки накусывал,
У каленых стрел железцы повынимал...

А вот князь Игорь в «Слове» бежит из плена: «Игорь князь поскочи горностаем к тростию, и белым гоголем на воду, возвержеся на борз комонь, и скочи с него босым волком, и потече к лугу Донца, и полете соколом под мглами, избивая гуси и лебеди...»

Внешнее различие — в отсутствии во втором тексте слова «обвернулся», благодаря чему творительный падеж (горностаем, гоголем, волком, соколом) предстает, по сути дела, в сравнительном значении («поскакал, как горностай...»). Вполне естественно будет заключить, что изображение тайного и по-своему чудесного избавления Игоря от плена опиралось на давнюю традицию воссоздания в слове подобных событий — возможно, даже еще и былинную. Но вместе с тем нет сомнения, что ни создатель «Слова», ни те, кто его воспринимал, уже никоим образом не подразумевали действительного «оборотничества» князя Игоря.

И, следовательно, то, что было в свое время воссозданием являвшейся объектом веры мифологической реальности, стало в «Слове о полку Игореве» только определенным видом, формой художественности. Но это значит, что в период между созданием былинного эпоса и «Слова» совершился коренной, кардинальный переворот в сфере творчества: элементы мифа, бывшие когда-то содержанием поэзии, превратились, по сути дела, в ее форму (в широком смысле — включая так называемую «внутреннюю форму», форму содержательную). Это в самом деле глубочайшее преобразование, свидетельствующее, что былины создавались на принципиально иной стадии истории словесного искусства, словесного творчества, нежели повествование конца XII века об Игоре.

Правда, здесь возможно одно готовое возражение, исходящее из того, что былины-де и творились, и существовали в совсем иной — в социальном и культурном отношении — человеческой среде, нежели «Слово о полку Игореве»; творец последнего принадлежал к наиболее просвещенным верхам древнерусского общества, а былины, мол, создавались и воспринимались в «простонародной», прежде всего крестьянской, среде, с ее архаическим сознанием, чем и объясняется, в частности, мифотворческое содержание былинного эпоса.

Однако такое возражение неизбежно подразумевает согласие с тем вульгарно-социологическим толкованием (ставшим господствующим в 1930-х годах, но складывавшимся и ранее), которое объявило былины продуктом творчества трудового и «угнетаемого» класса, противостоящего правящим «феодальным классам»[25]. Этот подход к делу, продиктованный чисто идеологическими соображениями, а во многом и прямым диктатом властвующей идеологии, едва ли имеет серьезную

[25] См. характеристику этого толкования в уже упомянутой обобщающей книге: Астахова А. М. Былины. Итоги и проблемы изучения. — М.-Л., 1966, с. 50—61.

обоснованность (хотя он достаточно широко распространен еще и в наше время). Так, былины при этом подходе волей-неволей оказываются, с социальной точки зрения, резко противопоставленными собственно литературным явлениям Древней Руси (в частности, тому же «Слову о полку Игореве»), о которых доподлинно известно, что они были созданы людьми, принадлежащими так или иначе к общественным «верхам» того времени.

Но есть здесь и прямая фактическая неурядица, выражающаяся, например, в том, что в былинах, сложившихся будто бы в крестьянской среде, очень точно и полно воссоздан воинский быт, в частности, боевое оружие и снаряжение. Это убедительно доказано, например, в опирающейся на итоги углубленного археологического изучения древнерусского воинского быта работе этнографов Р. С. Липец и М. Г. Рабиновича «К вопросу о времени сложения былин (Вооружение богатырей)» [26]. Эти авторитетные исследователи продемонстрировали, что в былинах содержится вполне точное (и, между прочим, «любовное») изображение всего комплекса древнерусского оружия и снаряжения, а также соблюдена полная верность всей воинской терминологии. И едва ли можно спорить с тем, что эта истинность и скрупулезность в воссоздании воинского быта свидетельствует о сложении былинного эпоса — как и «Слова о полку Игореве» — в дружинной, а вовсе не крестьянской среде, где не могло быть такого детального и «интимного» знания всех реалий вооружения. Правда, дело идет о дружинной среде на совершенно разных исторических этапах — X и конец XII века.

Да и главная цель упомянутой работы, как ясно уже из ее названия («К вопросу о времени сложения былин»), заключалась в установлении на основе анализа вооружения былинных героев исторического периода формирования русского эпоса.

«Во многих былинах,— отмечают Р. С. Липец и М. Г. Рабинович,— подробно описано, как именно вооружены богатыри князя Владимира (далее перечисляются все части вооружения со ссылками на былинные тексты.— В. К.)... такой же комплект оружия упомянут и в повествовании летописи о том, как в 968 году киевский воевода Притич поменялся оружием с печенежским князем... а былинах описываются именно те брони, какие были в употреблении в X в.— кольчатые и дощатые. Ни разу не встречено упоминания о более сложных видах брони, вошедших в употребление позже...

Мы не останавливаемся в данной статье на обрядах погребения дружинников, что также отражено в былинах...— пишут Р. С. Липец и М. Г. Рабинович.— Отметим лишь, что погребение богатыря Михаила Потыка в полном вооружении, с конем в сбруе, под насыпным курганом,— т. е. по обряду, сохранившемуся в Древней Руси не позднее X—XI вв.,— является лишним доказательством...» (указ. изд., с. 32, 33, 41); реалия эта доказывает как то, что былины складывались в воинской, дружинной среде (едва ли крестьяне могли столь точно знать обряд воинских похорон), так и то, что их формирование относится ко времени не позднее XI века.

Один из авторов цитируемой работы в своей позднейшей монографии «Эпос и Древняя Русь», посвященной тщательному исследованию характерной былинной «темы» — знаменитых пиров князя Владимира Святославича — доказывает, что «к концу X в. уже существовала богатая эпическая традиция, что и при отце Владимира — Святославе (как это видно из летописных сказаний о нем), и еще при Игоре и Олеге, а возможно и в IX в., эпические сказания и песни уже заняли свое место в культурной жизни Руси. В том же виде, как былины дошли до нас, они выкристаллизовались в «эпоху Владимира»... Это заставляет предполагать, что былины начали формироваться несколько раньше, когда в IX—X вв. шло образование государственности, с которой эпос в классической форме неразрывно связан... Русский героический эпос,— оговаривает Р. С. Липец,— создавался, конечно, на основе тысячелетнего развития устного народного творчества, черпая оттуда и сюжеты в их общей форме, и художественные образы и приемы, но как жанр он смог сформироваться только к концу I тысячелетия н. э. ... Основная методологическая опасность при изучении былин заключается как раз в подмене анализа их как жанра анализом архаических прасюжетов, использованных и модернизированных эпосом... и традиционных элементов поэтики» [27].

[26] «Советская этнография», 1960, № 4, с. 30—43.

Итак, исследовательница предостерегает и от «удревнения» русского эпоса, растворения его в доисторических прообразах (что присуще различным вариантам «мифологической школы» в изучении эпоса), и от необоснованного отнесения его к зрелой исторической эпохе, к периоду после времени Владимира или даже после времени Ярослава. Обе эти тенденции, увы, характерны для многих современных работ о былинах.

Вторая тенденция, свойственная разным проявлениям «исторической школы», выражается нередко в не выдерживающих, как говорится, критики поверхностных сопоставлениях реалий былинного эпоса (события или даже отдельные детали событий, разного рода названия и имена и т. п.) с аналогичными или просто «похожими» реалиями летописей. Разумеется, те или иные переклички былин и наиболее ранних летописных сведений отнюдь не исключены. Но подобные сопоставления, превращенные в чуть ли не главный «метод» исследования, напоминают, прошу прощения за резкость, известный анекдот о человеке, обронившем ночью деньги на темной части улицы, но ищущем их под фонарем, поскольку, мол, здесь светлее... Летопись выступает в большинстве таких «изучений» именно в качестве своего рода «фонаря». При этом «подходящие» летописные сведения берутся из самых разных хронологических периодов — от XI до XVI или даже XVII века, а затем уже на их основе «датируется» возникновение былин.

Как уже говорилось, существование русского эпоса в устной традиции могло приводить и даже неизбежно приводило к тому, что в былинные тексты внедрялись самые разные элементы самых различных эпох — вплоть до XX века. Р. С. Липец и М. Г. Рабинович в цитированной выше работе пишут: «Проникает в былины изредка и огнестрельное оружие... но это явно поздняя словарная замена. Лук упоминается вместе с ружьями... Традиционная стрела, упомянутая в тексте, в следующем стихе заменяется привычной для сказителя пулей... Однако,— подводят очень важный итог исследователи,— самое искажение, забвение не только названий, но и функций отдельных предметов оружия и доспехов в былинах говорит о древности вхождения в эпос этого комплекса вооружения» (указ. изд., с. 39, 40; разрядка моя.— В. К.).

Последнее соображение весьма и весьма существенно: внедрение в былины «несуразных» поздних или даже очень поздних реалий не только не подрывает представления о глубокой древности их возникновения, но, напротив, подкрепляет его. Раз сказители повествуют о вещах (а также, конечно, и событиях, лицах и т. п.), истинная цель которых давным-давно и полностью забыта, значит, исполняемое ими произведение действительно создано в древние времена.

В общем и целом представление о том, что былины сложились в своей основе еще до Ярославовой эпохи, то есть не позднее начала XI века, уже сравнительно давно утверждено во всех действительно основательных работах, затрагивающих эту проблему. Так, Д. С. Лихачев еще сорок лет назад убежденно писал, что даже «в современных нам записях былин мы находим такие элементы, которые могли сложиться только в X—XI вв.» [28]. Этим недвусмысленно сказано, что произведения, которые мы называем былинами, несмотря на все возможные позднейшие изменения и «добавления», сложились именно в столь древнее время. Правда, в той же самой книге Д. С. Лихачева выступает и своего рода «компромиссный» тезис: речь идет о своеобразном «эпическом времени», воплощенном в былинах, и о том, что любая былина стремилась воссоздать это «время».

«Когда бы они (былины.— В. К.) ни слагались, они переносят действие в Киев ко двору князя Владимира» (с. 53). Из этого положения легко сделать вывод, что те или иные «киевские» былины создавались в разные времена (скажем, в XII—XIII, XIV—XV или даже XVI—XVII веках), однако их творцы каждый раз стремились воссоздать в них именно Владимиров мир. Но характерно, что буквально на предыдущей странице Д. С. Лихачев, в сущности, сам себя опровергает, справедливо замечая: «Социальный уклад раннефеодального государства X—XI вв. не мог быть восстановлен сказителями XVII—XX вв.» (с. 52). И если учесть, что,

[27] Липец Р. С. Эпос и Древняя Русь — М., 1969, с. 9—10, 12. (Разрядка моя.— В. К.)

[28] Лихачев Д. С. Возникновение русской литературы. — М.-Л., 1952, с. 48.

как доказано в цитированных только что работах этнографов, уклад этот воссоздан в былинах достаточно полно и верно, нельзя не согласиться, что сказители XVII и позднейших веков никак не могли его «восстановить»: ведь для этого была необходима сложнейшая исследовательская работа археологов, историков, этнографов и т. п. Д. С. Лихачев говорит о сказителях XVII—XX веков, поскольку более ранними записями мы не располагаем. Но невозможно спорить с тем, что и в более ранние времена — а XIII—XVI, да и уже в XII веке — сказители не могли «восстановить» уклад X века. То, что в неизвестных нам, но, без сомнения, продолжавших передаваться в тогдашнем времени текстах сказителей соответствовало этому древнему укладу, было, без сомнения, не «восстановлено», а просто сохранено в восходивших ко времени не позже начала XI века текстах.

Словом, тезис о том, что создававшиеся в позднейшие времена былины «переносили» действие во Владимиров Киев, продиктован, надо думать, стремлением как-то примирить концепцию древнейшего происхождения былин с достаточно широко распространенным мнением, согласно которому былины будто бы создавались и в значительно более поздние времена.

Один из авторитетных современных исследователей богатырского эпоса Б. Н. Путилов убедительно писал еще два десятилетия назад: «Давно установлено, что северные сказители не внесли ничего нового в состав русского эпоса... Севернорусский фольклор имел в своем составе жанры, продолжавшие продуктивно развиваться (например, причитания, предания, исторические песни), и жанры, в основном закончившие продуктивное развитие... К этим последним принадлежали и былины... Под давлением фактов начинает разрушаться стена между древнерусской («первоначальной») и севернорусской былиной... Мы приближаемся... к усвоению той, не новой, в сущности, истины, что и по своему содержанию, и по жанровой структуре, и по характеру историзма севернорусская былина не является чем-то принципиально, качественно новым, иным, и что древнерусская былина в своем возникновении и развитии оставалась *былиной*»[29].

Вместе с тем нельзя не упомянуть здесь, что Б. Н. Путилов принадлежит к той школе исследователей русского эпоса (ее родоначальником был видный филолог А. П. Скафтымов[30]), которая решительно противопоставила себя *исторической* школе. Новую школу уместно назвать *эстетической*, или, что будет точнее, ориентирующейся на *художественность*, искусство. Она, в сущности, отвела на самый задний план проблему конкретных исторических корней эпоса.

Б. Н. Путилов пишет: «Ни одно имя былинного богатыря не возводимо к реально-историческому имени. Попытки идентифицировать богатырей с летописными персонажами на основании совпадения или близости имен оказались несостоятельными. И вопрос этот в серьезном научном плане может считаться исчерпанным»[31].

Сказано это с излишней полемической заостренностью (ведь едва ли следует, например, сомневаться в том, что былинного князя Владимира вполне уместно «идентифицировать» с летописным князем Владимиром). Но в принципе Б. Н. Путилов прав: «попытки идентифицировать богатырей с летописными персонажами» в большинстве случаев в самом деле несостоятельны.

И все же встает вопрос: являются ли эти «попытки» *единственно возможным* путем изучения исторических корней героического эпоса? Отказавшись искать «реально-историческую» основу былин в летописях, Б. Н. Путилов без каких-либо оговорок утверждает, что «идеалы эпоса получали конкретное художественное выражение в *вымышленных* (разрядка моя.— В. К.) формах (вымышленные сюжеты, ситуации, герои)... эпос никаких отдельных исторических событий не отражает, и герои его ни к каким историческим прототипам не восходят»[32]. С этой точки зрения Б. Н. Путилов категорически противопоставляет жанр былины и позднейший жанр исторической песни, где ситуации и герои исходят из реальных событий и реальных лиц, являющихся, в частности, и персонажами *летописей* — таких, как посол хана Узбека Щелкан (Чолхан), боярин, шурин Ивана Грозного, Никита Романович или казачий атаман Ермак Тимофеевич. Кстати сказать, в исторических песнях немало всякого рода «вымыслов» (так, например, песенный Никита Романович казнит Малюту Скуратова, а Ермак является покорителем Казани и племянником Стеньки Разина), но все же у них есть вполне реальная историческая «основа».

Можно с полным правом констатировать, что в былинах, сложившихся намного раньше, чем исторические песни, или, вернее, в совсем иную эпоху истории — и, в частности, истории культуры,— воплотились принципиально иные способы создания художественного мира, и самый вымысел имеет в них совсем иную природу (к данной проблеме мы еще возвратимся). Но это еще вовсе не означает, что былины «не восходят» ни к каким конкретным событиям и лицам.

Как это ни парадоксально, Б. Н. Путилов, «отрицая» историческую школу изучения былин, оказался, в сущности, в полной зависимости от господствующего в ней метода «отыскивания» исторической основы былин почти исключительно в летописях. Раз, мол, в летописях нельзя найти прототипы эпоса — значит, его сюжеты и персонажи целиком вымышлены.

Однако время, которое породило былины, то есть период IX—X веков, отражено в составленных никак не ранее середины XI века (гипотезы о более раннем летописании очень шаткие) летописях и скудно, и обрывочно. Так, например, согласно полностью достоверным арабским источникам, Русь в 910-х и 940-х годах совершила весьма значительные дальние походы в Закавказье, но русские летописи не говорят об этом ни слова (хотя очень подробно рассказывают о столкновениях Киева в тех же 940-х годах с соседними древлянами). Вдумчивый исследователь начальной эпохи взаимоотношений Руси и Востока, отмечая тот факт, что «Повесть временных лет» в сущности «ничего не знает» об этих взаимоотношениях, сделал следующий вывод: «Возможно, правы те исследователи, скажем, А. А. Шахматов, что усматривали в начальной русской летописи намеренное *замалчивание* общения Руси с Востоком. В том убеждают арабские хроники. Оказывается, русские отряды... сражались по всему Востоку... Сирия и Малая Азия содрогались от их поступи»[33].

Исходя из этого отнюдь не будет преувеличением утверждать, что события и лица, которые явились реальной исторической основой былинного эпоса, попросту *не нашли отражения в летописях*. Представим себе, что во времена, когда действовали упомянутые выше ханский посол Щелкан-Чолхан, боярин Никита Романович и Ермак, летопись не велась бы прямо и непосредственно (то есть в те же годы). В таком случае Б. Н. Путилов не имел бы возможности узнать что-либо о реальных прототипах этих героев исторических песен и, очевидно, счел бы их столь же вымышленными, как и героев былин...

Словом, мнение Б. Н. Путилова о том, что отсутствие летописных сведений об исторических событиях и лицах, воссозданных в былинах, означает вымышленность этих событий и лиц, по меньшей мере нелогично. Если эпос складывался в IX—X веках, всецело вероятно, что до нас не дошли сведения о воссозданных в нем событиях и лицах.

Впрочем, «датировка» рождения эпоса еще должна быть достаточно весомо аргументирована. Правда, вполне уместно и без доказательств, априорно заявить, что почти у каждого народа, создавшего и сохранившего эпос, он предстает как *первая*, наиболее ранняя (хотя и неоценимо существенная) стадия истории литературы, или, вернее, как говорили в прошлом и начале нынешнего века, *словесности*, искусства слова. Курсы истории основных литератур и Запада и Востока совершенно правомерно начинаются, открываются разделом о национальном эпосе. Однако при освещении истории русской литературы, русского искусства слова лишь в редких случаях эпос рассматривается как ее необходимый *исходный* этап.

По-видимому, это во многом обусловлено именно той «неопределенностью» в представлениях о времени рождения русского эпоса, о которой шла речь выше. В уже цитированной монографии Р. С. Липец «Эпос и Древняя Русь» совершенно справедливо сказано, что «без учета... конкретной исторической обстановки я бы-

[29] *Путилов Б. Н.* Севернорусская былина в ее отношении к древнерусскому эпосу.— В кн.: Фольклор и этнография Русского Севера. Л., 1973, с. 174, 180.

[30] См.: *Скафтымов А. П.* Поэтика и генезис былин. Очерки. — Москва—Саратов, 1924.

[31] *Путилов Б. Н.* Героический эпос и действительность. — Л., 1988, с. 115.

[32] *Путилов Б. Н.* Русский историко-песенный фольклор XIII—XVI веков. — М.-Л., 1960, с. 25.

[33] *Делеков Л. А.* Искусство Древней Руси и Восток. — М., 1978, с. 104.

лепах становится легко произвольно перебрасывать их то на тысячелетие назад, то в XVII в.»,— хотя тщательное исследование, проведенное, в частности, самой Р. С. Липец, доказывает, что русский героический епос сформировался как вполне определенный феномен «к концу 1 тысячелетия н. э.» (с. 12) — то есть во времена Владимира Святославича. Однако и сегодня те или иные — многочисленные — авторы «привязывают» былины и к воинскому соперничеству с половцами во второй половине XI — начале XIII веков, и к позднейшему Монгольскому нашествию, и к походам времени Ивана Грозного, и даже к Смутному времени и еще более поздним воинским событиям. В результате как бы и возникает основание не воспринимать эпос в качестве «первоначальной» стадии развития словесности, предшествующей литературе в узком, собственном смысле.

Но в дальнейшем еще будет развернут целый ряд доказательств древнейшего (до XI века) происхождения русского эпоса. Сейчас важно сказать о том, что верное понимание «исходного» значения эпоса для русской литературы особенно ясно выразилось у некоторых не отечественных, а зарубежных ее историков (в предисловии к этой книге уже заходила речь о том, что «сторонние наблюдатели» нередко правильнее оценивают явления русской культуры, нежели сами ее носители).

Виднейший германский русист Рейнгольд Траутманн (1883—1951) говорил еще в 1920-х годах в своем сочинении «Русский героический эпос»:

«Тот, кто попробует в качестве ли исследователя или любителя литературы проникнуть в духовную жизнь русского народа, будет ослеплен исключительным явлением русской литературы XIX века. В необычайном блеске лежит это море русской литературы перед нашими глазами». Однако, отмечал Р. Траутманн, «остаются сейчас в темноте причины и сама возможность такого замечательного проявления русского духа... Явление, которое вводит нас в глубь самой сущности русской народности и русского искусства,— это русская, великорусская героическая поэзия, цвет русского народного творчества»[34].

Далее Р. Траутманн ссылается на изученные им богатейшие собрания образцов героического эпоса—сборники Кирши Данилова, Рыбникова, Гильфердинга, Маркова, Григорьева и Ончукова, замечая, что «всюду заметен острый взгляд русского человека на вещи мира и на их сущность... Русский человек работает простыми приемами, и неизнеженное чувство требует крепких ударов языка... этой потребности мощных Betonen (акцентов.— В. К.) — многое из этого находит дальнейшее продолжение в повествовательной манере близкого к народу Льва Толстого...» (с. 37).

Наконец, Р. Траутманн говорит о нераздельном соединении беспредельной свободы и в то же время «безжалостной» необходимости в художественном мире былин, утверждая, что «из одинаковой природы с былиной вытекает бесформенность русских рассказов XIX века, которые тем более хаотичны, чем более русским является их творец»[35].

В этом соединении вроде бы несовместимых начал германский исследователь усматривает своеобразие «русского духа, постоянно вращавшегося между двумя полюсами... Таким образом, то, что дает русской поэзии вечную печать многозначительности, а именно острое напряжение наблюдения над безжалостной действительностью и стремление к освобождению от нее, — заключает Рейнгольд Траутманн, — это в зародыше уже было свойственно русскому былинному творчеству. Пройдя через богатую культурную насыщенность, это отречение от вещей сего мира дало свой последний цвет в великом жизненном подвиге Гоголя, Достоевского и Толстого» (с. 37, 38, 39).

Такое осознание глубокого единства и генетической связи древнего русского эпоса и романа XIX века — этого своего рода эквивалента эпоса в новое время — к великому сожалению, вовсе не характерно для отечественной филологии. И, как уже говорилось, утверждение и, далее, исследование былинного эпоса в качестве необходимого исходного этапа всей тысячелетней истории русской литературы, русского искусства слова встречается в отечественной филологии весьма редко, особенно в последнее время. Между тем поистине необходимо вслушаться хотя бы в этот сторонний, германский голос, устанавливающий органическую и чрезвычайно существенную связь между древним эпосом и усвоенной всем человечеством русской литературой XIX века.

Эта связь, несомненно, имела бы громадное значение даже и в том случае, если бы она была никак не выявлена и не осознана в XIX веке; ведь культурное творчество не проходит бесследно: сложнейшими и нередко трудно уследимыми путями оно неизбежно воздействует на позднейшее развитие культуры. Однако былинный эпос был воспринят русской культурой, и в том числе литературой, XIX века самым прямым и непосредственным образом. В 1804 и 1818 годах вышли издания записанного еще в середине XVIII века для одного из представителей славного купеческого рода, П. А. Демидова, сборника Кирши Данилова, где содержались превосходные образцы былин. И вот П. П. Вяземский (сын поэта), постоянно общавшийся с Пушкиным в 1830-х годах, вспоминал впоследствии:

«С жадностью слушал я высказываемое Пушкиным своим друзьям мнение о прелести и значении богатырских сказок (так обозначали тогда русский эпос[36]; термин «былина» начал входить в употребление лишь после издания в 1836—1837 годах сборника И. П. Сахарова «Сказания русского народа о семейной жизни своих предков».— В. К.) и звучности народного русского стиха. Тут же я услыхал, что Пушкин обратил свое внимание на народное сокровище, коего только часть сохранилась в сборнике Кирши Данилова, что имеется многих чудных поэтических песен, доселе не изданных, и что дело находится в надежных руках Киреевского...».

А в 1847 году Александр Герцен, размышляя о подлинно русской природе той культуры, которая развивалась со времени Петра («разве... герои 1812... не были русские, вполне русские?..» и т. д.), с полным основанием утверждал, что в его время «народная поэзия вырастает из песен Кирши Данилова в Пушкина...».

Что касается Толстого, о котором особенно веско говорил Рейнгольд Траутманн, он в ответ на вопрос историка литературы В. Ф. Лазурского, «как же он провел бы курс литературы», совершенно определенно ответил, что «начал бы он с былин, которые очень любит и на которых надолго бы остановился».

Таким образом, в представлении Толстого русская литература начиналась именно с былинного эпоса, и в этом отношении его убеждение совпадало с концепцией Р. Траутманна (стоит отметить, что цитированная запись из дневника В. Ф. Лазурского была впервые опубликована лишь в 1939 году, и Р. Траутманн не мог ее знать). Но еще существеннее другое. Р. Траутманн, как мы видели, по существу, «возводил» толстовское искусство к былинному, заведомо не зная о том, что Толстой сразу после окончания «Войны и мира», в начале 1870 года, задумал роман, главными героями которого должны были стать девять богатырей (Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович, Михайло Потык, Дюк Степанович и др.), перенесенные в современную русскую жизнь[37]. Для этого Толстой внимательнейшим образом изучает тексты былин, опубликованные в сборниках Кирши Данилова, Петра Киреевского, Рыбникова (Гильфердинг тогда только собирался ехать в Олонецкую губернию за былинами).

Это был, пожалуй, несколько искусственный и едва ли могущий обрести полноценное воплощение замысел (его неосуществимость отметил и сам Толстой и не пошел дальше самых беглых набросков), но нельзя усомниться в глубокой значительности самого этого устремления: в нем, я полагаю, выразилось возникшее в творческом духе Толстого сознание своей органической связи — при всех кардинальных различиях — с древним эпосом, то есть как раз той связи, о которой говорил в 1926 году Рейнгольд Траутманн.

А между тем в историю, или, вернее будет сказать, в историософию русской литературы до сих пор не вошла с должной ясностью мысль об исходном и неоценимо существенном для судеб русской литературы в ее целом значении былинного эпоса.

---

[34] Художественный фольклор. Вып. II—III. М., 1927. с. 35—36.

[35] Проблеме западных толкований русской «бесформенности» и «хаотичности» посвящена моя статья «Недостаток или своеобразие?» в кн.: Вадим Кожинов. Судьба России: вчера, сегодня, завтра. — М., 1990. с. 221—246.

[36] Пушкин, как ясно из известного «Словаря языка Пушкина», еще использовал слово «былина» только как синоним слова «быль».

[37] См. заметки Толстого к этому ненаписанному им роману в его Полном собрании сочинений, т. 90. М., 1938. с. 109—110.

Разумеется, «связь» русского эпоса и сложившегося в столь отдаленном от него будущем русского романа никак не может быть сколько-нибудь очевидной, прямолинейной, «непосредственной». Для ее выявления необходимы очень сложные и, если угодно, неожиданные движения мысли. Прекрасный образец такого мыслительного хода дал Пришвин, который писал в 1921 году:

«...«Обломов». В этом романе внутренно прославляется русская лень и внешне она же порицается... Никакая «положительная» деятельность в России не может выдержать критики Обломова: его покой таит в себе запрос на высшую ценность, на такую деятельность, из-за которой стоило бы лишиться покоя... Иначе и не может быть в стране, где всякая деятельность, направленная на улучшение своего существования, сопровождается чувством неправоты, и только деятельность, в которой личное совершенно сливается с делом для других, может быть противопоставлена обломовскому покою (несравненная по своей точности и глубине мысль о русском менталитете! — В. К.). В романе есть только чисто внешнее касание огромного русского факта, и потому только роман стал знаменит.

Антипод Обломова не Штольц, а максималист, с которым Обломов действительно мог бы дружить, спорить по существу и как бы сливаться временами, как слито это в Илье Муромце: сидел, сидел и вдруг пошел, да как пошел!» [38]

Хотя Илья Обломов, в отличие от Ильи Муромца, так никуда и не «пошел», все же в романе постоянно возникает мотив подобного преображения — пусть для него и было бы потребно чудо (которое совершается в былине!). Ильей Ильичем то и дело овладевает стремление «ринуться на поприще жизни и лететь по нему на всех парусах ума и воли... Вот-вот стремление осуществится, обратится в подвиг... и тогда, Господи!..»

Юрий Лощиц в своей известной книге о Гончарове отметил, что «аналогия, проведенная в романе между богатырем, который тридцать лет сиднем просидел в своей избе, и Ильей Ильичем, тоже достаточно прозрачна» [39].

Если стремиться к точности, следует сказать, что Обломов не столько «сидел», сколько «лежал»; в первой же фразе романа читаем: «...Лежал утром в постели, на своей квартире, Илья Ильич Обломов. Это был человек лет тридцати двух-трех». И несколькими абзацами ниже: «Лежанье у Ильи Ильича... было нормальным состоянием». Однако имеются былинные записи, в которых Илья Муромец

Тридцать лет на печке лежал...

Но еще более замечательно другое. И. А. Гончаров, как известно, родился и провел первые десять лет жизни (1812—1822) в Симбирской губернии. И когда в его «Обломове» говорится об Илюше: «Няня... повествует ему о подвигах наших Ахиллов и Улиссов, об удали Ильи Муромца...», — в этом, очевидно, запечатлелось реальное воспоминание Гончарова о своем детстве. Ибо вскоре после переселения будущего писателя в Москву братья Языковы записывают в этой самой Симбирской губернии несколько вариантов былины об «исцелении» Ильи Муромца:

Кто бы нам сказал про старое,
Про старое, про бывалое,
Про того ли Илью про Муромца?
Илья Муромец, сын Иванович,
Он а сидних сидел тридцать три года...

В подавляющем большинстве записей этой былины срок «сидения» (или «лежания») Ильи — ровно тридцать лет. Но в симбирских записях мы находим сакраментальное число 33. И не откликнулось ли это в самом начале гончаровского романа, где о возрасте героя сказано — «человек тридцати двух-трех лет от роду»? Символическое «33» было бы здесь, в прозаическом повествовании, не очень уместно; что число для эпоса. Но, пожалуй, писатель (скорее всего, бессознательно) вспомнил здесь слышанную в детстве былину...

Так в нескольких «соответствиях» обнаруживается подспудная связь древнего эпоса и одного из «главных» русских романов XIX века,— а тем самым, в конечном счете, определенное единство самой истории...

* * *

Здесь целесообразно сделать одно, так сказать, общеметодологическое отступление, которое несколько прервет уже наметившийся ход рассуждения, но зато, надеюсь, придаст ему большую теоретичность и обобщенность. Уже заходила речь о том, что для полноты и серьезности исследования богатырского эпоса необходимо рассматривать его прежде всего как целое, как определенный конкретно-исторический жанр, основная природа которого гораздо, даже неизмеримо важнее, чем особенности отдельных произведений и тем более отдельных их элементов и деталей.

Следует сказать и о том, что вообще любой сложившийся в то или иное время в русской (и, конечно, во всякой иной) литературе жанр имеет принципиально более существенный смысл и значение, нежели отдельные его проявления (глубокое теоретическое обоснование такого понимания проблемы жанра дано в трудах М. М. Бахтина). И это всецело относится, например, к русскому роману XIX века, о котором так восхищенно говорил Р. Траутманн. Ныне, всего лишь через столетие после расцвета этого жанра, явившегося одним из высочайших достижений общечеловеческой культуры, нам еще очень трудно или даже невозможно размышлять о нем «вообще». Мы все еще и мыслим, и даже живем в диалоге с творческими личностями Достоевского и Толстого, Лермонтова и Гончарова, Лескова и Тургенева.

Но, питая надежду на дальнейшее развитие человеческой культуры, мы можем и должны думать и о том далеком, ином времени, когда русский роман XIX века будет являться в восприятии наших потомков как некая завершенная в себе, сомкнутая в более или менее однородном единстве реальность, включающая в себя как единое целое богатейший мир творений от «Евгения Онегина» до «Братьев Карамазовых», или, если продлить линию дальше, — до толстовского «Воскресения», заключающего прекрасное и роковое литературное столетие.

Об этом важно было сказать потому, что для истинного понимания судьбы отечественного искусства слова надо, в частности, суметь существенно сопоставить, соизмерить русский героический эпос IX—X веков и русский роман XIX века — как два, быть может, равновеликих жанра русской, да и мировой литературы.

Сложность этой задачи состоит, между прочим, в том, что если роман XIX века является и сегодня перед нами как несравненно многообразное и словно бы не поддающееся никакой «систематизации» (не говоря уж о «схематизации») явление, то древний героический эпос, напротив, требует от нас внимательно вглядываться в его художественное разнообразие и богатство. Решительный шаг в этом направлении сделан в трактате В. Я. Проппа «Русский героический эпос» (1955, второе издание — 1958), где раскрыто,— пусть и в очень многом не бесспорно,— исключительно сложное и многозначное художественное содержание былин, в «общем мнении» (неким камертоном для которого является, скажем, знаменитая картина Виктора Васнецова «Три богатыря») представляющееся нередко прямолинейным или даже «элементарным».

Правда, едва ли не каждый грамотный человек чувствует несравненное величие образов богатырей и самого мира русского эпоса. Но все же В. Я. Пропп справедливо сказал в первых же фразах своего трактата:

«Русский героический эпос — одно из важнейших созданий русского народного гения. Между тем он мало известен в широких читательских кругах. До настоящего времени об эпосе нет такой книги, которая в простой и общедоступной форме вводила бы читателя в эту область национальной культуры... Цель автора состоит в том, чтобы дать в руки любому читателю... такую книгу, которая прежде всего просто *ознакомила* бы его с русским эпосом, которая раскрыла бы перед ним всю глубину художественных красот эпоса...» [40].

Книга в самом деле так или иначе выполняет эту роль, но она, к сожалению, не смогла (и из-за весьма большого объема — более 35 авт. л., и из-за слишком

---

[38] Пришвин М. М. Собрание сочинений в восьми томах. т. 8. М., 1986, с. 135—136 (разрядка моя — В. К.)
[39] Лощиц Юрий. Гончаров. — М., 1977, с. 173—174.
[40] Пропп В. Я. Русский героический эпос. — М., 1958, с. 3.

малого тиража — 15 тыс. экз.) стать достоянием значительного числа читателей. И здесь приходится лишь высказать уверенное предположение, что, изучив трактат В. Я. Проппа, любой читатель осознает: при всей своей монументальной скульптурности мир былинного эпоса — это полновесный мир живого бытия и сознания, сотканный из глубоких противоречий и тончайших подчас оттенков человеческих взаимоотношений. И когда Толстой думал о произведении, призванном «перенести» фигуры древних богатырей в современную ему русскую жизнь, он, конечно же, ясно видел это живое богатство эпического мира.

И германский русист, утверждавший, что русский героический эпос представляет собой то необходимое поэтическое зерно, то ядро, из которого через тысячелетие естественно мог вырасти поразивший мир русский роман XIX века, без сомнения, всецело прав.

Своего рода «отставание» в понимании и оценке роли героического эпоса для русской литературы во многом обусловлено и тем еще, что эпос этот был записан лишь в XVIII—XIX веках с голоса народных певцов и чаще всего предстает в наших глазах как чисто «фольклорное» явление, находящееся вроде бы за пределами литературы в собственном смысле слова,— в специфическом словесно-мелодическом бытии. Между тем записи целого ряда западноевропейских эпосов, сделанные в XII—XIII веках или еще ранее, воспринимаются как явления собственно литературные, «законно» открывающие историю того или иного национального искусства слова. Но это, казалось бы, очевидное и существенное «отличие» русского эпоса на самом деле далеко не столь уж бесспорно.

Так, давно уж сложилось убеждение, что мелодика в русских былинах, в отличие от мелодики «настоящих» песен, имеет прежде всего и главным образом *мнемоническое* значение, то есть призвана обеспечить сохранность текста в памяти его исполнителей и, кроме того, отчетливо «выделить» эпическое слово из обычной повседневной речи. Как писал один из исследователей еще в XIX веке, «эпический материал не так тесно связан с напевами, как лирический», и исполнение былин — это, по сути дела, не пение, а «мерная декламация» [41].

Авторитетнейшая исследовательница эпоса А. М. Астахова доказывала, что «напев» былины с «текстом, в противоположность песне, органически не был связан и в сознании исполнителя жил и живет самостоятельной жизнью. Этим и объясняется, что многие сказители, певшие былины, могли сказать текст «пословесно», не разрушая его ритмической структуры... В области же песни мы очень часто сталкиваемся даже у мастера, хорошо знающего песню, с затруднением абстрагировать текст от мелодии. Сказанное не исключает, однако, того, что напев всегда являлся средством сохранения былинной традиции и что его утрата легко могла привести — и во многих случаях приводила — к разложению былины...» А. М. Астахова ссылается еще на исследователя мелодики былин Ф. А. Рубцова, который на основе тщательного специального изучения сделал вывод, что в былинном епосе «напевы служат лишь формой декламации» [42].

Таким образом, былина не является, строго говоря, *песней*, то есть собственно словесно-музыкальным явлением; напев для нее — это, в сущности, способ ее сохранения, «консервации» — в известном смысле подобный письменности.

Естественно, встает вопрос о смысле и причинах очень поздней письменной фиксации русского эпоса (в сущности, лишь с XVIII века). Ведь, скажем, французский, английский и германский эпосы нашли воплощение в письменности еще в XII—XIII веках, а отчасти даже и еще ранее — в IX—X веках. Главная причина здесь, как представляется, в принципиально ином статусе письменности в средневековой Западной Европе в сравнении с Русью. Западноевропейская цивилизация выросла на прочном и мощном фундаменте древнеримской; несмотря на то, что «варварские» племена, сокрушившие античную Римскую империю, в течение долгого времени не могли (да и не «стремились») действительно усвоить ее *культуру*, самое тело этой культуры — то, что вернее всего будет назвать *цивилизацией*, — продолжило свое существование без какого-либо перерыва.

[41] Л я ц к и й Евг. Сказитель Иван Трофимович Рябинин и его былины. — М., 1895, с. 27.

[42] А с т а х о в а А. М. Цит. соч., с. 164, 165.

Это ясно доказано, например, в работах замечательной исследовательницы О. А. Добиаш-Рождественской (1874—1939) [43].

И в этом отношении необходимо видеть глубочайшее различие между Западом и Русью, которая не имела под собой такого фундамента предшествующей цивилизации: письменность была «завезена» на Русь из иного цивилизованного мира и поначалу использовалась почти исключительно церковью, которая не могла ценить сложившийся ранее эпос; нельзя не сказать и о том, что письменность была в своей основе церковнославянской, а не собственно русской, между тем как эпос, без сомнения, создавался на живом древнерусском языке.

Дело, конечно, не только в письменности; целесообразно, поскольку уж об этом зашла речь, поставить проблему, к коей еще придется возвращаться: едва ли не *самое существенное* своеобразие Руси, России среди основных стран Европы и Азии определяется тем громадным по своему значению обстоятельством, что она — в отличие от Италии, Англии, Франции и Германии, а также от Индии, Китая, Ирана и стран арабской культуры — страна, если можно так выразиться, принципиально *молодая*, не имеющая за плечами свершавшейся на *той же самой земле* высокоразвитой тысячелетней «предыстории», которая была *историей* в полном смысле этого слова. Племена, населявшие ту территорию, на которой начали развиваться русская государственность и культура, не только не создали высокоразвитую цивилизацию, но и были, без сомнения, менее «цивилизованными», чем ставшие ядром новой страны славянские племена.

Как уже говорилось, Русь на первых этапах своего бытия самым активным образом вбирала в себя опыт и энергию окружающего мира; но нельзя не сознавать коренного различия между усвоением приходящих *извне* культурных уроков и опорой на наращенную веками и тысячелетиями почву «туземной» цивилизации. В свете этого вполне понятно, почему западноевропейские эпосы были записаны на полтысячелетия ранее (или даже еще раньше), нежели русский.

Стоит сразу же сказать и о том, что эту «молодость» цивилизации на Руси следует понять именно как *своеобразие*, а вовсе не только (хотя слишком часто вопрос решается именно в таком плане) как «негативное» качество ее судьбы. Своеобразие само по себе отнюдь не является «оценочной» категорией; оно предполагает, говоря просто и коротко, и недостатки, и преимущества (в сравнении с другими своеобразными явлениями).

Это можно увидеть, в частности, и в судьбе русского эпоса. С одной стороны, позднее, слишком позднее письменное закрепление его образцов неизбежно означало искажение и затемнение их первоначального, исконного облика. Каждое поколение, передававшее дальше из уст в уста былины, вносило в них те или иные новшества, а также искажения и неясности (ибо что-то уже полностью забывалось). А поскольку со времени формирования русского эпоса (к XI веку) до его широкой и полноценной записи (в 1860—1870 годах) сменилось около тридцати поколений, позднейшие «наслоения» и потери, конечно, не могли не быть значительными.

Но в то же время есть все основания утверждать, что и записи западноевропейского эпоса, сделанные в X—XIII веках, имели свои «недостатки». Один из них, очевидный, заключается в том, что записи той далекой поры ставили перед собой как раз задачу «улучшить», «усовершенствовать» фиксируемые ими древние «подлинники»; это выражалось, в частности, в стремлении создать из имеющихся эпических сказаний целые *поэмы*, *эпопеи*, подобные «Песни о Нибелунгах» и «Песни о Роланде».

Между тем В. Я. Пропп убедительно показал, что «эпос любого народа всегда состоит только из разрозненных, отдельных песен. Эти песни обладают внутренней цельностью и до некоторой степени внешней объединяемостью... эпос обладает не внешней целостностью, а внутренним единством, единством образов героев, одинаковых для всех песен, единством стиля и, главное, — единством национально-идейного содержания... Но это внутреннее единство не то же самое, что внешняя целостность, замкнутость, законченность. Подлинный эпос всегда состоит из разроз-

[43] См.: Добиаш-Рождественская О. А. Культура западноевропейского средневековья. М., 1987. Эта женщина, между прочим, явилась прообразом героини романа А. И. Солженицына «Октябрь шестнадцатого» Ольды Андозерской (см. «Наш современник» за 1990 год).

венных песен, которые народом не объединяются, но представляют собой цельность. Эпопея же внешне едина, но внутренне мозаична... Эпос, как мы видели, целостен по существу и разрознен по форме своего выражения»[44].

Русские былины, ждавшие своей записи несколько столетий, не объединились в эпопею (хотя отдельные попытки в этом направлении известны — например, «составная» былина «Три поездки Ильи Муромца»). Таким образом, долгая передача эпоса в устной традиции имеет и свое преимущество перед теми или иными стародавними записями, ибо в определенных отношениях она вернее сохраняла изначальную природу эпоса.

Тем не менее наша историко-литературная наука, которая, обращаясь к изучению развития западноевропейских литератур, начинает, как правило, с эпоса, рассматривая его в качестве исходной основы всей последующей истории данной литературы, при обращении к русскому искусству слова только в очень редких случаях кладет в его начало национальный эпос. И это представляется мне ничем не оправданным изъяном и истории, и историософии — или, если выразиться более прозаически, «теоретической истории», либо «исторической теории» — отечественной литературы.

Осознанию и утверждению богатырского эпоса в качестве неотъемлемой начальной стадии истории русского искусства слова не должна препятствовать и мелодическая сторона былин, в которых, как доказывалось выше, напев являл собой прежде всего мнемоническое средство, способ сохранения словесной ткани; исполнение былины — это, строго говоря, не «пение» в собственном смысле, а напевная форма декламации (как отмечалось, сказители могли обходиться и без напева). Поэтому, в отличие от собственно песенных жанров, былины представляют собой прежде всего и главным образом искусство слова, лишь «упрочивающее» себя напевом.

* * *

Выше уже были предложены некоторые аргументы в пользу того представления, что былинный эпос сложился к XI веку, то есть ранее дошедших до нас собственно литературных произведений (таких, как «Слово о законе и Благодати» митрополита Илариона, «Повесть временных лет», созданные Нестором жития Бориса и Глеба и Феодосия Печерского и др.)

Следует подчеркнуть, что речь идет об эпосе как целостном явлении (хотя состоящем из отдельных былин), как вполне определенном жанре. Влиятельная историческая школа в изучении эпоса (как в прошлом веке, так и в наше время) чаще всего имеет в виду скорее отдельные былины (или даже их элементы), чем эпос в целом. Если выразиться прямо, это школа нередко, по сути дела, «за деревьями не видит леса».

Нет сомнения, что в былины проникали «реалии», относящиеся к самым разным временам и различным событиям; можно допустить также, что те или иные былины возникали в силу каких-либо причин позднее или даже значительно позднее эпохи рождения эпоса как таковой. Но для понимания существа дела необходимо прежде всего изучить и понять русский эпос в его целом как порождение, как плод определенного исторического периода.

Едва ли будет преувеличением утверждать, что две наиболее влиятельные школы изучения эпоса, мифологическая и историческая (обе эти направления в тех или иных своих тенденциях наличествуют в работах о былинах и поныне) в значительной мере игнорировали собственную суть русского эпоса: мифологическую школу более всего интересовала, так сказать, его предыстория — те образы и сюжеты, которые уходили корнями в наиболее архаическое, догосударственное сознание народа, — а историческую школу, напротив, то, что можно назвать постисторией эпоса — вовлечение в него (нередко, между прочим, мнимое)[45] событий, имен, названий, которые отражены также и в летописях, и в других позднейших (в сравнении с эпосом) источниках.

Историческую школу, начавшую свое развитие в 1860-х годах и занявшую господствующее положение в «былиноведении» в 1890-е годы, многократно и нередко очень резко — и все-таки в большой мере заслуженно — подвергали критике за то, что она с помощью всякого рода произвольных толкований и натяжек пытается связать те или иные былины с известными из других словесных памятников событиями и лицами различных эпох. В данном случае важно подчеркнуть, что, обращаясь к сведениям из летописей и иных источников XI и последующих столетий, представители исторической школы волей-неволей перемещали былины в более поздние времена — в период борьбы с половцами (последняя треть XI века — начало XIII века), или татаро-монголами (XIII—XV вв.), или даже во времена Ивана Грозного и Смутного времени.

Правда, один из последних крупных представителей этой школы (которая, кстати сказать, в 1930-х годах подверглась идеологическому разгрому за «теорию аристократического происхождения» былин), ученик В. Ф. Миллера — Б. М. Соколов в конце жизни решительно высказал следующее убеждение: «... как ни велики отголоски[46] в дошедших до нас воинских былинах боевых событий XII—XIII вв. из эпохи татарской и половецкой, все же основное сложение былин и образование эпического цикла вокруг г. Киева и кн. Владимира нужно отнести по всей справедливости к еще более ранней эпохе и связать с деятельностью великого князя Владимира Святославича, его ближайших предков и непосредственных потомков»[47].

Однако, несмотря на высокий авторитет этого ученого (как и его брата и единомышленника Ю. М. Соколова), некоторые позднейшие последователи исторической школы, выступившие в 1950—1980-х годах, продолжали прочно связывать эпос с событиями конца XI и дальнейших столетий и тем самым так или иначе относить их рождение к более поздней, нежели в действительности, эпохе.

Собственно «историческая» ценность эпоса состоит прежде всего в том, что он непосредственно запечатлел реальность IX—X веков, между тем как летопись начала создаваться едва ли ранее середины XI века. Но вместо того чтобы опереться на этот древнейший «источник», его как бы заставляют «дублировать» летопись...

3. ПРОБЛЕМА СОХРАННОСТИ ЭПОСА В ИСТОРИИ

Выше уже было высказано несколько соображений, которые побуждают или даже заставляют относить рождение русского героического эпоса к IX—X векам (истинно «героический» характер именно этого времени; явное принципиальное отличие искусства песнотворца XI века Бояна от былин как более ранней стадии словесности; вооружение богатырей, совпадающее с тем самым вооружением, которое известно по наиболее древним летописным сведениям и археологическим исследованиям материальной культуры, существовавшей ранее XI века).

Теперь необходимо напомнить уже приведенные (в другой связи) уверенные, опирающиеся на убеждения ряда предшественников, слова В. Н. Путилова о том, что «северные сказители не внесли ничего нового в состав русского эпоса... севернорусская былина не является чем-то... новым, иным» — это та же «древнерусская былина». И теперь мы обратимся к истории «сохранения» эпоса — от X до XX века.

В изучении этой проблемы в последнее время были сделаны настоящие открытия, которые, помимо прочего, связаны и с обоснованием верной «датировки» сложения русского эпоса. Особенно важно, что дело идет не о собственно литературоведческих и фольклористических, но историографических, а также этнографических открытиях, выяснивших ту конкретную реальность жизни Руси, в которой совершалась судьба русского эпоса.

---

[44] Пропп В. Я. Фольклор и действительность. Избранные статьи. М., 1976, с. 311, 312, 313.

[45] Речь идет о «похожих», могущих быть с помощью различных натяжек отождествленными деталях былин и летописей.

---

[46] Еще раз отмечу, что эти отголоски, вполне возможно, мнимые: дело идет, скорее всего, только о сходстве событий, имен, поступков, имеющихся в былинах и, с другой стороны, в летописях.

[47] Соколов Б. М. Русский фольклор. Вып. I. М., 1929, с. 62.

Книга опирается на целый ряд более ранних работ (В. Ф. Миллера, А. В. Маркова, Н. Е. Ончукова, С. Ф. Платонова, А. Н. Насонова, Р. С. Липец, М. В. Витова и др.), но поднимает отдельные наблюдения и выводы на уровень существенного обобщения.

Это, во-первых, исследование С. И. Дмитриевой «Географическое распространение русских былин» (1975), которое исходит из того бесспорного факта, что основной массив былинного эпоса сохранился в одном определенном регионе русского Севера, так называемого П о м о р ь я (термин известен с XIV века), — от Онежского озера и Белого моря до Печоры. Конечно, сам по себе этот факт был общеизвестен давно, но С. И. Дмитриева, основываясь на нем, сумела достоверно доказать, что эпос имеет, во-первых, древнейшее (не позже XI века) происхождение и, во-вторых, что само его широкое бытование на всей или по крайней мере основной территории Руси завершилось весьма рано (никак не позднее XIV века) и сохранилось по-настоящему только в Поморье, куда — вначале с запада (не позже чем с XI века) и затем с юга — переселялись русские люди.

С. И. Дмитриева пишет, что «сопоставление былинного ареала с показаниями письменных источников, антропологических, этнографических и диалектологических данных позволяет утверждать, что распространение былин на русском Севере можно связывать только с новгородскими (это не вполне верно, о чем будет сказано ниже. — В. К.) переселенцами. В областях, заселенных из Ростово-Суздальской земли, былинная традиция отсутствует... что... в свою очередь позволяет сделать вывод, что населению Ростово-Суздальской земли, во всяком случае ко времени усиленного переселения оттуда (XIV—XV вв.), былевой эпос не был известен» [48].

Вывод этот многосторонне аргументирован в исследовании С. И. Дмитриевой; в частности, она показывает, что если даже селение поморов — выходцев с юга — расположено в ближайшем соседстве с селением выходцев с запада, «новгородцев», в первом былин нет, их не принесли с собой и даже не усвоили от соседей. Характерна, например, ссылка С. И. Дмитриевой на статью знаменитого собирателя былин А. В. Маркова, который установил, что «былины поют на Терском берегу (одна из местностей Поморья. — В. К.) везде, кроме с. Поноя». «Это мне показалось загадочным, — пишет он, — но потом дело случайно разъяснилось... крестьянин мне сообщил, что предки русского населения Поноя переселились из «Москвы», то есть из центральной России. Московские выходцы... даже не научились старинам» (с. 49).

Опираясь на такие и многие иные факты, исследовательница заключает, что «к XIV—XV вв. былин не было на всей территории Руси, кроме Новгородской земли» (с. 93), вернее (о чем еще пойдет речь), северовосточной части этой земли — Поморья. Но XIV—XV века — это только полностью достоверная дата; по-видимому, былины сходят со сцены еще значительно раньше. С. И. Дмитриева ссылается, например, на убеждение известного историка Б. А. Рыбакова, много занимавшегося проблемой возникновения былинного эпоса: «Б. А. Рыбаков в своей последней работе по эпосу... относит большинство былин к трем последним десятилетиям X века. Середину XII—XIII в. он рассматривает как время угасания былинного жанра» (с. 80). Что же касается датировки формирования эпоса, С. И. Дмитриева подводит итог так: «Связь... эпических традиций с ранними потоками новгородских переселенцев на нижнюю Двину (XI—XII вв.) дает основание отнести сложение основного ядра богатырского эпоса ко времени, предшествовавшему этому переселению» (с. 82), то есть времени до XI века.

Итак, начав проникновение в Поморье не позднее XI века, эпос будет сохраняться там до XX века, между тем как на основной территории Руси не позже чем с XII века идет процесс его «угасания».

Перейдем теперь к другой многое открывающей работе — исследованию Т. А. Бернштам «Русская народная культура Поморья в XIX—начале XX в.» (Л., 1983); ей предшествовала сформулировавшая некоторые основные понятия книга того же автора «Поморы. Формирование группы и система хозяйства» (Л., 1978).

Ставя вопрос о корнях народной культуры Поморья, Т. А. Бернштам весьма существенно корректирует концепцию С. И. Дмитриевой: «Отводя Новгороду безусловно значительное место, — пишет она, — мы тем не менее утверждаем, что начальный этап в освоении Севера — X—XI вв... можно уверенно называть и общерусским, поскольку в нем, в качестве самостоятельных компонентов, принимали участие жители Южной Руси — Киева и «Русской земли» [49], собственно, и олицетворявшие общерусские интересы...» [50].

[48] Д м и т р и е в а С. И. Географическое распространение русских былин по материалам конца XIX — начала XX в. — М., 1975, с. 41.

Речь идет о том, что освоение Поморья первоначально шло вовсе не из Новгорода (возникшего, как отмечалось, сравнительно поздно), но из Л а д о г и — города в устье Волхова, который уже в IX веке стал северным форпостом Киева, его своего рода дальним «филиалом». Выше говорилось о Ладоге как древнейшем (возможно, с середины VIII века) городе Руси, в котором, в частности, князь Олег, придя в конце IX века из Киева, где он правил, воздвиг первую на Руси к а м е н н у ю крепость [51]; Новгород в это время еще не существовал, хотя уже имелось небольшое поселение на расположенном рядом с ним острове (оно получило впоследствии название «Рюриково городище»). Видимо, именно в Ладоге (Невгороде) провел свои юные годы Святослав, и вообще с конца IX до последней четверти XI века Ладога принадлежала прямо и непосредственно Киеву, а не Новгороду.

Т. А. Бернштам обоснованно утверждает в своей книге, что наиболее древние из известных нам русские поселения в Поморье «отмечают пути не столько новгородского, сколько ладожского освоения Севера» (исследовательница ссылается здесь, в частности, на ряд первооткрывательских работ языковеда В. Я. Дерягина).

Давно — уже со времен А. Н. Веселовского — доказано и общепризнано, что основной массив русского героического эпоса сложился в южной, собственно Киевской Руси. Это можно подтвердить, в частности, типичной п р о с т р а н с т в е н н о й характеристикой действия, развертывающегося в героических былинах: богатыри совершают свои подвиги, как правило, в «ч и с т о м п о л е», простирающемся от Киева к «с и н е м у м о р ю». Ясно, что дело идет именно и только о причерноморской степи, но необходимо осознать, что это не просто территориальная, но вместе с тем и в р е м е н н а́ я характеристика, ибо русские постоянно ходили к Черному морю (оно даже звалось тогда «Русским») лишь в IX—X веках; в XI веке выход к морю связан почти исключительно только с Тмутараканью, где до начала XII века был центр дальнего русского княжества, а затем даже и само устремление к южному морю надолго, на два-три столетия, прекратилось... Поэтому движение через «чистое поле» к «синему морю» — это, если воспользоваться термином М. М. Бахтина, основной былинный х р о н о т о п, выражающий единство не только места действия, но и определенного времени, определенного исторического периода.

Однако вернемся к проблеме былинного Поморья. С. И. Дмитриева, утвердив ряд очень важных положений о судьбе русского эпоса, напрасно связала его именно и только с Новгородом (в ее книге сказано, например, что «известную нам былинную традицию можно рассматривать как новгородскую интерпретацию русского эпоса» — с. 91). Разумеется, и в Новгороде были известны пришедшие с юга, из Киева, героические былины. Однако в Поморье былины проникали прежде всего из Ладоги, которая имела постоянную прямую связь с Киевом, откуда приходили дружинники и другие люди княжеского окружения, принося с собой былины. Из Новгорода проникли в Поморье главным образом уже собственно новгородские сказания о Василии Буслаеве и Садко (сложившиеся намного позднее киевских), а не героические южнорусские былины.

Т. А. Бернштам говорит, в частности, о том, что, даже попадая в Новгород, южнорусские былины «безусловно испытывали воздействие иного общественно-политического и социально-культурного характера в оппозиционном Киеву Новгороде... Обособление Новгорода... тормозило развитие там ряда общерусских тенденций... вызвало появление специфически новгородских сюжетов и мотивов в

[49] Это понятие развернуто исследовано в ставшей уже классической книге: Н а с о н о в А. Н. «Русская земля» и образование территории древнерусского государства. М., 1951.

[50] Б е р н ш т а м Т. А. Русская народная культура Поморья в XIX — начале XX в. Л., 1983, с. 8.

[51] См., напр., раздел «Укрепление Олега Вещего» в книге: К и р п и ч н и к о в А. Н. Каменные крепости Новгородской земли. — Л., 1984, с. 28—42.

общем пласте героических преданий («Садко», «Василий Буслаев»), возможно, за счет сокращения или изменения древнерусского героического репертуара» (с. 203, 204).

Необходимо подчеркнуть, что собственно новгородское овладение Поморьем (и его освоение) обозначило собой переход к совершенно новой эпохе истории Руси, которая именуется обычно эпохой «феодальной раздробленности». При Ярославе Мудром и некоторое время после его кончины (1054) известное единство Руси сохранялось, но затем достаточно быстро происходит обособление отдельных княжеств и земель, в том числе и Новгородской Земли. В частности, Ладога, которая, несмотря на свою тысячекилометровую отдаленность от Киева, была с ним нераздельно связана, не позднее 80-х годов XI века переходит в подчинение Новгорода, становится городом Новгородской земли [53].

И былины, пришедшие через Ладогу в Поморье, сохраняются там не как новгородский вклад в местную культуру, но как наследие уже не существующей единой Руси.

Любопытно, что С. И. Дмитриева в новой своей книге — «Фольклор и народное искусство русских Европейского Севера» (1988) — по сути дела, в той или иной мере «пересматривает» свою концепцию новгородского происхождения поморского фонда былин. Характеризуя быт и прикладное искусство наиболее богатого былинами, занимающего в этом отношении, по ее словам, «первое место среди уездов России» (с. 56) района Поморья — Мезени (местность вдоль реки, текущей между Северной Двиной и Печорой), исследовательница показывает, что «линия... связей культуры русских Мезени отклоняется к югу, в Поднепровье» (с. 228); далее приводится ряд примеров близости или даже тождества мезенских обрядов с украинскими (то есть первоначально древнекиевскими).

И в прикладном искусстве Мезени выступает на первый план именно то, что, по словам С. И. Дмитриевой, «считается наиболее характерным для южнорусского населения» (с. 229). Так, именно «с южнорусскими областями связаны свастические (то есть в виде индоевропейской свастики. — В. К.) элементы орнамента, дожившие до наших дней в изделиях прикладного искусства Мезени — вязаных варежках, носках, тканых поясах и т. п.» (с. 230). Словом, ясно обнаруживается «направление культурных связей русского населения Мезени, объединяющих его с южнорусскими районами» (с. 229), причем исследовательница подчеркивает, что это «привлечение... древних элементов фольклора и изобразительного искусства позволяет вскрыть архаические пласты этнических связей, особенно важных и убедительных» (с. 231).

Но, конечно, все это вполне естественным будет отнести и к мезенским былинам, которые, очевидно, также пришли отнюдь не из Новгорода, а из Южной Руси через Ладогу. В последней своей книге С. И. Дмитриева рассказывает об очень многозначительном наблюдении, сделанном ею в том же самом Мезенском районе. Раз в год здесь совершались своеобразные ритуальные хороводы — «круги», которые «обходили кругом все деревню, обязательно по движению солнца». Осуществляя этот явно древнейший «солярный» обряд (свастика ведь также толкуется как символ солнца), «первыми шли девушки «высоких», «коренных» фамилий... «высота» фамилии или «рода» зависела не от богатства, а от древности рода. К высоким, древним родам относились потомки самых первых поселенцев... Удалось установить связь, — заключает С. И. Дмитриева, — между представителями «высоких» фамилий и сказителями былин. Большинство последних, за редким исключением, принадлежали к потомкам «коренных» фамилий... Среди них обязательно находились люди, в той или иной степени сохранившие память о самих былинах или слышавшие о былинах от своих предков» (с. 57, 58).

Речь идет, следовательно, о том, что в среде тех поселенцев Поморья, которых С. И. Дмитриева в первой своей книге называла «новгородцами», выделялись древнейшие («коренные», «высокие») роды, пришедшие на Север ранее основной массы населения. И именно они принесли в Поморье былины. Здесь необходимо осознать, что в этом сообщении С. И. Дмитриевой сопоставляются не выходцы с запада (из Новгородской земли) и с юга (из Ростово-Суздальской Руси, которая к моменту переселения части ее жителей в Поморье уже утратила эпос); нет, оказывается, что и в самой среде переселенцев с запада имелись два различных пласта — древнейший, принесший с собой южнорусские былины, и более поздний, не обладавший этим наследием. Естественно понять это различие именно как различие наиболее ранних ладожских «первопроходцев» и приходивших в Поморье лишь с конца XI века новгородских переселенцев, которые не знали былин, — за исключением собственно новгородских, которые и сложились-то значительно позднее, как былины о Садко и Василии Буслаеве. «Коренные», «высокие» роды — это, очевидно, те, которые пришли в самый ранний период из Киева через Ладогу, неся с собой основные былинные богатства.

Итак, в Поморье, на много столетий ставшее заповедным царством русского эпоса, былины пришли из Киева через Ладогу — древнейший северный город. Кстати сказать, движение русских людей из Ладоги в Поморье началось, как это хорошо известно, в самые древние времена.

До прихода туда русских Поморье населяли финские племена. И Т. А. Бернштам напоминает в своей не раз уже цитированной книге, что в Приладожье и Прионежье (то есть в тех местностях, по которым шло переселение русских к северо-востоку) «интенсивные славяно-финские языковые контакты восходят к VIII—X вв.» (с. 219), то есть к собственно «былинной» эпохе.

К этому важно добавить выводы С. И. Дмитриевой, которая, опираясь на скрупулезные исследования М. В. Витова [54], пишет, что основные «былинные» места Поморья «были заселены переселенцами с нижней Двины, а последняя составляла область Севера, с древнейших времен заселенную славянами... уже с XI—XII вв. здесь были славянские поселения, тогда как связи славян с этими землями завязались значительно раньше» (указ. соч., с. 51—52), то есть уже в VIII—X вв., о чем пишет и Т. А. Бернштам.

Итак, былины пришли в Поморье уже к XI веку и с тех пор хранились в памяти прежде всего тех «высоких», «коренных» поморских родов, о которых столь интересно говорится в новейшей книге С. И. Дмитриевой.

Может показаться даже и неправдоподобным такое долгое — почти тысячелетнее — сохранение эпической памяти в Поморье. Однако речь ведь идет, говоря точно, о — не меньше, но и не больше! — тридцати человеческих поколениях, а если учесть, что каждые три поколения (дед — отец — внук), как правило, непосредственно знают друг друга и, следовательно, составляют единое, нераздельное звено в исторической цепи, то «передача» памяти должна была совершиться через посредство всего лишь десяти таких звеньев («замыкающий» звено внук передавал память своему сыну, «открывающему» следующее тройственное звено).

Разумеется, эта устойчивая передача памяти опиралась на определенные подкрепляющие стимулы, которые имели уже не личный или семейно-родовой, а гораздо более широкий, в конечном счете, народный характер. Существуют давние (еще с середины XIX века) и разнообразные попытки объяснения устойчивости бытия эпоса в Поморье; обзор этих объяснений см., например, в изданной в 1966 году и не раз уже упомянутой книге А. М. Астаховой «Былины. Итоги и проблемы изучения» (с. 227—231).

Все перечисленные там объяснения сохранности эпоса в Поморье имеют свое значение, но я полагаю, что главную, исходную причину определил еще А. Н. Веселовский, который усматривал суть дела именно в самом факте «занесения» эпоса, сложившегося в Южной Руси, в иной, севернорусский мир: «...Занесенный эпос, — писал ученый, — легче объективируется, принимается как по-

[53] См. об этом, напр.: Мачинский Д. А., Мачинская А. Д. Северная Русь Русский Север и Старая Ладога в VIII—XI вв. — В кн.: Культура Русского Севера. Л., 1988, с. 56.

[54] См. в частности: Витов М. В. Антропологические данные как источник по истории колонизации Русского Севера. — «История СССР», 1964, № 8.

этническое данное... чем эпос, не отрывающийся от почвы и питающийся живыми отголосками исторических событий, впервые вызвавших его к жизни»[54].

Это очень веское и убедительное соображение: в Южной Руси эпос должен был бы жить на той же самой почве, которая его породила и которая, однако, продолжая непрерывно изменяться, снова и снова заставляла меняться и сам эпос и в конце концов преобразила его в нечто совсем иное (скажем, Бояновы песни). Уже давно известно, что некоторые былинные мотивы и образы сохранились в качестве элементов совершенно иного, фольклорного, точнее, обрядово-фольклорного, жанра — колядок. В этот сомкнутый в себе мир обряда историческая действительность не вторгалась так властно, как в эпос, и он тысячу лет сохранял древнейшие детали и черты. Исследователь, посвятивший данной проблеме ряд работ, пишет, в частности: «Украинские колядки, народные песни, относительно хорошо сохраняющие особенности древнерусского эпического стиля Киевской эпохи... свидетельствуют о том, что во многом близкие им по своей поэтике русские былины создавались в той же народной среде»[55].

Но, повторю, все новые и новые воздействия вроде бы той же самой, но непрерывно и решительно изменяющейся действительности Южной Руси, которая породила эпос, не дали ему возможности сохраниться здесь сколько-нибудь долго; между тем, оказавшись в совсем ином мире Поморья, эпос как бы законсервировался.

Здесь, впрочем, никак нельзя не учесть и очень существенное положение, выдвинутое Т. А. Бернштам: «...Эпос получает наивысшее развитие (разрядка моя. — В. К.) в этнических окраинах. Все былинные очаги находятся в районах, представляющих, как правило, одновременно естественную границу России». Это обусловлено следующим: «...если жителям... ставших центральными областей Русского государства не было нужды в архаичных «героических символах» для поддержки русского самосознания, то населению Севера... героические предания были необходимы для проявления этнического (национального) утверждения и самовыражения. Поэтому-то, нам кажется, здесь произошло... возрождение памяти о героическом прошлом, приведшее к настоящему взрыву эпической поэзии» (цит. соч., с. 206, 207).

Чтобы яснее это понять, необходимо иметь в виду, что эпос может сохраниться не только при наличии тех, кто его помнит и исполняет; не менее существенно и наличие слушателей, среды, то есть некой части народа, у которого есть настоятельная потребность в эпосе. Так было в Поморье; этим же объясняет Т. А. Бернштам и сохранение эпоса (хотя и не столь целостное и совершенное, как в северном «углу» Поморья) в других «окраинных» регионах — в Заволжье и Приуралье, в Сибири, в казачьих областях.

В связи с этим нужно вернуться и к обсуждавшемуся выше исследованию С. И. Дмитриевой «Географическое распространение русских былин». Дело в том, что книга эта была подвергнута существенной критике в работе Ю. А. Новикова, опубликованной в 1988 году. Не буду касаться отдельных критических суждений, подчас весьма основательных. Но Ю. А. Новиков оспаривает и наиболее весомый, по моему убеждению, вывод С. И. Дмитриевой о раннем «угасании» эпоса за пределами Поморья.

Выше уже не раз и с разных точек зрения рассматривался вопрос о том, что русский героический эпос, сложившись к XI веку, уже к XII веку начинает, так сказать, сходить со сцены, сохраняясь лишь в совершенно специфических условиях (в том же Поморье). Не исключено, что это утверждение может показаться неоправданным и даже странным: мощный и богатый мир поэтического слова вдруг теряет свое значение для потомков, вытесняется другими явлениями словесности.

Однако если вдуматься, это — типичная, почти всеобщая судьба древнего эпоса. Ведь в западноевропейских странах эпос, несмотря даже на то, что он был

[54] Веселовский А. Н. Русский эпос и новые его исследователи — Халанский и Дамберг. — «Вестник Европы», 1888, июль, с. 153.

[55] Плисецкий М. М. Героико-эпический стиль в восточнославянских колядках.— В кн.: Обряды и обрядовый фольклор. М., 1982, с. 206; см. также более раннюю работу: Гацак В. М. Эпос и героические колядки. — В кн.: Специфика фольклорных жанров. М., 1973, с. 7—51.

очень рано (в IX—XIII веках) зафиксирован письменно, точно так же сходит со сцены и вообще полностью «забывается». Его вспоминают заново, по сути дела «открывают», гораздо позднее — через полтысячелетие и более — в XVIII или даже XIX веке; именно тогда его начинают публиковать, и изучать, и, наконец, создавать на его основе различные новые произведения — скажем, роман Жозефа Бедье «Тристан и Изольда» или героико-эпические оперы Рихарда Вагнера.

В высшей степени примечательно, что западноевропейский эпос дольше всего сохраняет живую жизнь в «отрезанной» от европейского континента Исландии, которая по-своему сравнима, сопоставима с русским Поморьем; закономерно, что Поморье давно стали называть «Исландией русского эпоса».

Словом, тем людям, которым кажется неправдоподобным столь раннее (по-видимому, уже к XII веку) «угасание» русского эпоса, следует осознать, что неправдоподобной — на фоне общей судьбы эпоса — явилась бы как раз его длительная и активная жизнь в условиях быстро и решительно изменявшегося исторического бытия основной территории Руси XI века и позднее. Достаточно напомнить то, о чем подробно говорилось: до Ярослава Русь постоянно выходила за свои пределы, что и запечатлено со всей очевидностью в эпосе, а после Ярослава она как бы замкнулась во внутреннем бытии — вплоть до жизни отдельных княжеств. И постоянные дальние походы былинных героев оказались чем-то «чуждым» новому образу жизни.

И Ю. А. Новиков, возражая против одного из главных и наиболее ценных положений книги С. И. Дмитриевой (о том, что на основной территории Руси, за исключением «окраин», эпос перестает существовать уже весьма рано), в сущности, не приводит — да и не может привести — действительно существенных аргументов в пользу иного понимания судьбы эпоса.

С. И. Дмитриева достаточно убедительно показала, что «былинные очаги», сохранившиеся, например, в отдельных районах Сибири, были занесены туда именно и только переселенцами из Поморья, или, как она определяет, «новгородцами» (о неточности этого определения подробно говорилось выше).

Но рассмотрим все же доводы Ю. А. Новикова. Он настаивает на том, что эпос существовал в тех или иных регионах за пределами Поморья значительно дольше, чем считает С. И. Дмитриева: «Одним из самых неубедительных в книге (Дмитриевой. — В. К.) является раздел, посвященный эпическим традициям (или их остаткам), обнаруженным за пределами Олонецкой и Архангельской губерний... автор неоднократно и довольно категорично говорит об отсутствии в XIV—XV вв. (собственно, речь идет у С. И. Дмитриевой даже о более ранней временной границе — XII—XIII вв. — В. К.) былинной традиции в Ростово-Суздальской и Московской землях, в центральных и южных областях России, на Украине и в Белоруссии... «Что касается былин, записанных в Приуралье, отчасти в Поволжье и на Дону, — цитирует Ю. А. Новиков книгу С. И. Дмитриевой, — то, как заметили многие исследователи, это остатки главным образом слабых эпических традиций в районах, куда также распространялся поток переселенцев из северных губерний». Это явная натяжка, — возражает Ю. А. Новиков и не без едкости резюмирует: — О слабости былинной традиции в этих краях действительно писали многие, но, насколько нам известно, никто не считал донских казаков потомками новгородцев» (или, скажу уже от себя, поморов. — В. К.)[56].

Последнее возражение звучит внушительно, ибо донские казаки в самом деле сохранили — пусть и далеко не с такой степенью сохранности, как поморы, — былинный эпос, а ведь нет ровно никаких оснований полагать, что они получили былинную традицию от поморов. Из этого, в свою очередь, неизбежно следует, что к моменту образования казачества (почему оно, как и поморы, хранило эпос, ясно показано в цитированных выше суждениях Т. А. Бернштам об особенностях сознания на «окраинах») былины еще жили на Руси — по крайней мере в тех ее частях, откуда явилось казачество. В результате возникает

[56] Новиков Ю. А. Точку ставить рано... О концепции новгородского происхождения русской былинной традиции). — В кн.: Фольклор. Проблемы историзма. Отв. ред. В. М. Гацак. М., 1988, с. 34, 35.

естественное сомнение в том, что былинный эпос «угас» на Руси (за исключением Поморья) уже в очень раннюю эпоху. Ибо общепринято представление, согласно которому казачество начало формироваться лишь в XV или даже в начале XVI века. И как бы приходится признать, что еще в XV веке на Руси широко звучали сказания об Илье Муромце и других богатырях, которые и унесли с собой в свои «вольные края» казаки.

Однако недавно вышла книга, каковую, как и некоторые названные выше, с полным правом можно считать настоящим научным открытием. Это изданная, увы, микроскопическим тиражом работа А. А. Шенникова «Червленый Яр. Исследование по истории и географии Среднего Подонья в XIV—XVI вв.» (Л., 1987).

В книге тщательно изучены судьбы во многом «загадочной» земли и ее населения, связанных с наименованием «Червленый Яр». Речь идет об издавна заселенном выходцами из основной Руси пространстве между реками Воронежем и Хопром, а если мерить с севера на юг — от реки Цны до нынешней станицы Вешенской на среднем Дону (ныне это пространство входит своими отдельными частями в Липецкую, Тамбовскую, Воронежскую, Волгоградскую и Ростовскую области). Давно установлено, что восточнославянские — главным образом северянские — поселения имелись здесь еще в VIII—IX веках[57], но гораздо менее известно, что никак не позже XII века (а вернее, даже еще ранее — вскоре после гибели Хазарского каганата, в конце X века) сюда снова явились русские переселенцы. Они оказались вне власти какого-либо княжества, и именно здесь, на этой маловедомой окраине тогдашней Руси, как аргументированно доказывает в своей книге А. А. Шенников, начало складываться казачество.

В дальнейшем мы еще будем касаться судьбы этой давней окраины Руси, но сейчас важно утвердить одно: будущие казаки, очевидно, принесли сюда эпос не в XV—XVI веках, а не позднее XII века (то есть, возможно, и в XI веке), когда его жизнь действительно еще продолжалась на Руси (кстати сказать, само слово «казак» широко употребляется в письменности уже с XV века; в устный язык оно вошло, без сомнения, намного раньше). И в Червленом Яре, естественно, была та настоятельная потребность «окраинного» населения в сохранении эпоса как основы национального самосознания, о которой справедливо говорит в своей книге Т. А. Бернштам. Словом, и время, и самый характер бытования эпоса в казачьей среде соответствуют тому, что имело место далеко на севере, в Поморье. Но поскольку историческая судьба казачества была, так сказать, более бурной, чем у поморов, эпос сохранился в его среде значительно хуже.

Концепция С. И. Дмитриевой, согласно которой былины уже в ранний период продолжали жить только в Поморье, подверглась критике еще и в недавней статье Т. Г. Ивановой «Былинная традиция на реке Ваге»[58]. Речь здесь идет о том, что в 1840-х годах топограф Алексей Харитонов записал несколько былин в Шенкурском уезде Архангельской губернии, где жили в основном переселенцы не из Ладоги, а из Ростовской (или, иначе, «низовской») Руси; это вроде бы ставит под сомнение выводы С. И. Дмитриевой. Но едва ли можно считать критику Т. Г. Ивановой основательной. По-первых, нет точных сведений о том, где странствующий по условиям своей профессии топограф записал былины, и поскольку Шенкурский уезд в северной своей части близок к пределам онежских и пинежских земель, возможно происхождение собранных А. Харитоновым текстов из этих основных былинных районов. Но дело не только в этом. Сама Т. Г. Иванова пишет: «...уже в первой трети XII столетия на Ваге... существовали новгородские (первоначально — ладожские. — В. К.) погосты. Однако новгородский колонизационный поток вскоре здесь был перекрыт низовской колонизацией» (с. 117). Это суждение никак не исключает возможности наличия на Ваге потомков пусть даже немногих самых ранних переселенцев из Ладоги, в среде которых и сохранились былины; очень характерно, что былины имелись здесь в самом малом количестве, а после 1840-х годов вообще, по сути, исчезли. Словом, полемика Т. Г. Ивановой никак не колеблет концепцию С. И. Дмитриевой.

---

[57] Затем русские вынуждены были уйти отсюда из-за различных опасностей, связанных с военной практикой Хазарского каганата (о чем — ниже).

[58] «Русская литература», 1991, № 2, с. 111—119.

* * *

Прежде чем идти дальше, целесообразно осмыслить одно вероятное сомнение. В своем месте говорилось о том, что былинный эпос очень рано сменяется на основной территории Руси другими жанрами — скажем, «княжескими славами» песнотворца второй половины XI века Бояна. И может смутить очевидное противоречие: в целом былины столь быстро сходят со сцены, а в Поморье они исполняются в течение долгих веков.

Однако ничего парадоксального в этом резком различии нет. Здесь уместно сопоставить судьбы современной «текущей» литературы, публикуемой, допустим, в ежемесячных журналах, и, с другой стороны, старинных книг, бережно и даже, так сказать, ритуально хранимых в основном библиотечном фонде. В наше время «волна» текущей литературы как бы полностью сменяется иной «волной» всего лет за десять—пятнадцать. Но это, в сущности, никак не влияет на статус основного фонда библиотек. Одно дело — повседневная жизнь литературы, и совсем иное — бытие «священного» наследия классики.

А былины в Поморье воспринимались именно как нечто священное, ниспосланное свыше, а не создаваемое реальными людьми. Об этом пишет, например, в своей книге Т. А. Бернштам: «Отношение к былине (старине) как божественному дару выражалось в том факте, что еще в XIX в. во многих северных районах исполнение былин происходило только в праздничные (т. е. «святые») дни» (с. 206).

Словом, «обычное» развитие искусства слова и, с другой стороны, хранение былин в Поморье (и иных местах) — это принципиально разные феномены, которые нельзя мерить одной мерой.

Утверждение о поистине удивительной сохранности былин в Северной Руси отнюдь не является умозрительной гипотезой. Ведь в течение почти столетия, начиная с 1860 года, производились, например, записи былин (кстати сказать, с большими временными перерывами) от одной прионежской — «рябининской» — династии сказителей. Ее родоначальник Трофим Рябинин родился еще двести лет назад, в 1791 году, а последний ее представитель — Петр Рябинин-Андреев скончался в 1953 году, и тем не менее, как свидетельствовала А. М. Астахова, «редакции Трофима Рябинина донесены до нашего времени без существенных переработок, и те изменения, которые вносит его потомок, выражаются по преимуществу в перестановках эпизодов и стихов, словесных перефразировках и т. п. и не дают принципиальных различий...»[59].

А. В. Марков писал в начале XX века о знаменитой сказительнице: «А. М. Крюкова прямо говорила, что проклят будет тот, кто позволит себе прибавить или убавить что-нибудь в содержании старин»[60]. Этот «императив» явно был присущ и творческому сознанию династии Рябининых. Кстати сказать, Трофим Рябинин «понял»[61] (по его выражению) былины от высокочтимых им его старшего друга Ильи Елустафьева, родившегося еще в 40-х годах XVIII века, и от своего также уже пожилого дяди по материнской линии Игнатия Андреева. И едва ли он «прибавлял» или «убавлял» что-либо к услышанному.

Таким образом, с конца XVIII до середины XX века (пять поколений!) основное в былинах могло, оказывается, сохраниться в почти неизменном виде. И трудно спорить с тем, что в предшествующие столетия возможность сохранения изначального, уходящего корнями в доярославову эпоху былинного фонда была не менее, или, скорее, даже более надежной. Поэтому мы имеем все основания рассматривать дошедшие до нас былины как древнейшее, изначальное наследие русского искусства слова.

Итак, мы с разных точек зрения и в целом ряде аспектов рассмотрели проблему, которая наиболее просто и кратко определяется как «датировка» создания русского героического эпоса. Не исключено, что проблема эта может показаться кому-либо не настолько существенной и многозначащей, дабы тратить на ее обсуждение столько усилий и книжного текста. Но это далеко не так. Речь ведь идет и об установлении реального начала высокого развития русского искус-

---

[59] Былины Ивана Герасимовича Рябинина-Андреева.— Петрозаводск, 1948, с. 23.

[60] Беломорские былины, записанные А. Марковым. М., 1901, с. 13.

[61] То есть взял.

ства слова как важнейшей составной части отечественной культуры и одновременно о начальной стадии самой Истории Руси (ибо истинная история — о чем в своем месте шла речь — есть единство развития государственности и культуры). То есть, не решив эту проблему, мы не сможем основательно мыслить обо всей литературе Руси и даже об ее истории.

Наибольшее внимание было уделено судьбе героического эпоса в Поморье, где он сохранился с исключительной полнотой и верностью. И, как представляется, выше были приведены достаточно весомые доказательства в пользу того, что героический эпос пришел в Поморье с наиболее ранними переселенцами, которые двинулись туда из нераздельно связанной с конца IX до конца XI века с Южной Русью, с Киевом, Ладоги. Это призвано (помимо ряда иных соображений) подтвердить, что русский героический эпос сложился (как и утверждает целый ряд его современных — и притом самых разных — исследователей) уже к XI веку. При этом (что не раз подчеркивалось) речь идет не о тех или иных **о т д е л ь н ы х** былинах и тем более каких-либо их элементах, которые могли возникнуть позже и даже гораздо позже, но о героическом эпосе как жанре, как целостном феномене искусства слова и культуры вообще.

И последнее — но первое по важности. Доказать, что русский эпос был в целом создан к началу XI века, — значит осознать его как монументальный исторический «источник», запечатлевший эпоху IX—X веков, которая отражена в созданных много позднее летописях и скудно, и обрывочно. Нет сомнения, что образы эпоса никак нельзя ставить в один ряд со сведениями исторических хроник. Но эти грандиозные образы воссоздают размах той борьбы, тех испытаний, которые выпали на долю Руси в героические века ее юности, в период становления ее государственности.

Видный современный историк Древней Руси А. Н. Сахаров писал недавно об известном сообщении из «Повести временных лет»:

«Под 965 годом следует запись: «Иде Святославъ на козары». За этой лаконичной и бесстрастной фразой стоит целая эпоха освобождения восточнославянских земель из-под ига хазар, превращения конфедерации восточнославянских племен в единое Древнерусское государство... Хазария традиционно была врагом в этом становлении Руси, врагом постоянным, упорным, жестоким и коварным... Повсюду, где только можно было, Хазария противодействовала Руси... Сто с лишним лет (точнее — почти полтора века, так как наиболее вероятная дата вторжения хазар в Киев — около 825 года. — **В. К.**) шаг за шагом отодвигала Русь Хазарский каганат в сторону от своих судеб»[62].

Но именно эта борьба — о чем самым подробным образом будет сказано далее — и запечатлена прежде всего в монументальном художественном мире русского героического эпоса. Может показаться неоправданным, что объединяющим этот эпос героем является Владимир, а не Святослав, нанесший, по сути дела, смертельный удар Хазарскому каганату; но, во-первых, Владимиру, как известно из ряда вполне достоверных источников, пришлось все же предпринять еще один, последний поход на Каганат, а во-вторых, именно при нем Русь достигла того могущества, которое исключало самую возможность ее поражения в борьбе с какой-либо силой тогдашнего мира (только через два с половиной века такая сила явилась в лице Монгольской империи). Арабские источники свидетельствуют о «русах» конца X — начала XI века: «...У них независимый царь, и называется их царь Буладмир (Владимир. — **В. К.**)... Они — люди сильнейшие и очень могучие; они отправляются пешими в далекие страны для набега, плавают также на судах по Хазарскому (Каспийскому. — **В. К.**) морю... и плавают к Константинополю по Понтийскому (Черному. — **В. К.**) морю... Их храбрость и мужество известны, ибо один из них равен некоторому числу людей из другого народа...»[63].

Это «описание», в сущности, совпадает с миром былинного эпоса, где, в частности, немало говорится о морских походах. Но к миру эпоса мы еще вернемся.

---

[62] С а х а р о в А. Н. «Мы от рода русского...». Рождение русской дипломатии. Л., 1986, с. 263.

[63] З а х о д е р Б. Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе, т. II. М., 1967, с. 146—147.

Продолжение следует



АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ

Россия: попытка самопознания

С Т А Т Ь Я II

ТИТАНЫ ПРОТИВ ИЛЬИ

И все-таки, почему Запад так охотно представляет русского рабом?

Первая причина проста и не слишком благовидна. Раба легче ограбить, точнее, оправдать разбой. Посягни на свободного — не избежать заявлений о насилии, о попрании прав. А раб — он и есть раб... Важно название. Так, в былые времена полуграмотные крестоносцы вспомнили о тонкостях богословия и разграбили церкви Константинополя. Грабили не единоверцев — «схизматиков». И благочестивая Европа с восторгом и завистью взирала на удачливых погромщиков. Подобными приемами охотно пользуются и теперь. Сегодня это называется дегуманизацией образа жертвы.

Другая причина — искреннее непонимание. Наши представления о власти, свободе, о личности существенно отличаются от западных. О власти и свободе я писал в предыдущей статье. Рассмотрим теперь различия в представлениях о человеке. Разумеется, лишь самые очевидные из них — весь комплекс вопросов не осветить и в многотомном исследовании.

Народное самосознание впервые заявляет о себе в эпосе. Обычно сборники русских былин открываются едва ли не самой архаической из них — «Святогор и гроб».

В центре этого удивительного произведения грандиозный, загадочный образ Святогора. Подчеркнуто выпадающий из дружины русских богатырей, любовно собранной сказителями за многие сотни лет. Он не участвует в общих сечах, не защищает Киев. Народное сознание как бы дистанцируется от него, помещая на периферии. Величественная фигура высится на фоне гор — где-то на границе Древней Руси.

О нем — в отличие от Дюка и Соломана — не говорится и как о чужестранце. Просто — Другой (в современной терминологии). Его и изображают соответственно. Подчеркивают исполинские размеры. Русский человек «такого чуда он да ведь не видал, такого чуда он ведь не слыхал». Похоже, это какой-то собрат Вотана, заехавший в киевские пределы прямо из древнегерманской Валгаллы.

В противовес ему былина выдвигает любимого героя Руси — Илью Муромца. Он «наезжает» на Святогора и пробует сразиться. Но тому богатырские удары как комариные укусы. И все же встреча заканчивается гибелью Святогора.

Тут-то и раскрывается глубочайший смысл древнейшего произведения русского эпоса. Святогор погибает от **б е з м е р н о с т и** своей силы. (Пожалуй, еще более ясно об этом говорится в былине «Святогор и тяга земная»). Казалось бы, сознание молодого народа должен привлечь как раз этот чудовищный избыток силы. Исполинский масштаб героя. Ничуть не бывало! С поразительной мудростью народное сознание прозревает трагическую обреченность одинокого титана с его нечеловеческой мощью.

И с образцовой последовательностью, которой позавидовали бы опытные риторы, эпос противопоставляет воплощению безмерности образ меры. Илью. Умирающий Святогор передает Муромцу свою мощь, выдыхая ее из уст в уста. Выдохнул раз — сил у Ильи вдвое прибавилось. Еще один выдох, и у Муромца будет вся Святогорова сила. И вдруг Илья говорит: довольно, «не надо мни твоей боле силушки».

Слыхано ли — богатырь не хочет стать сильнее! И всего удивительнее — народное сознание воспринимает такое **с а м о о г р а н и ч е н и е** как должное, бо-

лее того, настаивает на нем. Схожий мотив звучит в былине об Илье и каликах перехожих.

Избыток силы сделал бы Илью таким же исполином, как Святогор. Но тем самым лишил бы места в киевской дружине. Вырвал бы из тесного круга народного единства, согревавшего «Илюшеньку» (как не раз именуется он в былинах) своей любовью. Муромец стал бы всемогущим — и одиноким. Он сознательно отказывается от такой судьбы.

И былина не только одобряет выбор — утверждает его как единственно возможный. Гениальный сюжетный ход как бы срывает завесу, за которой скрыты все варианты будущего. Нам показывают, какая судьба ждала бы Илью в случае иного выбора: умирающий Святогор признается, что его сила убила бы богатыря...

Как показательна эта первая декларация русского духа! С самого начала он отвергает соблазн титанизма, противопоставляя ему понятия меры, гармонии. Сверхчеловеческому могуществу — полноту человеческого бытия.

Именно полноту — в многочисленных былинах народ откровенно любуется статью, удалью Ильи. И в то же время он лучший среди равных, в сущности, такой же, как все. «Мужик да деревенщина» — заносчиво аттестуют его враги. Заносчиво, но в конечном счете справедливо: плоть от мужичьей плоти, воплощение русского духа.

Теперь я приведу цитату, чье соседство с текстом былины может шокировать многих читателей. Но такое неожиданное, на первый взгляд, парадоксальное, сведение двух безмерно далеких эпох, двух «культурных контекстов», думаю, поможет резче и глубже обозначить высказанную мною мысль.

«...Простейшее чувство единения с людьми — такой же, как все, ничуть не лучше, плоть от плоти, кость от кости... Мне кажется, что это чувство единения с людьми, своей одинаковости с ними.., неотъемлемый признак подлинного поэта». Строки из мемуаров Н. Я. Мандельштам. Комментарий к пушкинскому стихотворению «Поэт» и одновременно размышления о судьбе своего мужа, Осипа Эмильевича.

Непривычно! Почти кощунственно — ставить рядом Мандельштама и былинного богатыря! Нет, не кощунство, а свидетельство поразительной жизненности коренных начал нашего духа. Вдумайтесь, какой всепроникающий силой обладают они, если властно захватывают даже людей, чуждых по крови и воспитанию.

На протяжении многих веков неизменные нравственные представления организовывали жизнь нации, указывали духовные ориентиры русскому человеку. Несмотря на все нашествия и внутренние смуты. То же чувство единения с людьми, те же понятия меры, гармонии. Всякий раз они наполнялись живым смыслом — в подвижничестве Сергия, Нила, Серафима, в творчестве Рублева, Пушкина.

Вот и в процитированных мемуарах стихи Пушкина возникают не случайно. Для нового времени Пушкин такое же совершенное воплощение русскости, как Илья для былинных времен. «Русский человек в его развитии, — по прозорливому определению Гоголя. — В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились... в такой очищенной красоте».

Конечно, тысячелетие, разделяющее эти фигуры, не прошло бесследно. Воина сменил творец. Но, в сущности, как они схожи! «...Никакого наружного блеска, все просто... все исполнено внутреннего блеска, который раскрывается не вдруг», — эти гоголевские слова характеризуют не одного Александра Пушкина. Всю череду русских людей, соединяющих живою связью национального поэта России с героем ее былин.

А в основе — решающий для становления человека нравственный выбор. Жест, отвергающий соблазн титанизма. «Смирись, гордый человек!» Достоевский раскрыл великое значение пушкинского завета.

Вот перед этим «смирись» западное сознание, как правило, застывает в недоумении и даже в негодовании. И с высокомерием отвергает русскую традицию как вопиющее проявление духовного рабства. Типична филиппика советолога Т. Самуэли: «В течение столетий идеи права и свободы, правового государства и прав личности не имели никакого места в русском историческом обществе. Они оставались совершенно чуждыми русской интеллигенции» (The Russian tradition. L., 1974).

Прибалтийский немец Вальтер Шубарт, хорошо знавший и Россию и Европу, тонко чувствовавший их духовное своеобразие, считал, что различия между западным человеком и русским столь велики, что следует говорить о двух типах личности. С противоположными устремлениями, жизненными установками, представлениями о мире и своем месте в нем. Схожую концепцию еще в XIX веке разработал Н. Данилевский (его труд «Россия и Европа», где была впервые сформулирована теория культурных типов, наконец, переиздан в 1991 году и стал доступен читателю). Но для меня в данном случае важнее свидетельство В. Шубарта — наблюдателя со стороны, неуязвимого для пошлых обвинений в русском национальном самодовольстве.

В книге «Европа и душа Востока» (к слову — до сих пор не опубликованной у нас) Шубарт пишет, что европеец стремится утвердить себя как фигуру героическую, подобную Прометею. «...Героический человек видит в мире хаос, который он должен оформить своей организующей силой; он полон жажды власти, он удаляется все дальше и дальше от Бога и все глубже уходит в мир вещей. Секуляризация — его судьба, героизм — его жизненное чувство, трагика — его конец».

Прочитав финальную фразу, нельзя не вспомнить былину о Святогоре. Поразительно, насколько верно понял русский народ трагедию титанизма, постигнутую наиболее проницательными европейцами лишь тысячелетие спустя!

Славян, и в частности русских, автор определяет как людей мессианского типа, в чьих душах живет огонь любимого ученика Христа—апостола Иоанна. «Иоанновский», «мессианский человек», — утверждает Шубарт, — носит в себе «божественный порядок». «Он хочет восстановить вокруг себя ту гармонию, которую он чувствует в себе». «Мессианского человека одухотворяет не жажда власти, но настроение примирения и любви».

Наиболее чуткие западные мыслители и художники глубоко переживали трагедию титанизма. Одни в поисках духовной альтернативы обращались к традициям иных культур — исламу, буддизму, православию. Другие подвергали переоценке наследие Европы, пророча ей катастрофу, «закат» (начиная от О. Шпенглера и В. Зомбарта до сегодняшних «новых правых»).

Процесс вышел далеко за рамки пересмотра собственно философских теорий. Сама культура Запада стремилась обрести новые основания. Масштабностью и вдохновенностью выделяется замысел Р. Вагнера. Знаменитая тетралогия «Кольцо Нибелунгов»— это попытка создания нового европейского мифа на пути радикального переосмысления древнего эпоса. Философское значение грандиозного замысла раскрыл А. Лосев. «Эстетика Вагнера, — писал он, — есть не что иное, как исповедь души новоевропейского индивидуума, пришедшего к своей последней катастрофе». Вагнер утверждал неизбежность «гибели всякого мира, который пытается основать себя на беспредельном индивидуализме... на незаконном, несправедливом, жалком, хотя и художественно красивом овладении основами мироздания отдельным и бессильным человеком и даже теми же богами, которые тоже пытаются овладеть основами мира только ради своих индивидуалистических устремлений».

Однако критика, раздающаяся уже полторы сотни лет, не смогла поколебать устоев классической европейской концепции человека. Более того, в XX веке эта концепция получила невиданное пропагандистское обеспечение, так как была включена в идеологическую систему «западных ценностей», полемически противопоставленную сначала коммунистической доктрине, а теперь традиционным системам стран «третьего мира».

Такая жизнеспособность объясняется укорененностью рассматриваемых представлений в самой основе цивилизации Запада. Разберем их подробнее. В наиболее концентрированном виде они представлены в работе нобелевского лауреата Фридриха фон Хаека «Дорога к рабству» (она с помпой опубликована теперь и у нас — «Вопросы философии», 1990, №№ 10—12).

Значительное по объему эссе написано в 1944 году в Лондоне, куда Хаек эмигрировал из Австрии. Характер во многом определен временем написания. 1944-й — для западного человека это знаменательный рубеж, на котором практически заканчивается борьба с одной формой тоталитаризма (фашизма) и начинается противоборство с коммунизмом. Воинственный пафос, установка на пропагандистский эффект лишают исследование научной строгости, но придают ему неповторимый характер исступленного — несмотря на рассудочную сухость стиля — символа веры. Книга получила огромный резонанс и до сих пор считается самой убедительной апологией европейского либерализма.

Впрочем, Хаек отстаивает не либерализм как таковой, а индивидуализм. Исследователь называет его фундаментальной ценностью европейской цивилизации. Генеалогия возводится к античности и христианству (к сожалению, автор не уточняет — христианству западному; что поделать: для Хаека, как и для крестоносцев, мы те же «схизматики»). Индивидуализм определяется как жизненный нерв западного общества. Весь тон книги показывает: Хаек сознает — спор не об абстракциях, о том — быть или не быть Западу.

Автор использует весь арсенал публицистики: он апеллирует к собственной участи изгнанника, рисует картину торжества тоталитаризма на Востоке (куда он, выходец из Австрии, курьезно помещает и Германию), неустанно предупреждает о «сознательной политике», по сути дела, заговоре тоталитарных сил внутри демократических обществ Запада, прежде всего Англии и США.

На этом-то зловещем фоне утверждается спасительный идеал индивидуализма. Для начала порция стандартной политической риторики: «Его основной чертой является уважение к личности как к таковой, то есть признание абсолютного суверенитета взглядов и наклонностей человека в сфере его жизнедеятельности, какой бы специфической она ни была...» Беспроигрышная комбинация стереотипов, хотя несколько удивляет и настораживает подчеркнутая, с нажимом, жесткая абсолютизация: какой бы специфической ни была.

В дальнейшем дается сугубо прозаическая расшифровка: человек призван сосредоточиться «на удовлетворении его физических потребностей». Это объявляется «фундаментом», на котором «строится вся философия индивидуализма».

Русскому сознанию с его приматом глобальных задач такая декларация может показаться полемически усеченной, сведенной к пародии. Тем не менее тут ничего не выпущено: удовлетворение физических потребностей—это и есть цель надменного западного титана. Стремление же к более высоким целям, по мнению автора, симптом опаснейшей болезни. Хаек ставит диагноз: она ведет к тоталитаризму и рабству. Исследователь навязывает человечеству выбор: либо индивидуум удовлетворяет собственные потребности, либо он будет «принимать деятельное участие в благоустройстве каждого, кого знает». Выбор второго пути, по Хаеку, и есть «дорога к рабству».

Бескорыстие, добровольная взаимопомощь — такие понятия отсутствуют в утверждаемой системе. Автор откровенно потешается: «Неужели кто-то может помыслить такие общезначимые идеалы справедливого распределения, которые заставят норвежского рыбака отказаться от перспективы улучшения своего [illegible]

мического положения, чтобы помочь своему коллеге в Португалии, или голландского рабочего — покупать велосипед по более высокой цене, чтобы поддержать механика из Ковентри...»

Раньше мы читали нечто подобное в статьях советских международников, излагавших «бесчеловечные теории общества капитала». Помню, возмущались: как врут наемные писаки! И вот эти теории, изложенные от первого лица...

Индивидуализм, захлебывается от восторга Хаек, это право на эгоизм. Право на конкуренцию, разоряющую одного и обогащающую другого. Право на неравенство людей. Нет — жестче! — *запрет* на равенство: «Формальное равенство перед законом несовместимо с любыми действиями правительства, нацеленными на обеспечение материального равенства различных людей...» Равенство перед законом — да это же те самые «права человека», которыми манил нас Запад столько десятилетий, которыми манят доверчивых и несведущих во всех уголках земли. В последний момент им объяснят: вожделенные права призваны обеспечить «формальное равенство» — с подлинным они *несовместимы*.

Со страниц вдохновенной философской поэмы о западном рае встает, утверждается посреди мировых трагедий исполинская фигура Шейлока. Показательная мутация обветшалых титанов вчерашней «страны золотых чудес»!

Хаек отстаивает принцип неравенства не только в отношениях между людьми. Он делит нации на «цивилизованные» и изначально склонные к тоталитаризму. Делит мир на свободолюбивый Запад и деспотичный Восток. Западу — убеждает Хаек — «самой судьбою» суждено «распространить по всему свету» «принцип свободы, реализованный в Англии». Восторженно приветствуется «экспансия» идеи индивидуализма на Восток. А вот о движении в обратном направлении исследователь говорит сокрушаясь.

Исследователь — привычно именую я Хаека. Да нет, не объективный служитель «чистого разума» — фанатичный «аятолла», предтеча «нового мирового порядка», который с невероятной жестокостью устанавливается сегодня в Ираке, Панаме, Югославии, на развалинах Союза. Вот он, новый прилив «экспансии» (на что, не скрывая своего восторга, почти прямо указывают и «наши» публикаторы). Книга Хаека загодя выдает индульгенцию Западу — и его бесчеловечной политике, и людоедским теориям типа теории «золотого миллиарда» (согласно ей на Земле, задыхающейся от перенаселения, может выжить всего один миллиард наиболее высокоорганизованных особей, остальные же должны быть «элиминированы»).

Наряду с другими народами, приносимыми в жертву, мы поняли, что означает этот термин, звучащий столь респектабельно научно. В свете нашего опыта по-иному осмысляется и название работы Хаека. Этот гимн западному индивидуализму — действительно *дорога к рабству*!

Реанимация концепций безудержного индивидуализма и эгоизма, их практическая реализация в масштабах государственной политики крайне опасна. Губительна в условиях глобального экологического кризиса. Между тем победа Запада в соревновании с коммунистической Восточной Европой, неожиданно легкое подавление сопротивления «третьего мира» рождают иллюзию истинности теорий, подобных тем, что изложены в работе Хаека. Если западное общество поддастся этой иллюзии, оно погубит все живое в безумной погоне за удовлетворением своих эгоистических интересов. И конечно же, в угаре мировой экологической катастрофы задохнется и «золотой миллиард». Отравленный воздух не знает границ между Западом и Востоком, проведенных надменными теоретиками.

Без добровольного самоограничения, без заботы о благе другого и взаимопомощи человечеству не выжить. Сегодня это ясно как никогда. Крах коммунистической доктрины не является здесь аргументом в пользу Запада. Коммунизм — западная теория, *навязанная России*. Подавлявшая органическую жизнь нации, основанную на принципах взаимопомощи и коллективизма.

Хаек и его сегодняшние последователи декларируют как будто борьбу с тоталитаризмом. Однако главной мишенью атаки является *коллективизм*. «Практически все пункты, по которым расходятся социалисты и либералы, касаются коллективизма вообще», — признает Хаек.

Идеологическая окраска мало заботит автора. По существу, он выводит из-под критики Маркса, не без сочувствия цитируя слова эмигранта из Германии П. Друкера: «Полный крах веры в достижимость свободы и равенства по Марксу вынудил Россию избрать путь тоталитарного, запретительного, неэкономического общества, общества несвободы и неравенства».

Можно думать, что Маркс ни при чем, он лишь пророчил (но неудачно) свободу и равенство. Россия сама избрала тоталитаризм. Ибо изначально предрасположена к нему благодаря традиции коллективизма. Не теоретики коммунизма, а русский мужик назначается ответчиком за все ужасы, которые творили с ним и на его земле проповедники марксизма. Вот он, обвиняемый номер один XX столетия.

Как видим, последовательная защита постулатов западного мироотношения приводит к агрессивному отрицанию самих основ русской жизни. А с другой стороны, и нам трудно принять идеалы Запада.

Индивидуализм подвергался впечатляющей критике еще со времен славянофильства. В XX веке, когда значительная часть соотечественников оказалась в эмиграции и вынуждена была приспосабливаться к чуждому образу жизни, критика приобрела особую остроту. Иван Ильин афористично сформулировал доминанту непривычного для русских уклада: «...Множество „рядом-жителей", человеческих „атомов"». Он же определил западный идеал свободы как «торжество личного произвола».

О том, как воспринимались непривычные порядки на бытовом уровне, можно судить по колоритной характеристике из книги Ивана Солоневича «Народная монархия» (в 1991 году она, наконец, издана в Москве, на родине писателя). С комическим ужасом вспоминает он о годах, проведенных в германском захолустье: «Население деревушки связано друг с другом судебными тяжбами, доносами, конкуренцией и завистью. Все очень вежливы, ни русского мата, ни русских потасовок нет. Но если вы на секунду зазевались, то вас съедят. Здесь все устроено по Гоббсу: человек человеку волк, и война всех против всех является нормальным состоянием этого милого общества».

Деревушка, рассказывает Солоневич, расположена на берегу озера. Одна часть принадлежит городу, и ее арендует местный богач Гайнман-отец. Другая, государственное владение, — аренда Гайнмана-сына. «Сыновние сети, перенесенные ветром в городскую часть, конфискуются отцом, и, соответственно, отцовские — сыном... Двух родственников связывают многолетние судебные тяжбы...»

Завершая разговор о западноевропейском быте, Солоневич пишет: «Тупая феодальная жадность сидела раньше во тьме и сырости казематов — только бы охранить свои древние привилегии. Теперь она сидит за щетиной всяческих законоположений — только бы охранить свою плоть. Средневековые феодалы резали друг друга ножами — сегодняшние режут параграфами».

Философии эгоизма, уходящей корнями в твердыни феодальных доменов, русская мысль последовательно противопоставляла всеобъемлющую альтернативу.

В общественной жизни — общину (наш Грааль, манящий из вековой дали).

В церковной жизни — соборность.

Во взаимоотношениях с мирозданием — философию всеединства.

В основе нашей культуры — поразительно целеустремленный порыв к свободе и полноте человеческого существования. При этом свобода не мыслится вне полноты. А полнота обретается в народном единстве.

В этом смысл общины, где каждый имел голос при обсуждении вопросов и каждый участвовал в воплощении совместно принятых решений. Личная воля человека становилась волей всего «мира». Соответственно, «мировая» воля (народное жизнепонимание оправдывает такую игру смыслов) конкретизировала себя в личностных поступках.

Тот же путь указывает и теория соборности, разработанная А. С. Хомяковым: обретение личной свободы через единение с церковью, а в ней с Христом. Кстати, западные богословы высоко оценивают эту теорию. «Фундаментальный переворот, совершенный А. С. Хомяковым», — пишет автор интереснейшей книги «Таинства во взаимоотношениях между Востоком и Западом» теолог Роберт Хотц.

О теории всеединства Карсавина я буду говорить особо. Здесь же отмечу, что мыслитель нашел адекватное православное толкование глубоко укорененного в русском народе ощущения единства человека и мироздания. Оно одухотворяет обряды, в том числе и трудовые. Оно трепетно живет в поэтическом фольклоре. А в XIX — XX веках, торжествуя, раскрывает себя в профессиональном искусстве. В пейзажной лирике, не имеющей аналогов в современной мировой поэзии. В живописи. Даже в музыке, где «пейзажный» элемент необычайно силен (причем у нас, в отличие от французской школы импрессионистов, он не опосредован теоретически, а рождается непосредственно из живого чувства природы).

Конечно, все это известно западным наблюдателям. Но большинство утверждает, что русский человек, сливаясь с единством (народа или мироздания), утрачивает свое лицо, растворяется как индивидуальность.

Ничего подобного! Не утрачивает лицо — обретает завершенность лица, выразительность, полноту, силу. Русская природа — казалось бы, что в ней человеку? «Клейкие листочки», белые стволы берез... Но опыт эмиграции показывает: лишаясь березки, русский обнаруживает, что лишился какой-то части самого себя!

Если уж «клейкие листочки» имеют такое значение для личности, какая же роль в ее духовном становлении отведена обрядам, культуре, преданиям народа! Лев Толстой с гениальной наблюдательностью запечатлел процесс обретения человеком самого себя через воскрешение памяти сердца и крови. «Война и мир» — сцена пирушки после охоты. Наташа Ростова неожиданно вступает в пляску: «Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала,—эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, — этот дух, откуда взяла она эти приемы, которые pas de châle давно бы должны были вытеснить? Но дух и приемы эти были те самые, неподражаемые, не изучаемые, русские...».

Только приемы? О нет! Русский танец Наташи — момент самоидентификации. Она отождествляет себя со своим народом («умела понять все то, что было в Аксинье, и в отце Аксиньи, и в тетке, и в матери, и во всяком русском человеке»). И через это отождествление выражает себя. Овладевает «кодом», языком, на котором может рассказать миру о своей неповторимости.

«Умела понять» — стала понятной. Все глядят на нее, будто только узнали. Словно ток стремительно соединяет полюса: единичное — общее, народное — личное. И из их взаимодействия рождается не унылая формула — разгоряченная, счастливая Наташа в наброшенной на плечи шали. Вот это и называется обретением лица!

— Может быть, и так, — заметит читатель-скептик. — И все же трудно представить себе ту же Наташу в крестьянской общине.

Согласен. Но не потому, что этому мешает ее безусловно яркая индивидуальность. Как раз финал романа, где полемически утверждается идеал семейного счастья, позволяет думать, что Наташа легко бы освоилась в общине. Да ведь сам же Толстой дает близкий вариант — Пьер в

плену. Вот вам и община, даже со своим идеологом Платоном Каратаевым.

Невозможность здесь другого рода: традиционный строй русской жизни в масштабах государства сломан Петром. С тех пор и на микроуровне община была обречена.

Не о ней теперь речь — о русской концепции личности. Утратив общину, Россия удержала свой идеал человека.

«Индивидуальное воплощение народности», — сказал о творчестве Пушкина его глубокий знаток В. Непомнящий. То же можно сказать и о самом Пушкине. Это и будет лучшей формулой русской концепции личности.

Утверждая ее, Россия создала нечто, быть может, более ценное, чем рациональное общественное устройство. Великую культуру, согревающую весь мир подлинно христианской человечностью.

Западное сознание стремится к *овладению* миром. Русское к *одухотворению* через слияние с ним.

Поэтическая теория всеединства Л. Карсавина типична для нашей философии. Единство человека с мирозданием и его Творцом — одна из тех вечных загадок бытия, которые так властно притягивают русскую душу. Ее разглядывали В. Соловьев, С. Булгаков, С. Франк. Карсавин предложил совершенно оригинальную версию. Он разрабатывал ее всю жизнь. Есть нечто знаменательное в том, что наиболее полное раскрытие теория получила в последней крупной работе философа «О бессмертии души», написанной в 1951 году, — как бы на временном перевале, разделяющем надвое XX столетие с его трагическим, исполненным глубочайшего смысла опытом*.

Человек — утверждает мыслитель — способен вместить в свою душу все мироздание. Личность «пульсирует», то сжимаясь до «я»-индивида, то расширяясь до «я»-мира.

«Я познаю весь мир — весь мир становится мною», — утверждает философ. И тут же демонстрирует удивительный процесс творческого освоения человеком мироздания: «Преодолевая «немощь абстрагирования», нетрудно понять, что если мы познаем предмет... то стоящие предо мною в комнате вещи, видимый мною чрез окно далекий лес, плывущее по небу солнце, воображаемая мною наша Галактика, как и отделяющее от них мое тело пространство, существуют и сами по себе ... но суть и мое «я».

Головная абстракция? Нет — настаивает Карсавин. «Мир становится ею (личностью.—А. К.), поскольку она становится миром». Мысль напрягается, пытаясь закрепить и выразить этот грандиозный акт воссоединения человека со Вселенной. «Человек-Мир, — уточняет мыслитель, — конкретное всеединство, и отождествляется с ним конкретный индивидуум». И стремясь еще яснее описать открывшееся его внутреннему взору, он находит пронзительные слова, характеризующие творческую роль человека в единении с мирозданием: без его «конкретного индивидуального «я» «мир не был бы миром и солнце солнцем».

Обретая полноту в воссоединении со Вселенной, личность, по убеждению Карсавина, становится всепространственной и всевременной. Это воплощение бессмертия. Идеал человеческой свободы. Вот вершина, венчающая русскую концепцию человека.

Какая сила может уничтожить или ограничить в правах человека-Вселенную? Всякие препятствия представляются нелепыми с этой безмерной духовной высоты. Соответственно, он не нуждается и во внешних условиях для реализации своей свободы. Ему смешны все эти жалкие подпорки юридических параграфов, привилегии, выторгованные и вырванные в долгой изнуряющей борьбе.

Но ведь это иллюзорная свобода, плод кабинетных штудий — наверняка прозвучит в ответ. Лучше уж крохотный параграф, микроскопически расширяющий реальные права, чем эта фикция, с безмерной щедростью дарованная человечеству ученым-чудаком.

В том-то и дело, что для русского сознания подобная свобода *реальна*. Фантастическими могут показаться философские построения, а вот ощущение свободы — подлинно. Пожалуй, в ученые рассуждения русский человек и вникать не станет, отмахнется, в финальный вывод примет всем сердцем. Ему и не надо доказательств, ибо в сердце своем он носит схожее ощущение.

Не спорю, здесь таится и страшный соблазн. Не титанизма, как на Западе, — безвольной мечтательности. Наша психология породила не только Муромца — другого Илью, Обломова, страшного двойника и антипода былинного богатыря. Духовная свобода усилием берется. Оплачивается подвигом. В противном случае — бездействие или заурядный конформизм. «А нам все равно», — как с надрывом вопили все восьмидесятые годы. Так, под разудалый напев, и профукали державу. А ведь не под конвоем, могли бы действовать! Вообще та внутренняя раскрепощенность, которую предоставляет личности русская этическая традиция, в эпоху крушения устоев чревата безответственностью и беспринципностью.

Но в моменты озарения, в моменты наивысшего подъема духа русский человек воспринимает мир именно так, как описано у Л. Карсавина.

Вспомните хрестоматийную сцену из «Войны и мира» — размышления Пьера в плену. «Высоко в светлом небе стоял полный месяц. Леса и поля, невидные прежде вне расположения лагеря, открывались теперь вдали. И еще дальше этих лесов и полей виднелась светлая, колеблющаяся, зовущая в себя бесконечная даль. Пьер взглянул в небо, в глубь уходящих, играющих звезд. «И все это мое, и все это во мне, и все это я! — думал Пьер. — И все это они поймали и посадили в балаган, загороженный досками!» Он улыбнулся и пошел укладываться спать к своим товарищам».

Разумеется, Вселенную не запихать в лагерный балаган. Наверное, так же улыбался Карсавин, создавая столь близкий толстовскому образ человека-мира. И сама его работа — бытийное доказательство истинности обретенной свободы. Ибо создавалась она в лагере у Полярного круга в местечке с диким марийским названием Абезь.

Лагерные заборы непреодолимы. Но измученный туберкулезом философ легко преодолевал их, восходя в разверстое небо, в вышину, недоступную для пуль конвойных. Он поднимался по великой лестнице Иакова, и сам Творец мироздания открывал ему Отчие объятия.

«Появление личного самосознания, — записывал Карсавин, — означает, что человек, превосходя свою тварность... соединяется с Богом... Чрез посредство единородного Сына вступая в непосредственное общение с Отцом, из тварного раба становится свободным сыном, братом Единородного, подобною Ему индивидуацею всеединой ипостаси Логоса».

Карсавин выстрадал трагически личное понимание глубоко русской идеи. Восхождения человека к Богу, преображения его тварной сущности. Идею богочеловечества. Как характерно, что русский путь ведет именно к ней, а западный — к цели прямо противоположной — человекобожию. Претензии сравняться с Богом.

О тщете усилий заносчивого ума Карсавин пишет со спокойной мудростью: «Попытке же человека обожиться не чрез Единородного приводит его... к самоутверждению, которое не иное что, как недостаток самоотдачи и неразумие (алогичность), то есть несовершенство, неполноте».

Такова русская оценка высших духовных притязаний титанов индивидуализма.

Конечно, я понимаю — она не может поставить точку в длящемся тысячу лет споре. Споре философов, политиков, воинов. Предвижу и ядовитые возражения: русские апологизируют иллюзорную свободу, ибо не обладают реальной. Что, мол, им остается делать, коли угораздило родиться в стране рабов.

Конечно, спорщиков не переспоришь, но все же напоследок я хочу рассказать об удивительной судьбе человека, не принадлежавшего к России по рождению, но избравшего ее своей духовной родиной. Несмотря на все испытания, выпавшие на его долю.

Человек этот англичанин, граф Эдуард Сиверс в миру, в схиме старец Сампсон. Он воспитывался в дореволюционном Петербурге. Принял православие. Ушел на послушание в монастырь, где в годы гражданской войны был принят агентами ЧК за Великого князя Владимира. Арест, расстрел и — чудесное спасение. Окровавленного, его привезли в Петербург, к матери. Первыми словами были: позови православного священника (он хотел причаститься). «А-а-а! Ты все-таки русский?!» — в горе вскричала мать. «Да, я давно русский», — отвечал английский дворянин, которому Россия как будто ничего, кроме страданий, не дала.

Это было лишь началом его мытарств. Он скитался по стране. Четыре раза его сажали в лагерь. Бежал. Скрывался в пустыне — настоящей, среднеазиатской, без пищи и воды. Прятался у верующих. Четыре месяца просидел в подвале храма, наконец, ему разрешили служить. И новая напасть — проповеди старца собирали тысячи людей, и испуганные церковные власти заточили его в Печерский монастырь.

И все-таки, записывая в глубокой старости скорбные события своей жизни, старец Сампсон утверждал, что был счастлив, «счастлив всегда». Россия открыла ему духовную красоту. Невыразимую словами — он лишь пишет о «милости Божьей», благодаря которой пережил «величайшее событие»: «стал православным человеком». Рассказывая о расстреле, старец упоминает о той легкости и свободе, с какой ждал смерти: «...Мне совершенно не было страшно, я был не один. Кто-то был со мною, какая-то сила. Какой-то луч радости».

«Луч радости» — тот духовный дар, которым наделяет Россия своих сыновей. Тех, кому выпало испытание родиться в ней. Тех, кто сам выбрал эту судьбу. В конце пути они могут с чистым сердцем повторить слова старца Сампсона: «...Если бы умер вдруг и опять ожил бы, и спросил меня Господь: «Кем бы ты хотел стать?» — я опять сказал бы: «...Русским православным священником...»



* Эта работа опубликована только сейчас в сборнике, где собраны воспоминания о философе, написанные А. Валеевым, и поздние сочинения самого Л. Карсавина. — А. Валеев. Два года в Абези. Брюссель. 1991 г.



ЮРИЙ ДЬЯКОНОВ

КИНО, КОТОРОЕ У НАС УКРАДЕНО

(ПРОИЗВЕДЕНИЯ В. И. БЕЛОВА НА КИНОЭКРАНЕ)

«Этого народ не позволит», — сказал... собеседник одному ярому западнику. «Так уничтожить народ!» — ответил западник спокойно и величаво.

Ф. Достоевский, 1880 г.

В нашем запроданном с потрохами кинематографе есть три игровых фильма по произведениям В. И. Белова. (Была еще, правда, телепостановка по «Плотницким рассказам», но уже много лет она как бы «испарилась» со все более голубого экрана и уж тем паче вряд ли появится при еще одном обороте, оседлавшем наше телевидение.)

«Целуются зори», «По 206-й...», «Все впереди». Обращаясь к ним, я только сейчас, в 1992 году, начинаю понимать то, что предвидел писатель еще задолго до нынешнего триумфа катастройки. Предостерегал. А я не понимал.

Белов написал киносценарий комедии «Целуются зори» в конце 60-х годов. Он был тогда студентом Литературного института. Показал Шукшину. Тому понравилось, и он предложил сценарий на студию имени Горького...

«С кем бы я ни говорил, все хвалили сценарий,— вспоминает Белов.— Сценарий обошел на студии множество кабинетов, пока не застрял в чьем-то столе. Он лежал в этом столе ровно год... И вдруг удача! Мне позвонили в Вологду, чтобы я приехал в Москву специально по этому делу... Редакторша встретила меня очень радушно и после длинного разговора обратилась ко мне с просьбой написать сценарий... об альпинистах. Я забрал у нее рукопись и в тот же день послал на другую студию. Там опять похвалили сценарий и... замолчали. В чем дело? Я недоумевал, ходил по редакциям. Сценарий просили всюду: на студиях, в театрах, на телевидении. Я давал рукопись всем, все хвалили ее, а я терпеливо ждал. Но киностудии молчали, будто набрав в рот воды».

Тогда Белов махнул рукой, написал киноповесть под этим же названием и опубликовал. «И тут,— с улыбкой замечает Белов,— вдруг заинтересовались этой повестью. Сценарием не интересовались. И Сережа Никоненко его поставил...»

Семь художественных советов вносили поправки в несчастную комедию! По поручению дирекции режиссер Данелия следил, чтобы все «ценные указания» строго выполнялись. И давал «дружеские» советы режиссеру фильма: «Давай вырежем, а то новой постановки не дадут».

Когда Никоненко в отчаянии спрашивал у директора студии: «Что же вы хотите, чтобы я плакат делал?», то Сизов отвечал: «По мне лучше плакат».

Думаю, читателю не надо объяснять, почему «прогрессивный» наш кинематограф яростно боролся с непритязательной историей о том, как в послевоенном 1947 году трое друзей-колхозников и тетка Настасья поехали в райцентр, пробыли там несколько дней да и вернулись в родное село. Туда ехали с кадушкой соленых рыжиков, обратно — со «спидолой».

Город не принимает их, а они не понимают и не могут принять партийно-бюрократической городской «культуры». Простаки — они сами над собой посмеиваются, постоянно попадают в нелепые ситуации — по простодушию, незнанию и пр. Их наивность взрывает глянцевую оболочку городской жизни и обнажает ее бесчеловечную суть. Бухтина — вещь лукавая и не так проста, как кажется.

Вот пример. Один из героев картины «Целуются зори» Николай Иванович Воробьев вызван в город на совещание. По ходу фильма на это же совещание попадает другой Воробьев — Егорович («У нас полдеревни, почитай, Воробьевы»). И никто не заметил! Именно Егорович, бойкий, не теряющийся, с удовольствием «заседает», а Николай Иванович колет весь день дрова. К вечеру мы видим, какой исполинский труд совершен — весь двор усыпан колотыми дровами — на несколько зим хозяйке хватит. Бухтина! Но, как сказано, «сказка ложь, да в ней намек»...

Подобные «нелепые» истории сменяют одна другую на протяжении всего фильма. Чего стоит хотя бы игра на гармони в музыкальном магазине Лешки, который своей искрометной мелодией перекрыл вопли Имы Сумак, вызвав этим взрыв негодования местных «меломанов»!..

Лента подтверждала то, что находил в творчестве В. Белова Василий Шукшин: «Я легко и просто подчиняюсь правде беловских героев... Может, я, по родству занятий с писателем, и подивлюсь его слуху, памяти, чуткости... Но... одной памяти тут мало... Без любви к тем мужикам, без сострадания, скрытого или явного, без уважения к ним неподдельного так о них не написать. Нет. Так, чтоб встали они во плоти: крикливые, хвастливые, работящие, терпеливые, совестливые, теплые, родные... Свои. Нет, так не написать. Любовь и сострадание — только они наводят на такую пронзительную правду. И тут не притворишься, что они есть,— если нет ни того, ни другого».

По существу, уже в первой картине по Белову была выявлена несовместимость, противостояние культур. Тысячелетней народной культуры, традиции, мировоззрения. И антикультуры, которая ныне откровенно являет собой мерзость городской свалки, развалин оккупированной и разграбленной страны, словно изувеченной бомбами и проказой, изнасилованной «подлецами всех стран». Только сегодня мы понимаем, как были правы Егорович и его друзья, не воспринимавшие городской антикультуры. Как выяснилось, Белов был совершенно прав тогда, а мы, горожане, этого не увидели, не поняли.

С еще большей страстью говорит Белов об этой несовместимости крестьянства с миром лицемерия — в киносценарии «Распрямись ты, рожь»... Так как борьба советского кинематографа с проникновением русских писателей на экран все время совершенствуется, то в данном случае киносценарий, написанный В. Беловым, был куплен киностудией «Мосфильм» и... спрятан в долгий ящик. То есть «подавись ты, автор, кино-авансом, но теперь ты связан с нами договором и «никто-о не узна-а-ет, где могилка твоя».

Прождав годы, В. И. Белов, отчаявшись, переделал киносценарий в пьесу «По 206-й...» (сцены из районной жизни).

Вспоминает кинорежиссер Виталий Кольцов: «Я со студенческой скамьи мечтал ставить на экране Шукшина и Белова. Я был влюблен в «Привычное дело». И вел переговоры в своем творческом объединении на «Мосфильме». И вдруг увидел на телеэкране ленинградскую постановку этого замечательного произведения. Это был тихий ужас. То есть с тем, что я прочитал и во мне жило,— ну ничего общего. Такое гениальное произведение и так загублено... Первое, что я обнаружил,—1947-й год в русской деревне: холодильники стоят (смеется). Жуть какая-то. Я представляю себе Белова, когда он это увидел, при его просто жестокой привязанности к правде, вдруг увидеть в родной Тимонихе холодильники такие (хохочет). «Минск» стоит, гробина белый, в 47-м году, когда с лучиной жили... Вот это был первый шок. И потом, когда я познакомился с Беловым, узнал, что во-первых, они его обокрали, заплатив за классику нашу русскую копейки, и испохабили... Прошло время, и я читаю в журнале «Москва» его пьесу «По 206-й...» Мне пьеса очень понравилась. Очень. Я понял, что это мое дело. Правдами, неправдами я вышел на Белова. По-моему, Заболоцкий нас свел. И начал просить его об этом произведении. И он категорически, руками и ногами: «Нет, нет, Боже упаси...» И начал рассказывать историю про «Целуются зори». Это было, конечно, страшное дело... После удачного телеспектакля «Плотницкие рассказы» вроде стронулось отношение к Белову среди начальников. И разрешили постановку по «Целуются зори». То ли они не разгадали ее в тот момент? А когда она обрела реалии экранные, действительно, ни в какие ворота не лезущие по тем временам, то кончилось все это печально. И вот эта печаль, наложенная уже на спектакль по «Привычному делу», и то, что проделали с Беловым в «Целуются зори»,— очень тяготило Белова. А произошла такая страшнейшая история. Картину уже надо было сдавать в Госкино, ее посмотрел Даль Орлов (тогда главный редактор Госкино.— Ю. Д.) и сказал: «Вы что? Это — поражение киностудии «Мосфильм»! Надо сжигать». Особый гнев вызвала сцена, когда один из персонажей (Егорович.— Ю. Д.) попадает на помпезное собрание с вручением орденов и ему вручают орден, предназначавшийся другому (смеется). Э, мол, все равно кому вручать, лишь бы отчитаться... Сказано было, что противопоставляется город деревне, хотя речь шла о том, что нравственность мы теряем. За спиной у Белова Сережке начали, Никоненке, выкручивать руки. Если, мол, вот это, это не выкинешь, можешь из кинематографа уходить. Сережка вызвал Белова — как-то отбиваться надо. И он приехал, бросив все дела. Сказал: «Вот я здесь. Когда будете принимать картину, сообщите, я приду». Ему сказали: «Хорошо. Ждите. Завтра с утра Вам позвоним». Ну, он сидит, ждет. Не звонят, не звонят. Часа в два уже позвонили и сказали: «Все. Мы уже карти-

---

ДЬЯКОНОВ Юрий Анатольевич родился в 1931 году в г. Владикавказе. Окончил Государственный институт кинематографии. Киновед, кинооператор, автор пяти книг о кино и многих статей. Оператор-постановщик фильмов «Золотые рога», «Колодец» и др.

ну посмотрели, режиссер указания получил. Можете ехать в Вологду». Вот и все... Картину искромсали так, что потом плакал Белов, когда увидел, что осталось... И вот под такого «разогретого» Белова еще появляюсь я... Чисто случай помог. Он отбивался от меня. Уже и к телефону перестали мне подзывать его... А случилось так, что мне дали путевку в Пицунду с семьей. И случайно через Володю Крупина узнал, что на этот же срок туда же едет Василий Иванович... И вот (смеется) когда в Пицунде я прихожу под окна к нему и вдруг он меня видит, то он просто сдался. Плюнул, все равно, говорит, этот не отвяжется. И вот там, в Пицунде, мы начали работать. Там он мне и рассказал историю с этим сценарием и как он переделал его в пьесу. Ну, вы, наверное, знаете, что пьеса очень хорошо шла в разных театрах, в театре Сатиры, билеты невозможно было достать... В 1982 году сценарий был готов, но начинается кампания антиалкогольная и под это дело нас — фьють! — прикрыли. В 1984 году нас опять запускают, мы уже начали работать, но... прикрыли опять. Как мне объяснили: «Не ко времени». И вот в 1988 году аж, еще семь месяцев я обивал пороги, и только к началу 1989 года мы сумели запуститься, и то благодаря тому, что на независимой студии «Паритет». А «Мосфильм» категорически отказал... Вот такая странная, мучительная предистория. И я благодарен, что на премьере в Вологде Белов вышел и сказал (смеется): «Это только благодаря вон тому парню. А я давно плюнул и решил, что никогда не пробьешься». Да... Для меня это был очень дорогой материал. Его ведь мало сейчас! Его же не пишет никто! За кого хвататься-то?

— Как отнесся Белов к картине?

— Он отложил вылет в Москву на сессию Верховного Совета и два часа мы с ним разговаривали на другое утро после премьеры. Два часа он ругал меня—вот это не так, это не так. Ну, например, заметил: «Я бы никогда не сказал «зас...нка». Ну это же не так, чтоб специально он (речь идет об участковом милиционере Пухове, которого после Тониного фельетона уволили.— Ю. Д.) пощеголять. Вот так вот выскочило у него... Есть вещи, конечно, когда я немножко перебарщивал. Когда бабы завопили все хором (это когда почтальон приносит повестку — явиться к следователю.— Ю. Д.). А он очень чуткий на такие дела, просто мгновенно, как тонкая мембрана, реагирует. ...Ну а на премьере, хотя ругал, вышел и говорит нам: «Я благодарю вас всех за праздник». Ни к одному актеру у него не было никаких претензий, а это значит — мы попали в характер. С ним это очень важно. Это не то что рекетиры так стреляют или сяк стреляют. Тут люди живые, настоящие.

— По выбранной натуре не было претензий?

— Во-первых, я не раз жил в Вологде. Влюбился в этот город. Бывал в его родных местах, в Харовском районе, в забытом Богом городке Харовске. Ездил по районую. Места там необыкновенные. Сынок как раз кончал школу, Суриковскую, и он там писал этюды. Я когда повез Белову эти этюды, он был просто ошеломлен. Проблем с натурой не было. Умирающая деревня, городок (это Харовск) — все оказалось в духе произведения».

А произведение это было совершенно непохожим на «Целуются зори». То есть в нем была, естественно, беловская поэзия, беловский мир, неповторимость судеб, гражданственность. Но по жанру это — драма. На наших глазах ломались человеческие судьбы, причем ломались не извергами, а вроде бы нормальными людьми, разве что немного «зашоренными» в своей профессии. Молодая журналистка Тоня (Евгения Добровольская), обаятельная, исполненная юной энергии, порывистая, движимая желанием искоренять людские пороки. И вот (как говорят хирурги, разрезая больного): «Прекрасный случай!». В деревне поссорились соседи, а участковый Пухов (Герман Орлов) не дал хода «делу», зная, что Костя Смагин (Сергей Гармаш) и Иван Степанович (Павел Кормунин) нынче же и помирятся. Не дал, исходя из народной традиции: не обращайся к властям всуе, не навреди ближнему — ведь закон бездушен. В благородном негодовании Тоня публикует в газете фельетон и... Костя оказывается в КПЗ. Столь же принципиален и следователь Борис (Александр Воробьев), возбудивший после фельетона уголовное дело против Кости. Эти молодые люди, подготовленные специалисты, описанные Беловым задолго до прихода к власти «архитекторов перестройки», удивительно напоминают молодую поросль ее «прорабов». По существу, на экране впервые обнажена г и б е л ь н о с т ь для трудового человека, вообще для всего живого этих деятелей. Это действительно причисление себя к клану «непогрешимых», призванных кнутом загонять непослушное стадо в стойло той или иной догмы. Более того, всякие попытки объяснить этим «хунвэйбином» их ограниченность встречаются с искренним негодованием. Это рабы идеи и с к о р е н е н и я. Неважно, под каким лозунгом, искоренения ли покоряемой природы, «идиотизма деревенской жизни», «патриархальных нравов», «квасного патриотизма» и т. п. Именно они составляют «опору перестройки» в прессе, телевидении, кинематографе, театре, науке, медицине, педагогике. Именно они вместе с замороченной ими же молодежью, с люмпенами, торгашами, спекулянтами вопят на площадях: «Ельцин! Попов! Собчак! Хасбулатов!» — ведь они их детища, их достойные вожди. Это они толпами устремляются за кордон в земли обетованные, формируют общественное мнение, вершат выгодный им суд и закон, все более срещиваясь с отечественной и зарубежной мафией в поисках полной власти над толпой. Шаг их все более дружен, подавление инакомыслия — все более жестоко. Хайль! Бей! Ограничить! Приостановить! Причем придраться не к чему. «Искоренение» руководствуется для себя придуманными законами, своими правами свободной личности (свободной от «почвенничества», «старозаветной морали», стыда и т. п. архаизмов).

Стройные шеренги строителей «нового общества» буквально в ы т а л к и в а ю т из своей среды, как чужеродный, мир деревенских жителей, живущих «допотопной», «растительной» жизнью и вообще не знающих «политесу». Нами командуют ныне — подонки, говорит картина. Мы живем в стране колониального рабства. Но, может быть, «туземцы» заслуживают этого? Да нет. Изображенные в картине русские люди — привлекательны своей любовью к земле, к односельчанам, своей дружбой, незлобивостью. Они не понимают, что против них орудуют заговорщики, что их наивность и добродушие весьма умело ими используются.

Любопытно проявляет себя «опора перестройки» по отношению ко всему, что касается В. И. Белова, в частности его фильмов. Так, не было предела восторгам по поводу творчества Сергея Никоненко. Но гробовое молчание воцарилось после картины «Целуются зори». Нравился киноведам и режиссер Виталий Кольцов, особенно его ленты «В лазоревой степи», «На ясный огонь», «Надежда и опора». Но поставил Белова — и явно не угодил. Ну а роман «Все впереди», а затем и одноименный фильм Николая Бурляева были встречены «дикими криками озлобленья». «Здесь создатели фильма полностью.. солидаризируются с концепцией В. Белова, выраженной в романе «Все впереди», с попыткой переложить всю ответственность за нравственное падение общества на плечи «интеллигентов» (Нат. Иванова).

«Все впереди» стоит особняком в творчестве В. И. Белова. Это уже не предостережение в жанре сказки или бухтины, даже не драма «из районной жизни». Это прямое, грозное пророчество о приближающемся апокалипсисе, о наступлении н о ч и на Лысой горе, о дьяволиаде, бесовщине, все более окружающей нас. О той бесовщине, на которую указывали Пушкин, Гоголь, Булгаков. Этот роман 1986 года — страстное обращение ко всем нам: осознайте тот ужас, в который ввергается страна! Эта же тема особо выделяется и в фильме Н. Бурляева.

По существу, перед нами — антимир, антикультура, исковерканная жизнь,— р а з л а д.

Героиня картины, вызывающая особое доверие — Верочка, дочь Любы и Дмитрия. «Сколько недоуменного, непосильного для нее горя копилось в этих распахнутых детских глазах!» Именно эти полные слез глаза ребенка, с надеждой смотрящие навстречу после долгой разлуки папы и мамы, оправдывают для меня эту финальную сцену, происходящую у подножия памятника Сергию Радонежскому. И в этот миг вспоминаются слова Достоевского об одной лишь единой слезе ребенка, что перевешивает все на свете: «Мы не должны превозноситься над детьми, мы их хуже. И если мы учим их чему-нибудь, чтоб сделать их лучше, то и они нас делают лучше нашим соприкосновением с ними. Они очеловечивают душу нашу». Не случайно бриш-киноведение, изничтожая фильм, особой злобой пышет в адрес Верочки.

* * *

Вроде бы фильмы по произведениям В. И. Белова непохожи. Сказка про Иванушек-дурачков, драма из жизни сельских жителей, трагедия апокалипсиса.

В то же время они совершенно чужеродны советскому кинематографу, озабоченному темами смерти и самоубийств (специальный номер журнала «Искусство кино», 1991, № 9), эротики, порнографии, защиты прав сексуальных меньшинств и т. п.

Они никак не корреспондируются и с тематикой средств массовой информации, обличающей счастье созидательного труда, русскую соборность, «справного мужика», армию, патриотические силы, нашу историю.

И в то же время эти ленты — горькое осознание нашей национальной трагедии, антинародности наших руководителей, нашей науки: александровых, велиховых, явлинских, заславских; законов, юриспруденции,— всего того, что ненавидит и преследует по любому поводу честных тружеников. Заметьте, что именно человек труда, вообще полезный для народа, находится, как выявляется в экранизациях Белова, «под прицелом» цивилизованного горбачевско-яковлевско-ельцинско - артемотарасовского мещанства и его прислуги: Лешку-гармониста еле спасают из КПЗ; из-за пустячной ссоры осужден к принудительным работам Смагин; увозит милицейская машина на долгий срок Ивана Степановича; грозит тюрьма и председателю колхоза; годы провел в тюрьме и Дмитрий Медведев. Зато процветают ответственный гражданин и администраторы «Дома колхозника», выбрасывающие крестьян ночевать на асфальт, буквально под забор, дабы не потревожить «артистов с Кавказа». Процветает четвертая власть желтой прессы, фактически командующая в обществе. Процветает Миша Бриш, хотя и недоволен окружающим «быдлом»; его друг Аркадий с «эротическим театром» для гоев. То есть все вверх ногами: предатели народа правят им и разоряют его страну хуже татаро-монгол, Наполеона и Гитлера, за что награждаются международными премиями; выращивают подобные себе кадры свободных (от совести) личностей; а в роли преследуемых — честные люди.

— Опомнитесь! — словно обращается к нам Белов, его картины.— Оглянитесь!

И обратите внимание на следующее.

Ведь экранизация Белова или, скажем, произведений Шолохова (Герасимовым, Бондарчуком), Гончарова (Н. Михалковым) — исключения, подтверждающие общие правила!

1. Геноцидом против русского народа, начатым не сегодня и не вчера, руководят о б о р о т н и, легко меняющие маски, лозунги, клички, но бестрепетно исполняющие главное — запрограммированное местными и иноземными кукловодами давно. Другое дело, что ныне беспредел это-

го геноцида, и Вы, к примеру, не увидите Пушкина или Гоголя на книжных прилавках, оккупированных анжеликами, шеварднадзами, горбачевыми и прочими поповыми.

2. Отечественная классика, в том числе Белов, украдена у нас без всякого стеснения, и это все явления одного порядка: недопущение на экран «Тараса Бульбы», «Василия Теркина» или пылящихся годами в кабинетах «Мосфильма» сценариев Белова.

3. Подлинный Белов во всем разнообразии его творчества украден у нас и благодаря бесконечным издевательствам над создателями немногочисленных русских фильмов.

4. Он украден у зрителей и благодаря руководителям кинематографии, издававшим приказы о широкой популяризации бездарных поделок вроде «Европейской истории», абракадабры «Дни затмения» Сокурова, готовившим представления о высших премиях и званиях «кинодокументалисту» Кармену, целиком инсценировавшему якобы взаправдашние сцены «Повести о нефтяниках Каспия» и т. п.— но яро пинавшим русских кинорежиссеров.

5. Русский кинематограф изначально предан кинокритикой, восхищающейся только тем, от чего отворачивается нормальный человек.

Таким образом, Белов в условиях совершенно откровенного русского геноцида не мог быть не украден у кинозрителей.

Не мог быть не украден именно потому, что попытки перенести на экран русскую литературу уже более 70 лет осуществляются в оккупированной стране. Ее экранизируют в основном зильберштейны и блейманы, менакеры и гордины, моисеи левины и шкловские. И бо̀льшее кинопаскудство даже трудно представить. Это тема особого разговора. Ленты же, о которых идет речь, вы вряд ли посмотрите на киноэкране, оккупированном американщиной или американизированными «советскими» чернухой и порнухой. Так что познакомиться, к примеру, с экранизациями Белова вы сможете в лучшем случае на видеоэкране, если он будет разрешен в резервациях для русских туземцев *.

Они нужны нам — фильмы Белова! Мы хотим видеть на экране давно изгнанного с него простого русского человека, русский характер, его духовную мощь, его простодушие и его грозную силу, его лад. Нам нужна и та гражданская поэзия Белова, что неотделима от его картин народной жизни, от его музыки народной речи. Вспомним в этой связи одно рассуждение.

«Положим,— писал Достоевский,— что мы переносимся в день лиссабонского землетрясения... Выходит номер лиссабонского «Меркурия»... и на самом видном месте...: «Шепот, робкое дыханье, Трели соловья, Серебро и колыханье Сонного ручья...» ...Не знаю наверно, как приняли бы свой «Меркурий» лиссабонцы, но мне кажется, они тут же казнили бы всенародно, на площади, своего знаменитого поэта.., потому что им показался бы слишком оскорбительным и небратским поступок поэта, воспевающего такие забавные вещи в такую минуту их жизни. Разумеется, казнив своего поэта.., они все непременно бы кинулись к какому-нибудь доктору Панглосу за умным советом, и доктор Панглос тотчас же и без большого труда уверил бы их всех, что это очень хорошо случилось, что они провалились, и что уж если они провалились, то это непременно к лучшему. И (слушайте! — Ю. Д.) доктора Панглоса никто бы не разорвал за это в клочки; напротив.., провозгласили бы его другом человечества».

Ну что, стареет публицистика? Чем это не сегодняшний день, чем не сегодняшняя судьба деятеля, погубившего страну и с поразительной наглостью рапортующего американскому еженедельнику «Тайм», что развязанная им бойня — это «лучшие годы» его жизни?

Произведения В. И. Белова и поставленные по ним фильмы сравнимы, к примеру, с гражданской поэзией Некрасова (которого уже не изучают в перестроенной школе):

Грош у новейших господ
Выше стыда и закона;
Нынче тоскует лишь тот,
Кто не украл миллиона.
Бредит Америкой Русь...

Что ни попало тащат,
«Наш идеал, говорят,
Заатлантический брат:
Бог его — тоже ведь доллар!..»

И в том же 1875 году один из прозревших персонажей Некрасова заявляет:

Горе! Горе! хищник смелый
Ворвался в толпу!
Где же Руси неумелой
Выдержать борьбу?

Прочь! гнушаюсь ваших уз!..
Проклинаю процветающий,
Всеберущий, всехватающий,
Всеворующий союз!..

(Правда, эти строки могут быть несколько огорчительны для воспевающих царскую Россию как общество всеобщего благоденствия.)

В произведениях Белова и фильмах, по ним поставленных, пред нами предстает Россия как страна, которую мучают паразиты, а зовут их Тоня, Борис или Миша,— не имеет значения. Важно, кому они служат: народу или его врагам.

И потому экранный Белов — это словно звуки набата над нашей истерзанной, преданной и проданной Родиной.

---

* Когда материал уже был набран, пришло сообщение: на первом фестивале славянских фильмов «Золотой витязь» (Москва, май с. г.) фильм «По 206-й...» удостоен одного из главных призов.

Журнал "Наш современник" в 1992 и в 1993 гг.
представляет:

отдел публицистики

Лев ГУМИЛЕВ. **"Ритмы Евразии"**. Последняя работа великого ученого.

В рубрике *"Национальная альтернатива"* – серия новых статей Александра Дугина.

В рубрике *"Вече"* – обзорные и аналитические материалы о современном общественном положении в России, выступления известных политических деятелей и беседы с ними:

– диалог бывших соперников за депутатский мандат: Станислава КУНЯЕВА и Михаила АСТАФЬЕВА;

– размышления Геннадия ЗЮГАНОВА, генерала Бориса ТАРАСОВА;

– беседа с лидером национальных республиканцев Николаем ЛЫСЕНКО.

В рубрике *"Геополитика"* – рассмотрение нынешней ситуации в России под углом поиска ее возможных геополитических союзников и выявления ее стратегических противников, анализ феномена исламского фундаментализма и проекта "нового мирового порядка".

Работы видных зарубежных геополитиков – Карла ХАУСХОФЕРА и Драгоша КАЛАИЧА.

В рубрике *"Зарубежная мысль"* – Юлиус ЭВОЛА. "Империя"; Рене ГЕНОН. "Кризис современного мира"; Педро НУНЬЕС. **"Бедняк – главное действующее лицо в истории"**; концепции европейской школы "новых правых" и др.

В *"круглом столе"* русских предпринимателей "Дело против смуты" – участвуют: Валерий НЕВЕРОВ – президент концерна "Гермес", Владимир СТЕПАНОВ – председатель правления Русского национального банка, Анатолий МАКСИМОВ – вице-президент Фонда развития предпринимательства.

В рубрике *"Из-под глыб"* – воспоминания и размышления деятелей русской патриотической оппозиции 70 – 80-х гг.: Владимир ОСИПОВ. "Сколько нам осталось жить?"; о. Дмитрий ДУДКО. "Проповедь через позор", другие авторы.

Юрий МАКСИМОВ (Ю.М. ОТРЕШКО). **Цензура.** Записки профессионала.

Власть и цензура. Безвременье и бесцензурье. Каков поп, таков и приход. Так было всегда.

Впервые о том, о чем, несмотря на все "откровения" прессы, до сих пор никто ничего не знает.